

фантастика 69-70

фантастика 69-70





В. Михайлов
В. Журавлева
В. Григорьев
К. Булычев
П. Амнуэль
В. Фирсов
Д. Биленкин
И. Росоховатский
А. Дмитрук
В. Морочко
Л. Эджубов
Д. Шашурин
А. Силецкий
В. Колупаев
В. Осинский
Ю. Тупицын
М. Чудакова
И. Ефремов
В. Ревич
А. Евдокимов

Составитель
Р. ПОДОЛЬНЫЙ

Художественное
оформление
Б. ЖУТОВСКОГО,
А. БЛОХА

РИГА
БАКУ
МОСКВА
ТОМСК
ТБИЛИСИ
КИЕВ
ОРСК

фантастика

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1970

От редакции

В этом сборнике вы прочтете девятнадцать рассказов семнадцати авторов из разных городов нашей страны.

К научной фантастике обращается все больше писателей: и уже сумевших себя зарекомендовать, и только берущихся за перо.

Не случайно среди авторов этого сборника, как и среди советских фантастов вообще, профессиональные писатели составляют пока явное меньшинство.

Любопытно чуть более подробно проанализировать хотя бы состав авторов этого сборника. Пятеро из них назвали себя в ответ на вопрос издательства писателями или профессиональными литераторами, в том числе один — сценаристом. Еще четверо и профессиональные журналисты, и писатели. Журнал «Вокруг света», газета ЦК КП Грузии «Заря Востока», киевская газета «Юный ленинец», московское издательство «Мир» — места их работы. В сборнике представлен астрофизик, кроме фантастических рассказов, печатающий научные статьи о захвате межзвездного вещества нейтронными звездами. И историк литературы. И просто историк. И военный инженер. И радиоинженер. И студент. И военный штурман, преподаватель Высшего военного авиационного училища. И юрист, заведующий научно-исследовательской лабораторией автоматизации судебно-экспертных исследований, он же ученый секретарь секции «Кибернетика и право» научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР.

В числе авторов три кандидата наук (филологических, юридических, исторических), один аспирант.

Фантасты, произведения которых вы прочтете, живут в Москве и на Украине, в Прибалтике, Закавказье, Сибири. Из семнадцати фантастов подавляющее большинство — мужчины (пятнадцать).

Самому старшему из семнадцати пятьдесят один год, двум младшим по двадцать три, остальные в большинстве достигли тридцати-сорока лет. Шестнадцать фантастов выступают под собственными фамилиями, один предпочитает псевдоним.

О всемогуществе науки пишут одни, другие воспевают бодрящую силу мечты, третьи — борьбу за свободу и счастье. Но все вместе семнадцать фантастов рассказывают нам прежде всего о нас самих — потому что их глазами смотрим мы из сегодня как на будущее, так и на прошлое.

Фантастика подчиняет себе пространство и время прежде всего ради такого рассказа о мире, в котором мы живем.

Герои рассказов — ученые и звездолетчики, солдаты революции и защитники угнетенных, отчаянные мечтатели и не менее отчаянные скептики.

Мы хотели хотя бы частично отразить в этом сборнике и творческую многоликость советского фантаста, и тематическую многогранность советской научной фантастики.



— Ну вот, кажется, и все, — сказал Говор.

— Теперь все, — согласился Серегин.

— Да, еще одно: мой пилот Вы выбрали?

Серегин кивнул с маленьким запозданием; эта пауза не ускользнула от Говора.

— Вас что-то смущает?

— Пожалуй, да, — сознался Серегин. Он выпятил нижнюю губу, склонил голову влево и повторил: — Пожалуй, да.

— Честное слово, я не знаю, до чего мы так дойдем. Что, неужели нельзя найти приличного пилота? Зачем же вы советовали мне отпустить Моргуна на звезды? После него мне нужен очень хороший пилот. С другим я просто не смогу летать, вы это знаете.

— Судя по знакам отличия, он хороший пилот, — сказал Серегин. — У него их полная грудь.

— В чем же дело?

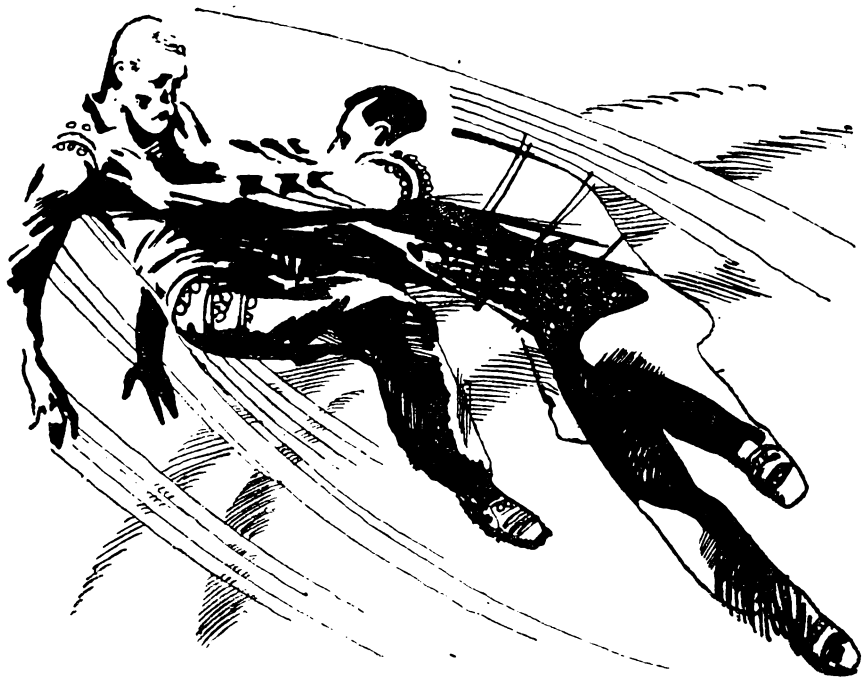
— Хотел бы я знать, в чем дело, — сказал Серегин, скептически покачивая головой. — Опыта у него, по-видимому, достаточно. Но что-то такое есть в нем...

— Это лучше, чем когда нет ничего, — прервал Говор. — Вы ознакомились с документами? Да, впрочем, Резерв не прислал бы мне кого попало. Они меня знают.

— Я тоже так думаю, — сказал Серегин, не моргнув глазом. — Да кто вас не знает? — Говор покопился на него; Серегин был непроницаемо серьезен. — Докумен-

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

ПИЛОТ экстра-класса



тов у него пока нет, по его словам, их сейчас оформляет Резерв. А так, с виду, парень в порядке.

— Какой класс?

— Экстра.

Говор поднялся с кресла с таким видом, словно собирался немедленно засучить рукава и кинуться в атаку.

— Вы начинаете острить?

— Я ничего не начинаю, — возмущенно сказал Серегин. — У него экстра-класс. Не думаю, чтобы он врал.

— М-да, — буркнул Говор.

— Вот в том-то и дело.

— Я вас понимаю. Пилоты экстра-класса не каждый день идут на корабли малого радиуса.

— Да, не каждый день. Точнее, это первый случай.

— Вы правы: тут что-то не так. Может быть, возраст? Как его зовут?

— Рогов.

— Рогов, Рогов... Где-то что-то... Напомните, Серегин.

— Когда-то вы хотели взять пилота с такой фамилией. Только он передумал и ушел на звезды. У него был первый класс.

— Значит, он получил экстра и решил принять наше предложение? Странно.

— Да нет же, — терпеливо сказал Серегин. — Вы забыли: это было давно. Того два года назад списали по возрасту.

— Зачем же вы привели его, Серегин?

— Это не он. Возможно, его сын. Ему лет сорок, сорок пять...

Говор уселся на угол стола и скрестил руки на груди.

— Что же вас смущает? Я вас знаю, Серегин, вы не станете сомневаться зря. Ну, отвечайте же, бестолковый человек!

Серегин пожал плечами.

— Ничего определенного. Но когда я смотрю ему в глаза, мне кажется, что он куда старше нас всех.

— Возможно, усталость, — предположил Говор. — Да, наверное, усталость. Он хочет отдохнуть здесь, в Системе. Но вы сказали ему, что работа у нас очень напряженная? Иногда из-за одного человека приходится гонять машину чуть ли не на другой конец Солнечной системы. Такова космическая ветвь геронтологии. — Соскользнув со стола, Говор заложил руки за спину, гордо выпятил живот. — Если где-нибудь на Энцеладе человеку удастся дожить до ста двадцати, мы вынуждены облазить всю планету, чтобы в конечном итоге убедиться в том, что там нет никаких специфических условий, ведущих к увеличению продолжительности жизни, а просто у человека хорошая наследственность. Помните, сколько нам пришлось попотеть из-за Карселадзе?

— Помню.

— Все-то вы помните! Где этот пилот? На следующей неделе я хочу выслать группу к Сатурну, на Титан. Я сам пойду с нею. Не исключено, что там окажется что-то

интересное. Где же он? Нельзя заставлять пилота экстра-класса ждать столько времени! Ей-богу, Серегин, вы иногда так злите меня, что я начинаю думать: человечество просто не заслуживает того продления жизни, ради которого я тут чуть ли не разрываюсь на части. Не говоря уже о бессмертии, которого оно заведомо не заработало. Даже вы — нет, а заметьте: вас я считаю одним из лучших представителей человечества. Это чтобы вы не обижались.

Серегин не улыбнулся.

— Я не обижаюсь, — сказал он. — Пилот здесь, рядом.

— Ну вот, я так и думал. И вы только сейчас снисходите до того, чтобы уведомить меня об этом, а пилот изнывает от скучного ожидания в приемной. Или вы думаете, что его может интересовать телепрограмма? Нет, если бы не ваша способность подбирать такие блестящие группы, я бы вас... Каково теперь, по вашей милости, мнение этого пилота обо мне? Он думает, что шеф института — старый дурак и вовсе не заботится о людях, хотя именно он должен бы... Впрочем, я не уверен, что вы судите иначе.

Серегин покачал головой.

— Нет.

— Тогда идемте к нему.

— Только я хочу предупредить вас...

— Ничего не желаю слушать, — отрезал Говор. — Где он? В конце концов, имею я право поговорить с ним?

Не по возрасту стремительными шагами Говор пересек кабинет и рывком распахнул дверь в приемную.

2

Навстречу Говору поднялся старик. Его длинное, костистое лицо обтягивала сухая, с красными прожилками кожа. Старик выпрямился во весь рост, но привычка сутулиться укоренилась слишком глубоко. Старик неуверенно шагнул вперед.

— Я пришел, Говор, — сказал он. Голос его дрожал; старик чувствовал, что произвести благоприятное впечатление ему не удалось. — Я пришел. Когда-то ты обещал сделать для меня все, что я захочу. Так вот, я хочу, чтобы ты взял меня.

— Ну вот, — сказал Говор, с досадой ударив себя руками по бедрам. — Ну вот. Этого только мне не хватало.

— Я ведь немногим старше тебя, Говор, — сказал старик. — И я неплохо летал, а? Нет, скажи прямо: разве я плохо летал? Вспомни. Другие забыли, они не возьмут меня. Но ведь ты не можешь забыть! И ты возьмешь меня, Говор. — Он говорил все быстрее, чтобы не дать никому вставить слово. — Сейчас у тебя нет пилота, я узнал. У меня все с собой... — Негнущимися пальцами старик полез в карман. — Вот сертификат, вот книжка... Правда, на них этот проклятый штамп. Но ты уберешь его! А, Говор? На, вот они. Возьми! Или скажи ему... — старик ткнул документами в сто-

рону Серегина. — Скажи, пусть он возьмет и сделает все, что надо. И мы полетим опять, а, Говор?

Говор тяжело вздохнул, покопался на Серегина, затем подошел к старику. Говор отвел в сторону документы и обнял старика за плечи.

— Ну садись, старина, — сказал он. — Садись, и поговорим еще. Хотя у меня мало времени, чертовски мало.

— Узнаю тебя, — сказал старик и мелко захихикал. — Раз кто-то чертыхается, значит Говора не придется искать далеко. А ты тоже стареешь, — отметил он не без удовлетворения.

— Это естественный процесс, — сказал Говор недовольно. — Но давай-ка поговорим о деле. Ты все-таки хочешь летать. Но ты ведь давно знаешь, Твор, буйная голова, что не полетишь. Все коммисии, начиная с психологов...

— Вот что, — сказал старик. — Ты сперва возьми документы...

— Если даже я их возьму, все равно никто не выпустит тебя в пространство.

— Захочешь — выпустят! Тебя все боятся: вдруг ты и вправду найдешь способ делать людей бесмертными? Тогда каждому захочется оказаться поближе к началу очереди... Нет, если ты скажешь, что хочешь летать со мной — и только со мной! — то никто не осмелится возразить.

— Меня просто не станут слушать, — сказал Говор не очень убежденно.

— Но вот сам же ты слушаешь меня! — Старик снова хихик-

нул. — Да, ты стареешь. Раньше ты не стал бы и слушать. Приказал бы отправить меня домой, и все.

— Старина... Разве тебе плохо дома? Ты налетал столько, что хватит на две жизни. Уже десять дней, как ты вышел из больницы. Райская жизнь! Заслуженный отдых. Я в самом деле готов сделать для тебя все, но по эту сторону атмосферы. Может, хочешь переехать в Африку? На Гавайи? Куда-нибудь еще? Я помогу, мы тебя перевезем, но, ради бога, выбрось из головы, из своей старой головы, что ты еще сможешь летать. Тебя не выпустят с Земли даже пассажиром!

— Тебя же выпускают!

— Я куда крепче. И кстати, я теперь летаю в капсуле, где не испытываешь перегрузок. А пилот должен вести корабль...

— Не тебе учить меня этому, Говор. Я хочу летать. И я был бы сейчас не слабее тебя, не облучись я тогда на Обероне. Но ведь я не виноват в том, что облучился, когда летал по твоим, Говор, делам!

— Если бы даже был виноват я — все равно... — произнес Говор после паузы. — Скажи по-человечески, чего ты хочешь, или — прощай. В конце концов, я занят серьезным делом: стремлюсь продлить жизнь, хотя бы тебе! И у меня мало времени.

— Ну да, — пробормотал старик. — У тебя мало времени... Но где же твоё бессмертие? Ты не представляешь, как оно мне пригодилось бы: я стал бы молод и опять уселся бы за пульт...

Говор непреклонно покачал головой:

— Даже тогда — нет. Бессмертие не омоложение.

Старик моргнул, и губы его задрожали.

— Продлить райскую жизнь, — сказал он. — Чтобы меня подольше кормили из ложечки? Не так я жил, чтобы... Тебе не приходилось жалеть, что ты не погиб раньше? А я теперь каждый день думаю об этом. Умереть на орбите — вот о чем я мечтаю.

— И оставить меня на произвол судьбы? Спасибо! В общем иди к черту! — сказал Говор, поднимаясь. — Когда я тоже не смогу больше работать, вот тогда ты изложишь мне свои взгляды на жизнь. И на бессмертие. Только имей в виду, что бессмертные — они будут не такими, как ты. И даже не как я. Они будут вечно молоды, понимаешь? Но, конечно, будут умирать с годами. Пока это удастся не всем. И оставь меня, пожалуйста, в покое. Понятно? Серегин, отправьте его домой. Иди, старина, иди, я к тебе заеду как-нибудь вечером.

— Нет, — сказал старик. — Ты не чудотворец, Говор. А я ожидал от тебя чуда.

— Куда вас отвезти? — сказал Серегин. — Я распоряжусь.

— Куда-нибудь подальше. Это в ваших интересах. Но пока меня не увезут за пределы Земли, вам от меня не избавиться. Тебе тоже, Говор. Я приду опять. И ты ничего не сможешь сделать: нельзя не пустить в институт человека, который много лет водил его корабль.

Так что до скорого, Говор! На космодроме...

Последние слова были сказаны уже в дверях.

3

— Ну, — сказал Говор, — если бы не мое воспитание, я стал бы бить вас, Серегин, чем попало. А работай вы у Герта, он вас вообще уничтожил бы.

— Я и не знал...

— Должны были знать.

— И потом, мне жаль его.

— Достоинство, нечего сказать. А кому не жаль? — Говор постоял, плотно сжав губы, шумно сопя носом. — Да, у него окончательно разладилось с психикой. Мрачное напоминание всем старикам, Серегин, особенно облучившимся. Впрочем, что вам до этого? Но, собственно, и сам я хорош: зачем вышел к нему?

— Вы вышли не к нему, — возразил Серегин.

— Вот как? А к кому?

— Пилот ждет вас.

— Ага, — сказал Говор. — Я же говорю, что вы всегда все помните. А где пилот? Я его не испугал, надеюсь?

— Я здесь, — негромко сказал кто-то из угла.

— Чудесно. Значит, вы не испугались? Проходите, прошу вас. Поговорим у меня. Вы тоже, Серегин. Да, вы... простите, как вас?

— Рогов.

— Рогов, Рогов... Ну да, Рогов. Так вот, вы должны простить нас, стариков. Меня и того, которого я попросту выгнал. Он тоже

когда-то был пилотом. И даже неплохим: второго класса. Но — темпора мутантур... Да, старики — невыносимый подчас народ. Вы должны иметь это в виду, поступая ко мне. Дело не только в том... садитесь, прошу вас. Что-нибудь тонизирующее? Ну, а я выпью. Серегин, надеюсь, вас не нужно приглашать. Так вот, дело не только в том, что я старик. — Говор откинулся на спинку кресла, повертел в пальцах бокал, заглянул в него, словно в окуляр. — Мои недостатки не превышают обычного для этой возрастной категории уровня. Но нам приходится работать в основном со старцами. С долгоживущими. Мы занимаемся геронтологией, вы слышали об этой науке? Вы ведь знаете, что в каждом уголке космоса, и большого и малого, существуют свои условия, непохожие ни на какие другие. И вот мы ищем, не могут ли эти условия — какая-то их комбинация — положительно повлиять на протяженность жизни, а может быть, и... Словом, мы ищем людей, опыт которых мог бы со всею достоверностью нам сказать, что именно в данном месте существуют нужные условия. Тогда мы начнем изучать их как следует... Короче, нам приходится помногу летать; учет долгожителей даже в Солнечной системе поставлен из рук вон плохо, она ведь, по сути, не так мала, Система. Итак, я вас предупредил. Вы не боитесь того, что придется много летать?

— Нет, — сказал Рогов.

— Чудесно. Впрочем, чего вам

бояться: вид у вас отличный, можно только пожелать и себе такого же. Корабли класса «Сигма-супер» вам, разумеется, знакомы?

— Да, — сказал Рогов. После паузы добавил: — В основном теоретически. Плюс два месяца практики в Космическом резерве сейчас. Эти корабли появились, когда у меня был перерыв в полетах.

— Долго не летали?

— Довольно долго.

— Долго, Серегин, слышите? Гм... Скажите, Рогов, а летали вы на каких трассах?

— На межзвездных.

— Много? — спросил Серегин.

— Подождите, Серегин, я же разговариваю! Естественно, много: иначе он не был бы пилотом экстра-класса. Вы знаете, Рогов, я удивляюсь, что вас направили на такую скромную работу. Ведь пилотов экстра-класса не так много?

— Сейчас уже около двадцати.

— Все они надпространственники, — сказал Серегин. — А как у вас с навыками работы в трех измерениях?

— Я почти все время работал именно в трех.

— Очень хорошо, — сказал Говор. — Исчерпывающий ответ. Вы еще что-то хотите спросить, Серегин?

— Только одно. Долго ли вы не летали? Точно.

— Да постойте, Серегин. Что вам дадут цифры? Ну, пусть он не летал даже пять лет — выработанные рефлексy и навыки ведь не исчезают... А вот почему вы не летали? Это важнее.

— Женился, — сказал Рогов, — жил на Земле. Отдыхал, можно сказать.

— Я вас понимаю. Человеку необходимы перемены... А теперь, следовательно, семейная жизнь вам приелась, и вы решили...

— Нет, — сказал Рогов. — Не то чтобы мне надоело...

Было в его голосе что-то такое, что заставило обоих собеседников взглянуть в Рогова повнимательнее. Нет, все было в порядке: рослый, плечистый человек лет сорока, с гладким лицом и уверенными движениями. Но вот только что им послышалось что-то?.. Какое-то горькое превосходство, что ли?

— Вот как? А почему же вы решили, выражаясь высоким штилем, вновь покинуть Землю?

Рогов подумал и пожал плечами.

— Понимаю: вы затрудняетесь ответить. Это даже неплохо: ваше желание, значит, естественно, органично...

— Много ли у вас детей? — спросил Серегин. — И согласна ли жена?

— Дети выросли, — сказал Рогов. — Жена умерла.

— Простите, — сказал Серегин.

— Нет, позвольте! — возмутился Говор. — Что значит — простите? Как это — умерла жена? У нас стопроцентная гарантия жизни, каждый человек уже сегодня доживает до своего биологического рубежа, а вы говорите — умерла жена! Отчего? Непонятно.

— Очевидно, — сказал Рогов, — достигла своего рубежа.

— Во сколько же это лет, если не тайна?

— Сто было сто два, — сказал Рогов.

Говор развел руками, высоко подняв брови.

— Сто два? Простите, а сколько же тогда лет вам? — спросил Серегин.

— Двести двадцать семь, — сказал Рогов.

4

— Да нет, — поморщился Говор. — Нас интересует не это. Не ваши релятивистские годы, не время, прошедшее на Земле, пока вы летали на околосветовых скоростях. Мы хотим знать ваш реальный, физический, собственный возраст, вы поняли? Годы, которые вы прожили. Ясно?

— Отчего же, — сказал Рогов. — Ясно.

— Итак, вам...

— Двести двадцать семь. Релятивистских — более трехсот.

Говор схватил бокал и снова со стуком поставил его на столик.

— Скажите, Серегин, — сердито спросил он, — кого вы мне рекомендуете? Я просил пилота, а наш друг Рогов, кажется, мистификатор? Двести двадцать семь лет? А почему не больше?

— Двести двадцать семь, — сказал Рогов, пожимая плечами. Он не обиделся. — Больше не успел.

— Просто интересно! Но вы понимаете, Рогов, в этом-то вопросе мы специалисты. Возраст — это, так сказать, наша профессия.

И будь вам действительно... Ну, не двести двадцать семь, конечно, но хотя бы полтораста... Учитывая ваш облик и состояние здоровья, мы изучали бы вас как редчайшую из редкостей, биологический реликт. Но почему же мы до сих пор о вас ничего не слышали? А?

— Не знаю, — сказал Рогов. — Я не думал, что обо мне кто-то должен знать.

— Но позвольте! Вы же живете не в пустоте! Люди...

— Большую часть жизни, — сказал Рогов, — я провел как раз в пустоте.

— Да, конечно. Однако же...

— Позвольте мне, — вмешался Серегин. — Не думаю, чтобы он шутил. По его виду этого не скажешь. Да и зачем бы? И однако, это невероятно. Так что, я надеюсь, Рогов не обидится, если мы...

— Да, пожалуйста, — сказал Рогов.

— Тогда скажите, в каком году вы родились.

— В девятьсот шестьдесят пятом. Одна тысяча...

— С ума сойти! — не удержался Говор. — При всем желании я не могу...

— Одну минуту. Когда вы начали летать?

— Вскоре после возникновения звездной космонавтики. На лунных траассах.

— Значит, вам было не так уж мало лет, когда...

— Но и не много. И опыт. И хорошее здоровье.

— Так. Затем?

— Участвовал в освоении пла-

нет. На периферии Солнечной, потом в других системах. Это есть в послужном списке.

— Да, — сказал Говор. — Это релятивистские экспедиции, до открытия надпространства. Но в таком случае мы крайне просто можем... Серегин, свяжитесь, пожалуйста, со Звездной летописью.

Неторопливыми шагами Серегин прошел в угол кабинета, где тяжелый и надменный возвышался пульт информаторов. Серегин набрал номер. Засветился экран; он был вытянут снизу вверх, сохраняя традиционные пропорции книжной страницы. На экране зажглось название указанного Говором источника. Затем возникла первая страница, вторая...

— Быстрее, Серегин! — нетерпеливо проговорил Говор. — Где нам искать?

— В четырнадцатой, — сказал Рогов. — И девятнадцатой...

— Четырнадцатая экспедиция, Серегин. Что вы копаетесь?

Страница остановилась на экране. Серегин секунду вглядывался в нее.

— «Ведущий корабль «Улугбек». Ведомый — «Анаксагор», — вслух прочитал он. — На каком были вы?

— «Улугбек» не вернулся, — тихо сказал Рогов.

— «Анаксагор». Одну минуту... так. Шеф-пилот: Мак-Манус. Пилоты: Монморанси — ого! — и Рогов. Да, Рогов.

Рогов вздохнул.

— Гм, — сказал Говор. — Это было сколько лет назад? Да... Удивительно. Посмотрите, Серегин:

там должны быть фотографии членов экипажа. Вы, конечно, простите нас, друг мой. Вы понимаете: такие факты нельзя принимать на веру.

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, — сказал Рогов. Он чуть улыбнулся.

— Вот Рогов, — сказал Серегин. Он впервые с откровенным интересом взглянул на пилота. — Посмотрите сами.

Говор торопливо прошагал к пульту информаторов. Несколько раз повернул голову, сравнивая.

— Да, — сказал он. — Удивительно. Сходство несомненное. А? Правда, на снимке вы несколько моложе.

— Я и был тогда моложе.

— Вот именно. На двести лет, а? Серегин, отыщите-ка и вторую.

Розыски этой экспедиции заняли также немного времени.

— Здесь вы совсем похожи, — констатировал Говор. — Что же, Серегин, будем считать факт установленным? Но я предвижу, что все наши коллеги будут требовать бесконечного количества доказательств. Может быть, посмотрим еще дальше?

— Я думаю, — сказал Серегин, — это мы еще успеем сделать. Меня интересует другое: сколько же лет вы уже не летаете?

— Семьдесят, — после паузы проговорил Рогов. Он поднял на Серегина спокойный взгляд. — Вы бонтесь, что это повлияет?.. Я тоже опасался. Но, наверное, эти рефлексy не исчезают. Во всяком случае, в Резерве я прошел все испытания, стажировался на

последних моделях... Мне даже сохранили экстра-класс.

— Да нет, в этом мы не сомневаемся, друг мой, — вмешался Говор. — Дело не в этом. Мы не понимаем, как вы могли столько времени жить на Земле и не попасть в нашу картотеку! Хотя, может быть, у наших земных коллег служба поставлена хуже: на Земле столько народу...

— Не знаю, — сказал Рогов и пожал плечами. — Я об этом не думал. Просто жил, и все. Семьдесят лет — они уходят незаметно...

— Незаметно. Семьдесят лет. Тут невольно позавидуешь, а, Серегин? Человек просто жил... Кстати, Рогов первого класса не родня вам?

— Сын.

— Понятно. Но подождите, Рогов. А ваши друзья?

— Друзья, — повторил Рогов медленно, словно обдумывая это слово. — У меня их было много.

— Вот те, с кем вы летали.

— С кем летал? Ну, Мак-Манус и Мон — это раз. Они умерли.

— Давно?

— Да; я уже не помню точно когда. Потом Выходил и другие: Грюнер, Холлис, Семеркин...

— А эти?

— Тоже умерли.

— Так, так, — сказал Говор.

Наступила тишина, только едва слышно жужжал кристаллофон, записывающий разговор.

— Ну, а кого еще вы помните из друзей?

— Пришлось бы долго перечислять, — сказал Рогов.

— Да, за столько лет... И все они умерли давно?

— Почти все, — кивнул Рогов. Он помолчал. — Только Тышкевич и Цинис...

— Ну, ну? Что же они?

— Они тоже жили долго.

— Ну, сколько же? — Говор потер руки.

— Тышкевич погиб совсем недавно. Он работал на Южной термцентрали. Что-то там произошло такое...

— Помню этот случай. Значит, он погиб. И сколько ему было?

— Он был года на три или четыре моложе меня. На три, кажется.

— Потрясающе, а, Серегин? — Говор ходил по кабинету, вздымая кулаки. — Значит, ему было тоже двести с лишним! И погиб несколько лет назад! А мы с вами раскатываем по всей Солнечной... А второй, как его?

— Цинис? Он погиб раньше, в полете. Он не ушел на Землю. Ему было, помнится, сто шестьдесят... Это было давно. Мы тогда еще скрывали возраст — боялись, чтобы не писали...

— Да, — гневно сказал Говор. — Да! — крикнул он. — Тут и не заметишь, как сойдешь с ума! Погиб. Вы понимаете, Серегин: никто из них не умер своей смертью! Оба погибли. Вы хоть соображаете? Ах, если бы вы раньше...

— Очень просто, — сказал Серегин. — На них не обращали внимания именно потому, что они — Рогов, например, — выглядят людьми средних лет. Конеч-

но, будь у них морщины и борода...

— Это мне ясно. Но они сами не могли же не понимать!

— Конечно, — сказал Рогов медленно, — мы понимали, что это необычно. Но мало ли каких необычностей насмотрелись мы по ту сторону атмосферы? Обо всем не расскажешь и в двести лет. А летать нам хотелось. А потом стало неудобно...

— Ну да, — сказал Серегин. — Он женился.

— Чепуха, — сказал Говор. — Я вам скажу, в чем дело: они все суеверны, Серегин. И боялись — ну, что мы их сглазим, например. А?

Рогов улыбнулся.

— И вам... не надоело жить?

— Нет, — сказал Рогов. — Хочется еще полетать. Только не так далеко. На ближних орбитах. Все-таки в конечном итоге лежать хочется в своей планете.

— В своей планете... — пробормотал Говор.

Засунув руки в карманы, он пересек кабинет по диагонали. Лотки смешно торчали в стороны. В углу он постоял, опустив голову. Резко повернулся. Снова зашагал — на этот раз быстрее, резко ударяя каблуками.

— Лежать — в своей — планете, — повторил он громко, раздельно. Вытащив руки из карманов, он широко расставил их и резко опустил, хлопнув себя по бедрам. — В своей планете! — крикнул он. — А? Каково?

В следующий миг он оказался

возле пилота и неожиданно сильно ударил его по плечу.

— Этого не обещаю! — сказал он торжественно и помахал ушибленной ладонью. — Насчет своей планеты.

Рогов покосился на него.

— Думаете, не выдержу в рейсе?

— Нет, не это. Похоже, вам не суждено лежать в земле.

— Жаль, — сказал Рогов. — Где же?

— Нигде. Просто жить. Потому что все, что вы тут рассказали, а мы проверили, чертовски смахивает... На что это смахивает, Серегин?

— На элементарное бессмертие, — сказал Серегин по обыкновению коротко и сухо.

— Да, — торжествующе сказал Говор. — Вот именно.

5

Взгляд Говора был таким торжествующим, словно это именно он, а не кто-нибудь другой обрел бессмертие.

— Но я вижу, Рогов, вы даже не очень взволнованы? Ничего, это придет позже, а пока продолжим. Отвечайте: где вы это подхватили?

Рогов задумчиво взглянул на свои ладони.

— Ну, быстрее. Надеюсь, ответ не написан у вас на ладони, как у студента? Итак, я имею в виду бессмертие. Когда вы... Ну, когда вы перестали стареть, что ли? Одним словом, когда вы это почувствовали?

Рогов покачал головой.

— Не знаю. Откровенно говоря, я и сейчас ничего не чувствую.

— Абсолютно ничего?

— Чувствую, что все в норме.

— Так, чудесно... Попробуем иначе. Эти два друга — те, что погибли, — где вы с ними летали?

— Это был многоступенчатый рейс. Он так и называется. Мы были возле трех звезд. Планеты могу перечислить...

— Успеется. И высаживались?

— Само собой.

— И облучались?

Рогов пожал плечами:

— Хватало всего.

— Так... Есть ли подробные дневники экспедиции, журналы?

— Вряд ли они сохранились. Нас ведь потом спасли просто чудом. Машина погибла. Там были довольно каверзные места, в этом рейсе. Такие хитрые трассы... Очень хорошо, что теперь на такие расстояния ходят в надпространстве.

— А вы не пробовали?

— Я, наверное, консерватор, — сказал Рогов. — Это не по мне. Люблю трехмерное пространство. Выше — для меня чересчур сложно.

— Мы отвлекаемся, — сказал Говор. — Значит, сказать, где именно с вами произошло это, вы не в состоянии?

Рогов покачал головой.

— Надо повторить этот рейс, — сказал Серегин. — Рогов, вы пошли бы снова по этой многоступенчатой трассе? Без вас мы не восстановим всего.

— Рогов, подумайте! — сказал Говор.

Рогов подумал.

— Пожалуй, я пошел бы, — сказал он.

— Хорошо, хорошо, — сказал Говор. — Но это позже. Вы же понимаете, Серегин: такая экспедиция даже в самом лучшем случае может рассчитывать примерно на один шанс из ста тысяч. Готов спорить, что они облучились — а я уверен, что они облучились чем-то, — не на основной трассе. В каком-нибудь закоулке, о котором и сам Рогов давно забыл. Вернее всего, было даже не одно облучение. Комплекс их. Сочетание. И вот это сочетание произвело то действие, которое мы пытаемся... Нет, полет — это потом. А в первую очередь мы должны установить, что же за изменения произошли в организме Рогова. А для этого мы его исследуем. Фундаментальнейшим образом исследуем. Тогда нам станет ясно, что именно мы должны искать. Реконструкция обстоятельств будет делом нелегким, но это уже, так сказать, техническая задача. А исследование Рогова — первоочередная. Что скажете, Рогов?

— А полеты?

— Будут и полеты. Потом. Не понимаю, что вы за человек: вам сказали, что вы бессмертны, а вы хоть бы удивились, что ли?

Рогов улыбнулся.

— Нелегко нарушать законы природы, — сказал он. — И я никогда не любил выделяться. Поэтому мне не очень верится.

— Поверится, — сказал Го-

вор. — Скажите, а что вы будете делать со своим бессмертием?

— Наверное, — сказал Рогов, — теперь у меня хватит времени, чтобы обдумать это.

— Обдумывайте. Сейчас мы поместим вас в уютное местечко, где будут все условия для этого. Тишина, покой, уход... Вы, Рогов, скажу без преувеличения, сейчас самый дорогой для мира человек. Вы и представить себе не можете всей своей ценности...

— Откровенно говоря, — сказал Рогов, — я чувствую себя немного кроликом...

Говор на миг занулся.

— Иногда все мы попадаем в такое положение, — успокоительно сказал он. — Не бойтесь, вам не придется ждать долго, вы и соскучиться не успеете! — Он обнял поднявшегося Рогова за плечи. — Идите, друг мой. Серегин вас проводит. Готовьтесь; исследовать вас будем безжалостно, а это утомительный процесс. Хлеб кролика — он горький, друг мой, горький.

— Ну да, — сказал Рогов. — Я понимаю.

В голосе его не чувствовалось энтузиазма. Говор подозрительно посмотрел на него.

— Надеюсь, вы не допустите никаких глупостей? Не сбежите, например? Хотя что я говорю. У пилотов всегда высоко развито чувство ответственности перед остальными людьми, иначе они не могли бы летать... Так что же вас не устраивает?

— По сути, ничего, — сказал Рогов и переступил с ноги на

ногу. — Разве что... Я ведь был на испытательном полигоне, стажировался. В город приехал только что. Не успел даже оглядеться. Здесь многое изменилось...

— Ну, это естественно. Даже я замечаю изменения, а ведь я куда моложе... м-да. Итак, вы хотите прогуляться по городу. Серегин, как вы думаете?

— Лучше потом, — сказал Серегин.

— Вот и я так думаю. Может быть, вы потерпите?

— Как прикажете.

— Ну и чудесно. — Говор несколько мгновений смотрел на пилота. — Хотя... знаете что? Идите. Погуляйте час, полтора. Сейчас половина девятого? Ну, до половины одиннадцатого. Только ведите себя хорошо! — Он повернулся к Серегину и, не стесняясь пилота, пояснил: — На прогулке он успокоится, а если просидит это время в ожидании, то станет излишне нервничать, а? Мы успеем за это время подготовиться к обзорному анализу. — Он снова повернулся к Рогову. — Только не опаздывайте.

Рогов кивнул.

— Я, пожалуй, съезжу только на космодром, — сказал он. — Хочется поглядеть на машины.

— Ну что ж, раз вам это нравится... В половине одиннадцатого!

Рогов кивнул еще раз. Он подошел к двери. Створки, щелкнув, поехали в стороны. Постояв секунду, Рогов решительно шагнул и оказался в приемной. Створки мягко сомкнулись за ним.

Говор задумчиво проводил взглядом высокую фигуру пилота. Когда дверь бесшумно стала на место, он усмехнулся и покачал головой.

— Все-таки мы до старости остаемся детьми. А, Серегин? Знаете, мне сейчас очень хочется догнать его и никуда не отпускать от себя. Словно ребенок, который боится выпустить из рук новую игрушку... Смешно? — Он помолчал. — А наш пилот, кажется, начал понимать. Вы видели, как осторожно он выходил? Боялся, чтобы его не задело дверью. Как же, бессмертие не шутка...

— Пилот экстра-класса, — сказал Серегин. — Но что это значит? Ничего. Тут надо быть человеком экстра-класса.

— Вовсе нет. Экстра-класс — это нечто исключительное. А ведь бессмертие — биологическое бессмертие — не может быть исключительным явлением. Оно должно принадлежать всем или никому. Массовое, как прививка оспы, — прививка от смерти. Иначе оно сразу же превратится в награду. А этого произойти не должно.

— Потому что награду не всегда получает достойный?

— Дело даже не в этом. Ведь есть уже другое бессмертие — в человеческой памяти. И оно, как правило, приходит, если заслужено. А вот человек: прожил двести с лишним лет — и кто знает о нем? Мы, специалисты, и то узнали случайно.

— Мне кажется, вы начинаете жалеть...

— Жалеть? Нет. Но я боюсь. Представьте себе миллиарды, десятки миллиардов людей, все Большое Человечество, которое, как Рогов нынче, боится выйти в дверь! — Он поднял плечи и развел руки, изображая растерявшегося человечество, затем фыркнул: — Ну, говорите же!

— Разве вы не думали о подобном, когда начинали работать? Говор отмахнулся.

— Ну да, ну да. Я работал: это была величественная научная проблема, огромная задача. Но, откровенно говоря, я не думал, что она решится так скоро. Разные вещи: решать абстрактную проблему или вдруг оказаться перед неизбежностью практического применения...

— Что же, — сказал Серегин, — еще не поздно. Еще можно ничего не сделать.

Говор взглянул на него, словно на сумасшедшего.

— Ну хорошо, — сердито сказал он после паузы. — Соберите сотрудников. Надо поставить задачу. Приготовить аппаратуру. Работы будет очень много. О, наконец-то у нас будет настоящая работа!

— Погодите. Все же ваши сомнения...

— Что ж, — сказал Говор. — Будем надеяться, что сомнения эти — просто результат склеротических процессов в моем мозгу. Страхи старого дурака. Будем верить, что бессмертие — шаг в лучшую сторону.

Перед лифтом Рогов остановился. Гладкие двери, рокоча, раскатылись, кабина осветилась. Рогов стоял, не двигаясь с места, охватив пальцами подбородок. За спиной вежливо кашлянули. Рогов поспешно сделал шаг в сторону, пропуская. Человек вошел в кабину и оттуда вопросительно взглянул на пилота. Прикрыв глаза, Рогов медленно покачал головой. Створки сдвинулись. Растерянная улыбка появилась на лице пилота.

Скоростной лифт мог сорваться и упасть. Стопоры могли не сработать. Падение с такой высоты означало смерть.

Смерть же вдруг стала страшной, потому что перестала быть неизбежной.

Рогов спустился по лестнице. Так было долше, но надежнее.

Внизу он постоял, не сразу решившись выйти на улицу. Помнится, когда-то он слышал, как что-то упало сверху прямо на человека; человек этот умер.

Если хорошенько подумать, выходить на улицу больше не следовало. Можно было вернуться к Говору и устроиться в палате. Тут его будут охранять. Будут следить за каждым его шагом...

Рогов повернулся. Он не сделал следующего шага назад лишь потому, что наверх пришлось бы подниматься в лифте. Пожалуй, улица была все же безопаснее.

Он осторожно приблизился к двери. Люди входили и выходили. Они не боялись. Они знали,

что смерти им не избежать. Мысль эта была настолько привычной, что они даже не ощущали ее. Они постоянно рисковали жизнью, потому что она была коротка.

И на них ничего не падало. Может быть, следовало все же рискнуть? Столько раз приходилось рисковать в жизни...

Рогов напрягся. Сделать первый шаг оказалось страшно трудно. Стартовые перегрузки он некогда выдерживал куда легче.

Подумав о перегрузках, он почувствовал, как весь покрывается холодным потом.

Полеты! Там опасность подстерегала человека с первой до последней секунды. Много опасностей, одна страшнее другой.

Рогов понял, что больше никогда не осмелится взлететь.

Но разве это обязательно?

Да его и не пустят больше летать. Его будут изучать. Долго. Тщательно. Несколько лет...

Но эти несколько лет пройдут, — подумал он. — В конце концов, его изучат. А тогда?

Что будет он делать тогда в этом водовороте опасностей, который называется жизнью? Что будет делать десятки, сотни, может быть, даже тысячи лет?

Пилот почувствовал, как мелко дрожат его руки.

Жизнь оказывалась страшной вещью. А ведь до сих пор она казалась такой великолепной!

Рогов подумал, что сходит с ума.

Жаль, что бессмертие не делает человека неуязвимым для гибели. Ведь вот погибли Тышкевич,

Цинис — ребята ничем не хуже его самого.

Жаль.

Но порог придется переступить. Это Рогов понял сразу же, как только вспомнил о Тышкевиче и о Цинисе.

Выходило, что он старается спрятаться за их спины. А он никогда не прятался. Не прятался двести двадцать семь лет. Долго.

И потом, дети. Они, несомненно, получают это самое бессмертие. И тоже будут переминыться с ног на ногу? Что бы он сказал, увидев кого-нибудь из них в таком положении?

Пожалуй, то же, что сказали бы они, увидев его сейчас...

Шаг удалось сделать почти так же легко, как раньше, когда он ничем не отличался от всех.

Рогов вышел на тротуар. В трех шагах стояла свободная машина. Можно было взять ее. Машиной управлял автомат, ехать в ней было бы безопасно.

Рогов взглянул на машину и усмехнулся. Он даже засвистел что-то сквозь зубы. Эту песенку любил Тышкевич. Рогов давным-давно забыл ее, а вот сейчас мелодия вдруг вспомнилась. Как и сам Тышкевич, с его редкими светлыми волосами и высокими польскими скулами.

Рогов вспомнил, в какой стороне лежит космодром, и зашагал насвистывая.

Он вдруг почувствовал себя нормально. Наваждение прошло. По улице шли люди. И он шел, такой же, как все. Он ничем не отличался от остальных. Разве

что тем, что люди шли молча, а он насвистывал старую-престарую песенку.

8

В девять часов районная энергоцентральный производила первое перераспределение мощностей в связи с тем, что Институт космической геронтологии впервые за все время своего существования затребовал все, что ему полагалось. Были включены сложнейшие комплексы приборов, необходимых для всесторонних исследований человеческого организма вплоть до молекулярного и субмолекулярного уровней.

Это была первая прогонка вхолостую. Вторая произошла в десять часов и продолжалась пятнадцать минут. После этого аппараты были выключены, но никто уже не покидал своих мест. Начало исследований было назначено на полдень. До этого Роговым должны были заниматься психоаналитики. Задача была поставлена перед каждым сотрудником. Таких задач людям не приходилось решать никогда, и они чувствовали себя приподнято и взволнованно, как перед редким праздником.

Говор неторопливо прохаживался по матовому белому полу центральной лаборатории. Он сжимал кулаки и потряхивал ими, словно готовясь выйти на ринг. В середине лаборатории на высоком постаменте возвышалась цилиндрическая камера. В полдень сюда войдет Рогов. Его усадят в крес-

ло, облепят датчиками. Начнется первый цикл исследований, медико-физиологический. Если в организме пилота все окажется в порядке и медики не дадут никаких противопоказаний, можно будет через день-два перейти и ко второму, а затем — к последующим циклам.

В организме все окажется в порядке, в этом Говор был уверен: проверяющие пилотов комиссии относятся к своему делу достаточно серьезно, а Рогов как-никак имел медицинскую визу в космос. Но, как и перед началом любого эксперимента, волнение не оставляло главу института, и он все кружил вокруг постаментов, то и дело бросая косые взгляды на сотрудников, готовых принять человека, ставшего объектом исследований, проделав с ним все необходимые процедуры, поместить его в камеру, а затем разойтись по своим местам, чтобы, не отрывая взгляда от приборов, ждать то новое, что должны дать — и обязательно дадут — исследования; если не сегодня, то завтра или через месяц, но дадут. Дадут, и Говор теперь пытался угадать, кто же из сотрудников первым заметит что-то существенное; и, хотя он знал, что угадать это невозможно и любой из людей был достоин такой удачи, Говор все же подходил к каждому и вглядывался в него, затем отводил взгляд и направлялся к следующему, что-то ворча.

Сотрудники старались выглядеть спокойными. Но то один, то другой из них бросал взгляд на

мерцающий циферблат больших часов, а потом — на всякий случай — и на свои часы, которым как-то больше было доверия. Все стрелки синхронно подвигались к одиннадцати, потом миновали их. Старший психоаналитик вошел и что-то прошептал на ухо Говору; он казался обескураженным. Говор в ответ сказал несколько слов. Стрелки спешили к двенадцати, все убыстряя, казалось, ход. В лаборатории стояла тишина, и поэтому был явно слышен глухой шум машины у подъезда; все головы на мгновение поднялись, но это еще не приехал Рогов, это уехал Серегин. И тишина возобновилась, прерываемая только шарканьем шагов Говора.

— Он мог бы уже прийти, — не выдержав, проговорил оператор группы диагностов.

— Старый человек, — успокоил кто-то. — Может и опоздать.

— Говорят, он совсем не выглядит стариком.

— Но на самом-то деле он стар. С ним, наверное, трудно разговаривать.

— Ничего не трудно, — проворчал Говор. — С вами иногда труднее.

И он резко повернулся к телефону. Но это вызвала всего лишь энергоцентральный.

— Возьмете ли вы, как предполагалось, свою мощность в двенадцать ноль?

— Возьмем, — буркнул Говор. Он взглянул на часы. Оставалось совсем немного времени.

— Ничего, — сказал он. — Серегин привезет. Пусть на пять

минут позже... В полдень включить все. Пока прогреем...

Он не закончил фразы и опять затоптался по полу, на этот раз не найдя больше сил отвести глаз от циферблата. Оставалось две минуты.

Полминуты.

Ноль.

Говор кивнул. Защелкали переключатели. Длинные прозрачные цилиндры налились фиолетовым светом. Тонкий, звенящий гул повис в комнате комариным облаком.

9

Этот день казался особенно хо- рошим на космодроме. В лучах высокого солнца нацеленные в зе- нит стрелы кораблей казались по- чти невесомыми.

Нет, конечно, не следовало об- манываться: это были всего лишь слабые корабли малых орбит. Ма- ленькие интересистемные яхты и тендеры с ионным приводом, не выдерживавшие никакого сравне- ния с фотонными трансистемны- ми барками или диагравийными надпространственными клиппера- ми Дальней разведки.

Но все же это были корабли, и Рогов, глядя на них, чувство- вал, как окончательно исчезает, растворяется, испаряется через кожу тот унизительный страх, который еще так недавно терзал его. Наступило спокойствие, и Ро- гов знал, что источником его яв- ляются корабли. На Земле могло происходить что угодно, но кора- бли были надежны; это давнее ощу-

щение вошло в него и помогло обрести спокойствие.

Да, после семидесятилетнего перерыва начинать следовало именно с таких машин. А те, на- стоящие, не уйдут. Ведь у него теперь очень много времени впе- ред.

Он усмехнулся. Бессмертие! Оно оказывалось стоящей вещью. Потому что вселенная для нас бесконечна. И именно бесконеч- ная жизнь нужна, чтобы лететь, не оглядываясь назад, а возвра- тившись, заставить живыми своих современников. Бессмертие очень нужно для звездных полетов!

Нет, все-таки он полетит. Ника- ких палат! Конечно, жаль, что нельзя подняться сразу. Какое-то время уйдет на все эти исследова- ния. Но тут ничего не поделаешь. Бессмертие нужно не только ему, но и его современникам. И буду- щим. Детям. Внукам. Всем. Его дети — странно — уже близки к старости. Каково было бы пе- режить их? Об этом просто нель- зя подумать!

И жаль, что погибли ребята. Надо было бы сформировать эки- паж. Первый бессмертный экипаж! Как приблизились бы звезды...

Спохватившись, он взглянул на часы. Стрелка уже миновала один- надцать. Опоздал? В институте ждут его. Без точности нет пило- та. Но корабли... На них можно смотреть без конца. Или еще хотя бы пять минут, он ведь долго не увидит их.

Хорошо, что бессмертными ста- нут все. Нет, он и раньше, конечно, догадывался, в чем дело.

Но не думал, что ученые уже размышляют об этом. Значит, и не было смысла трезвонить о своей исключительности.

Пора идти, пора.

Он взглянул на поле и невольно задержался еще на минуту. В соседнем квадрате готовился к старту какой-то кораблик. Небольшая, не достигавшая и сотни метров в высоту яхта с радиусом действия, пожалуй, не дальше пояса астеронидов. Старт — это такое зрелище, на которое хочется смотреть всегда. Тем более что своего старта ты никогда не видишь.

Рогов подошел поближе. Почти к самому запретному кругу. Ионные корабли пользовались для разгона химическими ускорителями. Атомные включались лишь в пространстве. Каждый кораблик стоял над вытяжной шахтой, куда при старте уходило пламя. Так что подойти можно было совсем близко. Вот и сейчас возле ограждающих тросов стояло несколько человек. Один из них показался Рогову знакомым. Впрочем, может быть, пилот ошибался.

Рукава заправки были уже сняты. С амортизаторов, на которые опирался корабль, убрали оранжевые стопоры. Машина была готова, и Рогов невольно позавидовал тому, кто сейчас в рубке нажмет красную клавишу «Пуск».

Кто-то тронул Рогова за плечо. Он оглянулся. Сзади стоял Серегин. Они улыбнулись друг другу, как старые друзья, и Рогов сказал: «Сейчас, только он взлетит...» Потом он снова повернулся к кораблю. Было очень удобно смот-

реть: от шахты Рогова отделял лишь десяток метров.

Провыла сирена. Затем раздался первый глухой удар ускорителей. Через секунду он превратился в рев. Но пламени не было видно: ускорители ревели в шахте.

И вот бронзовая стрела дрогнула и медленно, очень медленно проползла первые сантиметры. Рев усилился. Сейчас ускорители покажутся из шахты. Блеснут умирающие языки пламени. Но корабль уже скользнет вверх...

В этот миг в запретный круг вскочил человек.

Он что-то кричал, хотя голос его не был слышен. Рот беззвучно разевался на костистом лице, обтянутом багровой кожей. Вихрь горячего воздуха из шахты развевал седые волосы.

Человек повернулся и кинулся к шахте. И вдруг Рогов вспомнил, где видел этого человека. И понял, что кричит старик: что не может умереть в своей постели. Этот человек еще ничего не знал о бессмертии. И лишь четыре шага отделяли его от шахты.

Рогов вынесся в круг первым. Реакция у него была по-прежнему быстрой, как и в те годы, когда он летал. Быстрее, чем у всех остальных. Кроме того, он лучше всех знал, что выключить ускорители сейчас невозможно.

В мгновение ока Рогов оказался рядом с самоубийцей. Он вложился в удар всю силу. Старик был слаб и легок. Он отлетел к тросам. Там его схватило сразу несколько рук.

Рогов увидел лицо Серегина.

На лице был ужас. Рогов понял, что ускорители выходят из шахты и что выхлоп еще силен. Рогов не успел испугаться.

10

— Что там исследовать, — сказал Серегин. — Даже пуговиц не осталось.

Он умолк; гул приборов еще бился под потолком, потом стало совсем тихо: Говор подал знак, и приборы выключились.

Раздался звонок вызова: это была энергоцентральный.

— Нет, — сказал Говор. — Да, мы кончили.

Он повернулся к сотрудникам.

— Я сказал ясно: мы кончили.

— Эпилог прекрасной сказки о бессмертии, — пробормотал оператор диагностов.

— О моем — во всяком случае, — буркнул Говор. — Такое трудно пережить.

— Он был, я думаю, хороший парень, — сказал Серегин. — Горе. Да и вообще... Погиб зря.

— Что — вообще? — сказал Говор. — Погиб человек — вот что «вообще». Но не надежда на бессмертие: мы знаем теперь, где его искать. Пусть не я найду, пусть даже это будет Герт — все равно...

Наклонив голову, он смотрел, как гаснут огни и пустеет зал.

— Серегин! — грустно сказал Говор. — Вы сегодня словно подрядились попадать пальцем в небо.

— Да? — сказал Серегин.

— Вы сказали: он погиб зря. Погиб глупо — это так. Но он помог нам сделать еще один важный вывод.

— Какой же?

— Очень простой, Серегин. Запомните: и получив бессмертие, люди никогда не побоятся открыть дверь.



ВАЛЕНТИНА ЖУРАВЛЕВА

приключение

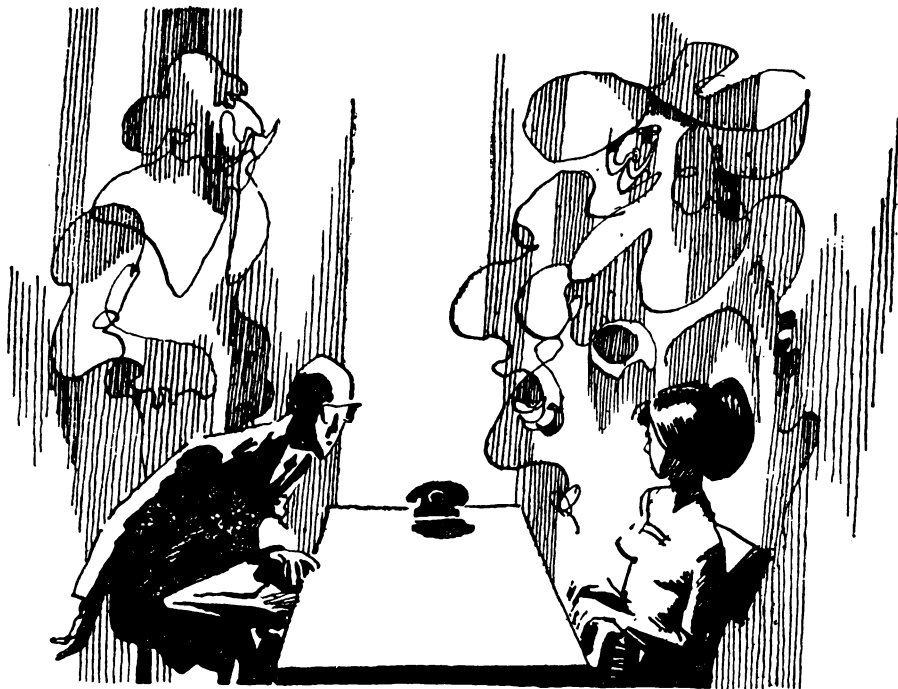
И. А. Ефремову

Я не ожидала, что позвонят из академии. Утром, получив гононар за статью в «Вопросах психологии», я купила венгерский журнал мод, вернулась к себе и стала решать сложную задачу — что шить.

Теоретически наиболее разумным вариантом было демисезонное пальто. Однако приближалось лето, и тошно было думать, что пальто будет лежать до конца августа. Вообще-то я давно проектировала вечернее платье. Шикарное вечернее платье, получше того черно-белого с жемчугом, которое Настя привезла из Парижа. Но если делать настоящее вечернее платье, не останется денег ни на что другое, это уж точно. А мне нужны были новые туфли.

С обложки журнала улыбалась курносая манекенщица в золотистом костюме. Она стояла около сверкающей красным лаком спортивной машины и держала на поводке беленькую мини-собачку. Из всего этого великолепия мне нравился только костюм. Легкий такой костюмчик из золотистой ткани. Неделю назад я видела на витрине одного ателье золотисто-бежевую ткань. Не столько, правда, золотистую, сколько бежевую, но это даже лучше.

Кое-что в костюме следовало изменить, я начала прикидывать и не сразу сообразила, что звонят из президиума АН и что меня приглашает К. Секретарь говорила чрезвычайно любезно («Очень просит зайти... если вас не за-



труднит...»), но указала точное время, и я поняла, что опаздывать не рекомендуется. И вообще — явка обязательна.

Времени оставалось не так уж много. Я помчалась в парикмахерскую, оттуда на почту, отправила домой журнал со своей статьей, заскочила в Дом моделей на Кузнецком мосту (ничего путного там не оказалось) и приехала в академию точно к назначенному времени — минута в минуту. В коридоре стояла массивная тумба с часами, эта тумба торжественно пробила три раза. В столь высоких научных сферах мне еще не приходилось бывать.

Секретарь, пожилая женщина в строгом сером костюме, мелким взгляднула на часы, одобительно улыбнулась и сказала: «Пожалуйста...» Мне показалось, что она вот-вот добавит: «...деточка».

На портретах у К. совсем другое лицо — властное, резкое, даже грубоватое. Я хорошо помню его портрет в школьном учебнике физики: К. был похож на маршала, я пририсовала ему китель, погоны и красивую маршальскую звезду. Получилось очень здорово, я начала разрисовывать другие портреты, в конце концов мне крепко влетело за эти художества. А на самом деле К. похож на му-

зыканта, у него одухотворенное лицо. Как у Рахманинова на рисунке Пастернака. И пальцы у К. длинные, подвижные. Но глаза... глаза все-таки маршальские. Серые, жестковатые.

— Значит, вы на четвертом курсе? — спросил К. — А как у вас относятся к тому, что студентка работает на уровне... ну...

— ...взрослого ученого? — подсажала я.

Он рассмеялся:

— Прекрасный термин. Находка для ВАКа. Кандидат, доктор, наконец — взрослый ученый...

Странная штука: никого не удивляет, что математик может сделать лучшие свои открытия в двадцать лет. Это считается вполне естественным. Как же, математические способности должны ярче всего проявляться в молодости!.. Но почему только математические? Разве нельзя стать в двадцать лет настоящим психологом? На меня все время смотрят с каким-то удивлением, даже с недоверием. Психология, видите ли, изучает человеческую душу — столь сложный объект, что... и так далее. А разве музыка или поэзия не имеет дела с человеческой душой? Привыкли же мы к тому, что бывают молодые композиторы и молодые поэты. Я занялась психологией еще в школе; надо работать, только и всего.

— Но вы не ответили: как к вам относятся в университете?

Я объяснила, что относятся хорошо. Дали отдельную комнату в общежитии. Включили мою тему в

план проблемной лаборатории. Взяли статью в сборник трудов.

К. улыбнулся:

— Вы не избалованы...

Теперь, немного освоившись, я оглядела кабинет. Он мне не понравился. Какой-то у него был нежилый вид. Стол, книжные шкафы, даже портреты на стенах — все слишком новое. Вероятно, К. появлялся здесь нечасто.

— Сарычева ведь тоже на четвертом курсе, — продолжал К., — а у нее своя лаборатория.

Ну! Настя сделала потрясающее открытие, как не дать ей лабораторию. Вокруг АС-эффекта в физике сейчас настоящий бум.

— Без вас Сарычева ничего бы не открыла, — настаивал К. — Она мне рассказывала, как вы развивали у нее воображение. Ультрафантазия, как вы это называете. На парижском конгрессе Сарычева сделала отличное сообщение об АС-эффекте. Выступала она с блеском...

К. увлекся и стал говорить о том, что я и так уже знала. Настя раз двадцать рассказывала мне о конгрессе. Как она там выступала, как выступали другие, какие были разговоры и как в кулуарах один болван во всеуслышание заявил, что «столь юная леди» не может самостоятельно делать открытия, и предложил организовать проверку: пусть «юная леди» сделает в лаборатории «маленькое-маленькое» открытие. На что «юная леди» тут же ответила: пожалуйста, хоть сегодня, но одновременно и вы продемонстрируете, как делают хотя бы «малю-

сенькое-малюсенькое» открытие...

Все это я знала наизусть. Но К. рассказывал со вкусом, я не перебивала. Меня интересовало, как он говорит, мне еще ни разу не приходилось встречаться с ученым такого ранга.

По классификации Селье академик К., бесспорно, принадлежал к категории мыслителей. Но дальше классификация не срабатывала: К. совсем не соответствовал предложенной Селье типологии. Пожалуй, тут больше подходил тип «пioneer» из классификации Гуо-Вудворта: инициативный человек, генератор новых идей, охотно передающий их другим, открыватель новых путей, хороший организатор и учитель, властолюбивый, работоспособный...

Все так и было, но, слушая К., я чувствовала, что в типологии упущено нечто очень важное, может быть, даже главное. В любых классификациях — у Селье, Гуо-Вудворта, Аветисяна — хорошо отражены лишь распространенные типы ученых. Ведь как точно схватил Селье тип «большого босса»: этот человек мог заняться политикой, бизнесом, сделать военную карьеру, но сейчас модна наука, и он не хочет уменьшать своих шансов, добивается места руководителя, после чего основным своим делом считает «натягивать вожжи». Или тип «джентльмена науки»: способный молодой человек, желающий сделать карьеру не в ущерб радостям жизни... Таких много, это облегчает их изучение. Да и не слишком они сложны, эти люди.

— Сарычева, конечно, молодец, — сказала я, когда К. закончил свой рассказ. — Но работать с ней пришлось шесть лет. Так уж получилось, мы вместе учились в школе. Очень кропотливое дело — развитие ультрафантазии. Сейчас у меня группа ребят, и, хотя уже есть какой-то опыт, все равно потребуются три-четыре года, чтобы выработать у них ультрафантазию.

К. довольно долго молчал. Я думала: а что, если попросить у него бумагу? Сборник с моей статьей четыре месяца лежал без движения, не было бумаги.

Неожиданно К. сказал:

— Мне нужна ваша помощь.

2

— Дело не совсем обычное. Но и вы тоже необычны... Есть такой физик — Горчаков. Приходилось слышать?

О Горчакове я, конечно, слышала. Одно время он был самым молодым доктором наук. Говорили, что он очень талантлив.

— Полтора месяца назад, — продолжал К., — я подписал приказ о назначении Горчакова директором ИФП в Ингор. Новый Институт физических проблем, первоклассный научный центр. Горчаков отказался. Заявил, что намерен вообще бросить физику. Навсегда! Понимаете? Такая дурацкая история... Сережа Горчаков у меня учился. Прирожденный физик. И вдруг это нелепое решение. Твердит одно и то же: надоела физика, стала неинтересной,

не хочу... Я с ним не раз говорил. Да и не один я. Прорабатывали его всяко. Понимаете, нет никаких, абсолютно никаких причин, это и обескураживает.

«Привет, — подумала я, — вот тебе и бумага. Придется спасать расстригу физика. Возвращать его на праведный путь. Понятно, зачем К. позвал меня».

Я сказала:

— Не умею спасать заблудших физиков. Был уже такой случай, спасала Борьку-физика, стыдно теперь вспоминать...

С Борькой действительно получилась глупая история. Физиком его прозвали в школе, он кончил десятилетку на год позже меня. Способный парень, однако в МГУ он не попал. Получил тройку за сочинение. В Москве Борька оставаться не мог, а возвращаться домой, в Таганрог, не хотел. Тут я и взялась его спасать. Как же, земляк, в одной школе учились... Отыскала в библиотеке подшивку ингорской многотиражки (Ингор тогда еще был поселком), стала смотреть объявления — какие специалисты там нужны. Лаборанты, строители, водолазы... Черт меня дернул остановиться на заведующем фотоателье. Мне казалось, что это гениальная идея. Борька отлично снимал, один его снимок был даже в «Огоньке». Почти специальность. И заработок будет приличный, это тоже важно: мать у Борьки часто болела, сестренки еще ходили в школу.

Гениальная идея. Как же! Борька, не дослушав, стал скулить:

«Психа ты, Кира... Там молодые ребята, которые в десять раз лучше меня щелкают своими шикарными камерами. Институтский горючок, пойми! Интеллектуалы. Кто пойдет в мое казенное заведение!» Я разозлилась: обидно, когда не понимают гениальных идей. «Ты поедешь в Ингор, несчастный троечник, — сказала я, — и станешь заведующим ателье. Ты найдешь парня, который умеет малевать, и он сделает тебе картину с дыркой, в которую вставляю лицо. Чтобы на снимке получался страшно красивый кавказский всадник на страшно красивом коне. И чтобы на всаднике была страшно красивая черная черкеска с белыми газырями и со страшно изогнутым кинжалом. Эту живопись ты выставишь на самом видном месте. Прямо на улице. Молодые ребята, кроме шикарных намер, надеюсь, имеют некоторое чувство юмора. Ты будешь выполнять план на триста процентов. Или даже на шестьсот. Если, конечно, проявишь капельку сообразительности и догадаешься обновлять картины. С учетом научной специфики. Вместо страшно красивого коня может быть страшно красивый синхрофазотрон. Важен юмор, ясно? И ты станешь своим человеком в Ингоре. У тебя будут сниматься доктора и члены-корреспонденты. Ты сможешь помогать своей маме. А следующим летом сдашь экзамены, в Ингоре филиалы трех вузов. Вот тебе книга А. Н. Лука «О чувстве юмора и остроумия» плюс пятнадцать рублей на билет без плацкарты...»

Я рассказывала эту грустную историю, а К. безжалостно веселился и повторял: «Так это ваша работа...» Он даже всхлипывал от смеха. В дверь заглянула секретарша, укоризненно посмотрела на меня.

— Вы не обижайтесь, Кира Владимировна, — сказал К., вытирая платком глаза. — Я у этого пройдохи тоже снимался, грешен... А экзамены он сдал?

— Ничего он не сдавал. Он только получал и приобретал. Теперь у него «Волга»... и много всего, не пересчитаешь. Идея сработала безотказно. Борькины картины с дыркой стали достопримечательностью Ингора. Быть в Ингоре и не сняться у Борьки...

— Знаю. Я туда Свенсона водил. И канадцев.

— Юмор, как же. Материалы Борьке приносят бесплатно, картины с дыркой рисуют на общественных началах, проявляют и печатают ребята из физматшколы. Три года такой деятельности. А вы снова говорите об Ингоре, о заблудшем физике...

— Не думал, что у этого юмора коммерческая подоплека. Сегодня же позвоню в Ингор.

— Не надо. Это моя работа, я сама ее исправлю.

— Хорошо, Кира Владимировна. Но Горчаков — другой случай. Коммерцией он заниматься не будет. Он физик, натуральный физик. Поверьте, есть смысл его спасти.

— Да, конечно, — без всякого энтузиазма сказала я. — Нужна еще одна гениальная идея...

Вообще-то я чуть-чуть хитрила. С того момента, как К. рассказывал о Горчакове, я знала, что буду решать эту задачу. Собственно, я уже ее решала. Мы говорили о Борьке, о Горчакове, но я быстренько ворошила задачу, мне нужно было найти исходную точку анализа.

— Вы как-то прохладно к этому относитесь, — сказал К. — Напрасно. Ведь перед вами почти детективная ситуация. И вы в роли Шерлока Холмса. Разве это не воодушевляет?

— Нисколько.

— Не верится... Вы что же, не любите Конан-Дойля?

— Я не люблю, когда человек охотится за человеком.

— Шерлок Холмс охотился за преступниками.

— За людьми, совершившими преступления.

— Гм... В конце концов у Конан-Дойля все это условно — сыщик, преступник. Как белые и черные в шахматах. Интересна интеллектуальная сторона приключений.

«Настоящие интеллектуальные приключения бывают совсем в другой области», — подумала я. Но спорить не стала, это отвлекает. Я сказала:

— Горчакова могли сломить неудачи.

— Ни в коем случае, — возразил К. — Дела у него шли превосходно. Можете мне поверить. Сережа работал над математической моделью Солнца. Не пугай-

тесь, пожалуйста. Понять принцип совсем нетрудно. Вычислительный центр в Ингоре запрограммировал на своих машинах все известные данные о Солнце. Получилась система уравнений, связывающих различные параметры — температуру, давление и так далее. После этого в уравнения стали подставлять конкретные значения этих параметров. Метод Монте-Карло: величины поступают в случайном порядке, а затем производится оценка полученных вариантов. Группа Горчакова рассмотрела миллионы таких вариантов. Достаточно изменить значение одного параметра, как меняется вся картина. Допустим, вы приняли, что температура на такой-то глубине равна семи тысячам градусов. Получается одна модель. Если принять температуру равной десяти тысячам градусов — совершенно другая модель. А критерий — наблюдения. Мы более или менее хорошо знаем внешнюю поверхность Солнца. Если полученная модель верна в этой части, то весьма вероятно, что она правильно описывает и структуру недоступных наблюдению солнечных глубин. Удалось отобрать четыре модели, которые не противоречат наблюдаемым данным. Скажу по секрету: работа получит премию академии. Так что никаких неудач.

— Могли быть личные неудачи. К. досадливо поморщился.

— Нет, это исключается. Горчаков молод, здоров. Да вы его увидите. Красивый парень, мастер спорта.

— Открытия иногда не так применяются. Сцилард, например, оставил физику...

— Если бы Горчаков не хотел работать из-за этого, он бы сказал. Он говорит то, что думает.

— Тогда почему не допустить самое простое? Горчаков действительно разочаровался в физике — вот и все.

К. сердито посмотрел на меня. Так маршал должен смотреть на провинившегося солдата. Нет, я правильно разрисовала картинку в школьном учебнике. Попробуйте объяснить маршалу, что командир батарен в один прекрасный день взял и бросил наскучившие ему пушки.

— Хорошо. В физике нельзя разочароваться. Забудем про самоубийство Эренфеста, забудем трагические сомнения Лоренца, забудем, как Эйнштейн...

— Глупости! — перебил меня К. — В каждом из этих случаев были свои причины. И ничего общего с разочарованием в физике они не имели, запомните это. Физика — трудная профессия. Человек может разочароваться в своей работе, может устать, утратить веру в свои силы. Это всегда возможно. Но у Горчакова что-то другое. И вот я вас спрашиваю — что?

— Вы спрашиваете меня?

— Конечно! — сказал К. Он все еще сердился. — Вы же психолог. Притом единственный психолог, который умеет формировать творческое мышление. Не возражайте! Рассуждать о творчестве могут многие, я знаю. Не толь-

ко психологи, все мы любим порассуждать о творчестве, о вдохновении, интуиции и тому подобном. А работать с этим самым творчеством никто не умеет. Кроме вас. Поговорите с Горчаковым. Я хочу знать ваше мнение.

— А если Горчаков не пожелает со мной говорить?

— Пожелает. Я ему позвоню. Если не возражаете, прямо сейчас. Лучше не откладывать, он собирается уезжать.

— Куда?

— Видите ли, Сергей Александрович намерен стать... э... мореплавателем. Такому физику нетрудно переквалифицироваться на штурмана. Но требуется практика, нужно пройти сколько-то там тысяч километров. По сей причине Горчаков готовится начать свою морскую карьеру матросом.

К. порылся в ящиках стола, отыскал сигареты и коробку с конфетами. Я отказалась.

— Ну? — удивился он. — Что же вы предпочитаете?

— Фруктовое мороженое.

— Ладно, буду знать...

Он достал из кармана трубку и виновато улыбнулся.

— Не разрешают курить. Привык держать в руках... Скажите, Кира Владимировна, как вы придумали эту штуку с фотографией?

— Очень просто. Она была у нас в Таганроге. Только без юмора. Нашелся странствующий фотограф, устроился возле пляжа. А потом появился фельетон в газете. Вот такой, — я показала, какой он был большой, этот фелье-

тон. — «Мещанин на коне». Там было столько пафоса, столько грома и молний... Можно было подумать, что искореним мы эту фотографию — и наступит полное благополучие не только у нас в городе, но и на всей планете... Мещане сейчас ужасно любят вот так бороться с мещанством. Наговаривают трескучих фраз — и довольны. Естественно, я пошла сниматься на коне. Понимаете, какая обида: вырез для лица оказался слишком велик. Фотограф из-за этого совсем расстроился. Он приехал с Северного Кавказа, там привыкли к таким картинам. Пальцы у него были желтые от проявителя, он всю жизнь снимал людей. Я его расспрашивала, пока он собирал свое нехитрое хозяйство. Потом помогла донести вещи до вокзала...

— Ясно, — сказал К. — Вот что, Кира Владимировна, у меня предложение: идите работать ко мне в институт. Главным психологом. Учредим такую должность, — он рассмеялся. — Положим начало новой традиции... Вы молоды и сумеете органично войти в физику. Нужен синтез ваших знаний с физическим мышлением. В сорок или пятьдесят лет такой синтез уже невозможен, упущено время. Надо вырасти в атмосфере физики, вот в чем секрет. Кстати, работая с Сарычевой, вы шли как раз по этому пути. Так почему бы не продолжить?

Это было слишком неожиданно (и соблазнительно, если говорить откровенно), я растерялась. К счастью, в этот момент зазво-

нил телефон, К. отвлекся. Насколько я поняла, разговор шел о каком-то хоздоговоре. «Замечательная мысль, — насмешливо говорил К. — Савельев сделает работу за Шифрина, а Шифрин сделает работу за Савельева, и оба будут считать это дополнительным трудом, за который полагается дополнительная оплата... Нет уж, пусть каждый делает свое дело». — К. положил трубку и неприязненно отодвинул телефон.

— Деньги, — вздохнул К. — Интересно, как вы к ним относитесь?

— Мне их всегда не хватает, — призналась я.

К. усмехнулся.

— Мне тоже. И много вам сейчас не хватает?

— Миллиона три. У меня есть разные идеи, которые требуют...

— Ясно. Вам надо идти в мой институт главным психологом. Включим ваши идеи в план.

Следовало мягко славировать, но я прямо сказала, что физика меня не очень привлекает, поскольку существует другая, более важная область. Конечно, К. сразу вцепился: что это за область и почему она была более важная?.. Никак не научусь дипломатической амортизации, а ведь это так просто! Пришлось объяснять. Я впервые говорила о своей Главной Идее. Получилось не слишком убедительно, я сама это чувствовала.

— Утопия, — объявил К., не дослушав. — Чистая утопия этот ваш Человек-Который-Умеет-Все. Прогресс немислим без разделе-

ния труда, без специализации. Во всяком случае, в ближайшие двести-триста лет.

— Начинать надо сегодня. Иначе и через двести-триста лет сохранится узкая специализация. Со всеми последствиями.

Тут я сообразила, что должна хотя бы поблагодарить К. за предложение. Это тоже вышло не очень гладко.

К. поглядывал на меня, хитро прищурив глаза.

— Никак не мог понять, почему с вами трудно разговаривать, — сказал он. — Теперь понял. У моих мальчишек... как бы это сформулировать... коммуникабельные лица. Когда я читаю лекцию или мы что-то обсуждаем, физиономии отражают каждое движение мысли. Обратная связь: я вижу, что и как они думают. А вы все время улыбаетесь. Это очень мило, но я не знаю, когда вы говорите серьезно, а когда шутите. Да что там — нет даже уверенности, что вы меня слушаете.

Я стала доказывать, что слушаю самым внимательным образом, но К. махнул рукой.

— Ладно, вернемся к Горчакову, вам надо подготовиться к разговору. Задайте вопросы. Я хорошо знаю Сергея Александровича, у вас будет первоначальная информация.

«Прекрасно звучит, — подумала я, — в современном стиле: будет информация. Только зачем она мне? У меня нет ни одного вопроса о Горчакове».

— Скажите, пожалуйста, — спросила я, — у вас никогда не

появлялось желание... ну... бросить физику ко всем чертям, а?

— У меня? — грозно произнес К.

Я мило улыбнулась.

4

— Ничего похожего, — отчеканил К. — Были трудные моменты, были сомнения, но все это в непосредственной связи с конкретными причинами. О чем тут говорить! Сомнения — необходимый элемент творческой работы.

— Я имею в виду не сомнения. Меня интересует: появлялось ли у вас желание бросить науку?

— Ко всем чертям?

— Вот именно.

— Нет. Не было у меня такого желания.

— Ну, а просто мысль о возможности выбрать другой жизненный путь?

— Послушайте, Кира Владимировна, почему вы расспрашиваете меня?

— Потому что вы тоже физик.

— Женская логика! Можно подумать, что физики только и мечтают, как бы стать моряками...

— Попробуйте все-таки вспомнить.

Теперь он разозлился по-настоящему. Он разгневался — это более точное слово. Похоже, у него появилось желание погнать меня. Нельзя было упускать инициативу, я твердо сказала:

— Пожалуйста, мысленно переберите год за годом. Вдруг что-то припомнится.

Он фыркнул, натурально фырк-

нул, но ничего не ответил и принялся ходить по комнате. Я отошла к окну, чтобы не мешать.

Значит, женская логика. Любопытно, а какая у меня должна быть логика?!

В стекло упирались гибкие ветви ивы, и на ветвях, прямо перед моим лицом, раскачивался воробей. Крылышки у него вздрагивали, он был готов в любой момент сорваться и улететь, но он не улетал, а храбро разглядывал меня маленьким черным глазом.

Я слышала размеренные шаги. К. ходил из угла в угол и вспоминал. Он настоящий ученый и, уж если взялся что-то делать, будет делать добросовестно. Сейчас он перебирает годы, их много, ох как много! Ровные спокойные шаги, и в такт им раскачивается на ветке храбрый воробей.

Здравствуй, воробей, давай познакомимся. Меня зовут Кира. Представляешь, как было бы здорово: главный психолог Института физических проблем К. В. Сафрай. Звучит! И побоку всякие там утопии...

Я рассматриваю свое отражение в зеркале. Решено: золотисто-бежевый костюм. У меня есть янтарь, он отлично подойдет к такому костюму. Можно взять яшму вместо янтаря, так сразу не скажешь, надо посмотреть. Хорошо бы попасть в ателье сегодня, оно работает до семи. Разберут мою ткань, и останусь я с носом. Но уже четверть пятого, придется ехать к Горчакову, разговаривать, как тут успеешь... Гениально было

бы не ехать. Вот Леверрье открыл планету Уран путем расчетов. Без всяких поездок и разговоров. Правда, у Леверрье были исходные данные, а у меня ничего нет. Почти ничего. Кое-какие мысли и информация, которая вмещается в одну фразу: талантливый физик вдруг бросил науку.

Загадка.

Собственно, в чем она, эта загадка?

Талантливый физик. Тут нет сомнений. Даже весьма талантливый. Бросил науку. Что ж, бывает и такое. Почему я должна считать это загадкой? Да, есть еще одно слово: вдруг. Внезапно, без всяких видимых причин. Вдруг. Вот это и в самом деле странно.

Чтобы выбить из колеи пророжденного физика, нужно нечто весьма основательное. Нечто такое, что не возникает за один день или за месяц. Я вправе предположить: икс-причина (прекрасно, уже есть термин!) появилась давно. Годами шел незаметный процесс накопления... чего?.. какого-то взрывчатого осадка, что ли. Как с ураном: масса должна превысить критическую величину, чтобы началась цепная реакция.

Физматшкола, университет, дипломная работа (теперь я припоминаю: за нее дали кандидатскую степень, об этом был очерк в «Комсомолке»), через три года Горчаков стал доктором. Стремительный взлет, ничего не скажешь. Примерно так получается у Саши Гейма, моего бывшего одноклассника. Победы на олимпиадах,

статьи в математических журналах... В восьмом классе Саша придумал для нас, математически темных, потрясающую шпаргалку. С такой шпаргалкой можно было отвечать даже по программе десятого класса. Саша провел настоящую исследовательскую работу, чтобы вывести сверхкомпактные формулы. Он стремился найти Единое Уравнение Всей Школьной Математики. Конечно, никто из нас не понимал, что написано в шпаргалке. Завуч послала ее в Новосибирск, и Сашу пригласили в физматшколу.

Горчакова я не знаю, но зато прекрасно знаю Сашу Гейма и могу искать икс-причину, размышляя о Саше. В психологических уравнениях я заменяю неизвестную величину известной и... кто сказал, что психология не точная наука?!

Существуют звезды с таким сильным полем тяготения, что свет их не может уйти в космос. Лучи изгибаются, невидимый барьер отбрасывает свет назад, он мечется в замкнутом пространстве, а барьер надвигается, и сжатое, спрессованное излучение приобретает огромную плотность. Каждый раз, когда приходится решать сложную проблему, возникает такой же барьер, отделяющий от меня внешний мир. Свет, звук, запах, тепло, холод — все исчезает за этим барьером. Даже время. Остается только движение мысли, сначала едва уловимое, но постепенно приобретающее уверенность, весомость, силу.

Воробей подобрался совсем

близко к стеклу. Он разглядывает меня черной бусинкой глаза, потом поворачивает голову и внимательно смотрит другим глазом. Правильно, птица: на людей надо смотреть в оба.

— Ничего не вспоминается, Кира Владимировна. Только один более или менее случайный эпизод. Садитесь, пожалуйста.

Не хочется отходить от окна, но К. не сядет, если я буду стоять, а он, наверное, устал.

— Я работал тогда в Англии. Да, да, это тридцать четвертый год, конец лета. Дожди... В лаборатории днем горел электрический свет. Сильные были дожди. Знаете, я сейчас вспоминал — и услышал песню водосточных труб. Старые водосточные трубы старого дома, их делал талантливый мастер, он хотел, чтобы трубы пели...

К. умолкает и смотрит мимо меня — в далекие годы, в свою молодость. Это продолжается пять-шесть секунд, не больше. Он виновато улыбается, ему кажется, что я анализирую каждое слово. Как же, психолог! Я почти не слушаю, все это за барьером, я продолжаю решать задачу. Сквозь барьер может пройти только то, что помогает решению. О голосах дождевых труб я вспомню потом, может быть, через несколько лет. Будет дождь в каком-нибудь далеком городе, будет журчать вода в трубах, я вспомню все, что сейчас рассказывает К., вспомню и пойму.

— Дела у нас шли неважно. Опыты, обсуждения, снова опыты

и снова обсуждения... Бывает такая полоса неудач: опыты дают совершенно нелепые результаты, обсуждения только усиливают взаимное раздражение... И вдруг — солнечный день. На полную солнечную мощностъ. Яркие лучи стерли электрический свет, в лампах тлели тусклые желтые нити... И все сразу почувствовали, что нельзя оставаться в лаборатории ни минуты. Мы с Кокрофтом поехали на юг, к каналу. Кокрофт гнал машину как сумасшедший. Чудесное было настроение: вырвались из темных комнат, весело гудит мотор, озорно посвистывает ветер, а впереди — море. В этот день оно было ярко-синим, чистейший синий цвет без примеси зеленого и серого...

«Вырвались...»

Мне нужно было именно это слово! Я собирала логическую цепь, у меня уже были все ее звенья, но они лежали порознь, тяжелые куски мертвого металла, и вот одно слово мгновенно соединило звенья в прочную цепь. Теперь я представляю, почему Горчаков бросил физику. Задача решена. Точка. Остается самое приятное: эффектно выложить то, что я поняла. Все-таки ты молодец, Кира...

— Машину мы оставили у обрывистого холма, спустились вниз, к пляжу. Говорили о каких-то пустяках, кидали камни в воду... А потом слышали шум мотора. Вдоль берега над водой шел самолет. Вы, конечно, не знаете, что такое самолеты тридцатых годов. На снимках они неплохо вы-

глядят... Самолет сел на пляже, пробежал метров сто и остановился рядом с нами. Промасленная фанера, залатанная обшивка. И проволока, очень много проволоки, чтобы все это не развалилось. Из кабины вылез долгоязыый парень, на нем был промасленный и залатанный комбинезон. «Меня зовут Жерар Котрез, — сказал он. — А это мой летательный аппарат. Там испортился, такой...» На этом его английский кончился, и, к великой радости Жерара Котреза, мы ответили ему по-французски. Так вот, в летательном аппарате перестали работать элероны. «Что мне элероны! — сказал Котрез. — Но летательный аппарат не должен распускаться...» Мы втроем исправляли повреждение, там заклинило проволочную тягу управления, и Котрез рассказывал о себе. Студент-юрист, бросил Сорбонну, работал грузчиком, собирал по кусочкам свой летательный аппарат, теперь отправился в кругосветное путешествие. «Что мне эти законы! Я посмотрю мир, может быть, ему нужны совсем другие законы... Послушайте, парни, летательный аппарат поднимет троих. Вы мне подходите, летим вместе!» В промасленных крыльях сверкало солнце, ветер гудел в проволочных растяжках, и я вдруг почувствовал, как это здорово — жить так, как живет Котрез. Лететь над морями, горами, лесами — неизвестно куда и неизвестно зачем, просто лететь. И если уж понравится какой-нибудь городок, опуститься ненадолго, пройти по

узким улочкам, заглядывая в окна, посидеть на траве у реки...

— Как он сказал? Повторите, пожалуйста.

К. удивленно пожимает плечами.

— «Что мне эти законы!» Да, именно так. «Что мне эти элероны!.. Что мне эти законы!..» У него это великолепно получалось. В такой, знаете ли, лихой берже-раковской манере. А дальше запомнился смысл, не ручаюсь за точность каждого слова: «Я посмотрю на мир, может быть, ему нужны другие законы...»

Так. Боже, какая я дура: осталось, мол, эффектно выложить решение... Как же! Я прошла над пропастью по снежному мосту, но путь не кончен, он только начался. Надо идти дальше. А там, в этом туманном «дальше», еще один снежный мост, куда более трудный, и пропасть под ним в десять раз глубже...

В ателье я, конечно, не попаду, оно на другом конце города. Вообще все планы на сегодня пошли кувырком. Зато у меня появилась отличная идея.

Сумасшедшая идея. Представляю, как будет смеяться К. Ну и пусть смеется. Меня неудержимо тянет вперед...

— Вы определенно не слушаете, Кира Владимировна!

Нет, почему же, я слушаю. «Что мне эти законы!» — говорит похожий на Ива Монтана высокий парень. А рядом с ним — латаный-перелатанный самолет.

— Мы помогли ему развернуть машину. Он взлетел, сделал круг

пад нами, потом взял курс на север. Не знаю, куда он летел, не пришло в голову спросить. Через четыре года я прочитал в «Юманите», что Жерар Котрез, пилот республиканской армии, погиб под Барселоной. Он вылетел на своем летательном аппарате навстречу эскадрилье «юнкерсов».

Я с трудом восстанавливаю барьер: сейчас надо думать о задаче, я сама ее усложнила. Последний бой Жерара Котреза не имеет к задаче никакого отношения. Вечером, вернувшись к себе, я сяду у окна, включу проигрыватель и отыщу среди своих пластинок такую, которая понравилась бы Жерару Котрезу. А пока надо идти вперед. Это тоже бой — и нелегкий.

— Позвоните Горчакову, — говорю я. — Скажите, что вы еще раз просмотрели его работу. Или найдите другой повод, безразлично. Мне важно, чтобы в разговоре была фраза: жаль что нельзя изменить гравитационную постоянную.

5

— Простите, Кира Владимировна, что это значит — изменить гравитационную постоянную?

Я объясняю:

— Изменить — значит увеличить или уменьшить. Вы же хотели позвонить Горчакову, не так ли? Вот я и прошу: позвоните и поговорите. О чем угодно. Но мимоходом должна быть брошена эта фраза: жаль, что нельзя изменить гравитационную постоянную.

— Мимоходом. Ну-ну...

К. смотрит на меня так, словно только что увидел.

— А дальше?

— Дальше вы скажете, что кто-то к вам пришел, извинитесь, обещаете позвонить через полчаса. И все.

— Не понимаю, зачем нужен этот спектакль.

— Чтобы Горчаков снова занялся физикой.

— Вы это... серьезно?

— Вполне серьезно.

— И вы думаете, что вот так: не видя Горчакова, не разговаривая с ним, вы заставите его изменить решение?

— Да.

— Ясно, — говорит К. — Теперь ясно, какие приключения вам нравятся.

Тут мне следовало бы мило улыбнуться, потом я буду жалеть, что не улыбнулась. Но я не очень вежливо повторяю:

— Звоните же, время идет...

К. испытующе смотрит на меня.

— Наверное, у вас еще не было неудач?

Он поднимает телефонную трубку и медленно набирает номер, поглядывая в мою сторону. Еще не поздно отказаться. Но я молчу.

— Здравствуй, Сережа...

Ну вот, началось.

Уверенности у меня нет. Что делаешь, я не могу приказать: появись, уверенность, ты мне сейчас очень нужна. Я знаю только одно: в моих расчетах нет ошибки. Беда в том, что самые верные психологические расчеты не гарантируют однозначного ответа. В фи-

зике иначе. Взять хотя бы ядерные реакции. Литий, облучаемый альфа-частицами, превращается в гелий. Если условия опыта не меняются, не меняется и результат. Таковы правила игры. Представляю, как чувствовали бы себя физики, если бы при неизменных условиях опыта литий иногда превращался в гелий, иногда в соломенную шляпу, иногда в малинового медвежонка... Игра без правил, сказали бы шокированные физики. А ведь в психологии именно такая игра. Правила, конечно, есть, только они неизмеримо сложнее, тоньше, переменчивее. Вот сейчас я рассчитала реакцию, но вместо гелия запросто может получиться малиновый медвежонок.

— ...Нет, уговаривать не буду. Я хотел знать твоё мнение о Синельникове. Ведь ты с ним работал?

Они обсуждают деловые качества Синельникова, затем К. переходит к последней работе Горчакова и очень естественно, посмеиваясь, произносит фразу, которая нужна.

Секундная заминка. Горчаков, наверное, переспрашивает.

— Жаль, говорю, нельзя изменить гравитационную постоянную...

Как — что это значит? Изменить — значит увеличить или уменьшить.

К. прикрывает трубку рукой:

— Он спрашивает — зачем? Быстро!

Я подсказываю первое, что приходит на ум:

— Легче жилось бы.

— Легче жилось бы в таком мире, Сережа. Да! Ещё бы... К сожалению, не мы с тобой выбирали эту постоянную.

Сейчас самый подходящий момент прервать разговор. Я показываю: надо положить трубку. Но К. не замечает моих сигналов.

— Нет, просто к слову пришлось. Как её изменишь, проклятую...

Шепотом он передает слова Горчакова: «Теоретически можно изменить...» Я подсказываю ответ: «Что ты, ни теоретически, ни практически». Надо было с самого начала слушать разговор. Подключить второй аппарат и слушать. Я сглупила, постеснялась.

— Да, да, понимаю, — говорит К. и пожимает плечами, показывая, что ничего не понимает. Я ободряюще улыбаюсь: а что остается делать? К. машинально повторяет:

— Да, да, — и вдруг удивленно спрашивает: — То есть как это изменить постоянную Планка?

Именно этого я ждала, и все-таки сердце у меня замирает. Ох и умница этот Горчаков! Схватил приманку значительно быстрее, чем я думала. Я мгновенно подсказываю:

— Чепуха, ничего не получится...

— Нет, Сережа, нет, ты что-то путаешь... Ну, хорошо. Буду ждать.

К. кладет трубку и долго молчит, разглядывая меня. Надо бы мило улыбнуться, но я устала.

— Он будет через час, — говорит К. — Предлагает обсудить

какую-то идею. Послушайте, как вам это удалось?

Ага, удалось!

Я улыбаюсь и отвечаю с великопной небрежностью:

— Пустяки! Совсем просто. Меньше всего думала о Горчакове...

6

Это была святая правда, но К. ни капельки не поверил.

— Объясните толком. Я должен знать, как теперь держаться с Горчаковым.

Секретарь принесла нам чай и вафли.

— Дважды звонил Петр Борисович, — сказала она. — Другие тоже звонят.

— Ну, ну, — сочувственно кивнул К. — Займите круговую оборону и держитесь. Сейчас мне нужен только Горчаков, он скоро подъедет.

Я посмотрела на часы: десять минут шестого.

— Говорят, вы где-то выступали со змеями? Это правда? — спросил К.

Ох уж эти змеи! Нигде я, конечно, не выступала. Вообще об этой истории знали четыре человека, я просила их никому ничего не говорить. Как же! Теперь я каждый день слышу разные легенды...

— Со змеями ничего интересного. Просто курсовая работа по зоопсихологии.

— Курсовая? Ладно, не хотите рассказывать, не надо. Но насчет Горчакова вам придется изложить все самым наиподробнее об-

разом. На чем вы основывались? Может быть, это просто счастливая случайность? Пейте чай, остынет.

Он меня нарочно подзадоривал.

— Логика, только и всего, — сказала я. — Одно из двух: либо Горчаков утратил интерес к работе по случайным причинам, либо тут проявилось нечто более или менее закономерное. Первую возможность я сразу отбросила, она какая-то... ну, не воодушевляет.

— Убедительный аргумент! — возмутился К. — Конденсированная женская логика. Дважды два не четыре, а... стеариновая свеча. Если что-то не нравится — отбросим.

— А почему бы и нет? Случайные причины надо искать наугад, а если существуют закономерности, можно думать. Это интереснее.

Лучше бы я ничего не объясняла! Кроме логики, есть еще и интуиция, в пересказе она испаряется. А ведь началось именно с интуиции. Произошел неуправляемый поворот мысли, и я увидела: нужно понять отношение физика к миру. Не Горчакова, а вообще Настоящего Физика. Такого, как Капица, Ландау или Фейнман. Тут мне припомнилось вышедшее из моды слово «естествоиспытатель». Человек, познающий природу, мир, вселенную.

Вот я, думаю естествоиспытатель, и вот вселенная. Безбрежная (или не безбрежная?) небесная даль, в которой разбросаны огненные шары звезд и гигант-

ские облака туманностей. Миллиарды лет они несутся в пространстве (а что такое пространство?), разлетаясь от какой-то первоначальной точки. Что это за картина и каков ее смысл? Зачем это существует? И зачем существую я, частица этого необъятного мира? Быть может, вещество, из которого я состою (а что такое вещество?), было выброшено когда-то из недр взорвавшейся галактики, такой же, как вот та, чей взрыв я вижу сейчас... Затерянный в безбрежном (или все-таки не безбрежном?) мире, в котором миллион лет ничто перед лицом вечности, я хочу все увидеть и все понять...

— Романтично, — сказал К. — Но вы обрисовали свой образ мышления, Кира Владимировна, вот в чем фокус. Вам, насколько я понимаю, свойственно именно такое видение мира. А физик думает о другом. Не ладится установка, подводят какие-то паршивые прокладки. Нет сведений об опытах, которые поставил твой коллега где-то за тридевять земель, и, может быть, ты идешь по чужому следу. Завтра обсуждение одной дурацкой работы, но если просто сказать, что автор — дурак, потом не оберешься хлопот. Сын схватил двойку по физике. Нужно посмотреть свежий номер «Астрофизикл джорнэл», три монографии, написать отзыв о диссертации и рецензию на статью...

Тут я взорвалась. Я сказала, что грош цена человеку, если вся эта суета мешает ему слышать, как Земля плывет сквозь мглы-

стое небо. («Почему мглистое?» — тут же придрался К.) Грош цена человеку, если в сутолоке повседневных дел он перестает замечать удивительную картину мира и не терзается от мысли — что же это такое?

К. ехидно улыбался: «Детская болезнь левизны... максимализм юности...»

— Достоевщина наоборот, — сказал он. — Самокопание на галактическом уровне.

Я начала возражать (самокопание на галактическом уровне перестает быть самокопанием), но остановилась на полуслове. В утверждении К. определенно была доля истины. Да, я хочу понять себя, а для этого надо знать, что такое вселенная и в чем ее смысл, иначе нельзя постичь смысл жизни и назначение человека.

— Наверное, вам интересно жить? — спросил К.

Он смотрел на меня с каким-то напряженным ожиданием. Я забыла, что говорю с исследователем и, кажется, сама стала объектом исследования.

— Так или иначе, — сказала я, — здесь ключ к пониманию истории с Горчаковым. Настоящий Физик начинается с детства. Год за годом он открывает для себя мир, открывает по книгам, в которых спрессованы уже добытые кем-то знания. Идет стремительный процесс; прочитал одну книгу, бери другую, пожалуйста, сколько осилишь. Настоящий Физик с детства привыкает открывать мир в больших дозах.

Каждый день новое, новое... Разогнавшись, он подходит к переднему краю. Дальше нет готовой дороги. Мчался человек по шоссе на гоночной машине, и вдруг нужно пересаживаться на бульдозер и медленно прокладывать дорогу. Метр за метром. Понятно, не в одиночку, работает целый дорожный отряд. Но все равно нет прежней скорости. Чтобы пройти путь от азбучной физики шестого класса до квантовой электродинамики, Настоящему Физiku требуется лет десять. Каждый год он видит новую картину мира. А потом, оказавшись на переднем крае, за те же десять лет он рассмотрит на этой картине лишь несколько новых штрихов.

Разумеется, есть много сглаживающих факторов и успокоительных рассуждений. Очередной метр дороги проложен у тебя на глазах и при твоём участии. И вообще по сравнению с прошлым веком наши дорожные машины стали в десять раз производительнее... Все правильно. Но где-то в глубине души остается вечное... самокопание: так что же такое вселенная, что было раньше и что будет потом?

— Поразительный метод мышления, — усмехнулся К. — Грозите одну неточность на другую, выписываете такие вензеля, — он провел трубкой в воздухе замысловатую кривую, — а в результате довольно правдоподобные выводы... Видите ли, Кира Владимировна, есть определенный коэффициент: чтобы проложить метр дороги, требуется энное коли-

чество труда. И коэффициент этот постоянно увеличивается. Так уж устроен наш мир.

— Но вот Горчаков не принял такое устройство мира.

— И ушел из науки. Разве это выход?

— Не принять существующее — это уже очень многое. Не принять, не смириться... Отсюда один шаг до борьбы.

— С чем?

— Если мир слишком медленно познается, его...

— Ну?

— ...его изменяют.

— Хотелось бы знать — как?

— Надо построить модель другого мира — и изучать эту модель. Измените постоянную Планка, и вы получите модель совсемного мира. Все в нем будет иное: иная физика, иная химия, иная природа, иная жизнь... Таких моделей можно построить множество, среди них обязательно окажутся миры с более выгодным коэффициентом познаваемости.

Я мило улыбнулась и добавила:

— В самом деле, зачем изучать трудный реальный мир, когда можно построить модель нереального, но легко познаваемого мира?..

7

Я видела по глазам К., что мои шансы стать главным психологом всемирно известного института, которым К. руководит, катастрофически стремятся к нулю. Еще бы: запросто выложила такую ересь... Впрочем, К. был Настоя-

щим Физиком: на какую-то долю секунды он дрогнул, почувствовав в этом безумии определенную систему, и ответил почти спокойно:

— Наука, Кира Владимировна, изучает реальный мир. В этом ее ценность. Математическую модель несуществующего, но легко познаваемого мира построить можно, не опору. Мысль сама по себе изящная. Но, изучая модель несуществующего мира, вы будете делать несуществующие открытия. А зачем они нужны?.. Представим наш мир в виде плоскости, — он провел трубкой над столом. — Теоретически мы можем построить сколько угодно других плоскостей. Они оторвутся от нашей реальной плоскости и уйдут куда-то в сторону, — трубка описала неопределенную дугу. — Возможно, по каким-то из этих плоскостей двигаться будет очень легко. Но чем быстрее вы будете двигаться, тем дальше уйдете от реального мира.

Любовь к эффектам когда-нибудь меня погубит. Со змеями я влипла в историю именно по этой причине. И вот теперь я снова не удержалась от эффектного номера. Я попросила у К. его знаменитую трубку и провела ею от стола вверх.

— Вот так оторвется от реальности модель несуществующего мира...

Я покрутила трубкой в воздухе.

— ...оторвавшись, она попетляет, а затем...

Трубка решительно пошла вниз, к столу.

— ...а затем вновь пересечется с плоскостью реального мира.

Где-то далеко впереди строящейся дороги. И здесь, на линии пересечения, несуществующие открытия несуществующего мира прекрасно совпадут с реальными открытиями реального мира. Мы прорвемся на сотни лет вперед. А может быть, и на тысячи. Я не знаю, какие открытия будут при этом сделаны. Они покажутся нам таким же волшебством, каким показались бы открытия двадцатого столетия античным философам. Быть может, мы сумеем сконденсировать фотонный газ и получим жидкий свет. Его можно будет зачерпнуть рукой, взять в ладони, вот так, он будет переливаться, в нем будут мерцать теплые лучистые огоньки, и рядом с этим живым светом бриллиант покажется серым булыжником... А может быть, мы откроем структуру электрона, проникнем в глубь элементарных частиц и еще дальше — в недра той неведомой пока формы материи, из которой построены электроны, протоны... Так или иначе это будут чудесные открытия, и стоит жить, чтобы делать их.

К. понял мою идею в тот момент, когда трубка пошла на сближение со столом. Я уловила миг: К. сразу отключился, перестал меня замечать. Наверное, через десять секунд он уже разобрался во всем глубже меня. Но я продолжала выкладывать свои мысли, слишком велико было напряжение — и нужна была разрядка.

— Вот что, — сказал К. минут через пять. — Вы не очень гордитесь.

Я, конечно, начала говорить, что ни капельки не горжусь. Появится еще один метод познания мира, наука получит новую обезьянку для опытов, только и всего. Это была хорошая аналогия, я ее тут же развила.

— Вот-вот, — продолжал К. — Гипотеза о кварках построена на том, что заряд электрона может быть дробным. Так что не вы первая замахнулись на константы.

Мне бы промолчать, но я не утерпела:

— Как же... Есть и другие прецеденты. В фантастическом рассказе Беляева меняется скорость света. В математике рассматриваются пространства с числом измерений более трех... И так далее. Всякая приличная теория обязана включать предыдущие построения в качестве частных случаев.

— Ну и язычок у вас, — К. покачал головой. — А вы хоть подумали: удастся ли вообще реализовать эту затею? Когда Горчаков моделировал Солнце, из миллиона моделей годилась одна. При этом мировые постоянные не менялись. Если же вовлечь в эту игру константы, потребуются миллиарды моделей на одну годную. Разве что найдутся какие-то правила вариации констант... Кстати, Кира Владимировна, а ведь начали вы не с самого удачного варианта. Я имею в виду эту фразу об изменении гравитационной постоянной. Из всех констант вы выбрали, пожалуй, наименее удачную.

«Сейчас мне достанется, — по-

думала я. — Вот и придумывай после этого обезьянок...»

Я сказала, осторожно подбирая слова:

— Горчаков должен был сам прийти к этой идее. Своя идея больше воодушевляет.

— Не понимаю, — сухо произнес К.

Он уже все понял. Не было смысла лавировать, я честно объяснила:

— Конечно, заманчивее варьировать постоянную Планка, она входит во все уравнения ядерной физики. И вообще... Сразу, например, меняется принцип неопределенности... С самого начала я думала о постоянной Планка. И еще о постоянной Ридберга. Но Горчакову должно казаться, что он сам все придумал. Поэтому нужна была эта фраза о гравитационной постоянной. И ответы я вам подсказывала такие... не гениальные.

К. отложил трубку. Он покраснел, и лицо у него сморщилось, как от зубной боли.

Что поделаешь, конечно, я поставила его в глупое положение. Горчаков наверняка подумал, что старик сдает: прошел мимо идеи, ничего не заметил и говорит глупости.

Отступать было некуда, я твердо сказала:

— Горчаков ни в коем случае не должен знать... ну... как это получилось. По крайней мере, в ближайшие годы. Сейчас он убежден, что сам все придумал, это окрыляет... В конце концов, он шел в этом направлении: ему до-

статочно было крохотной подсказки. Я сработала за катализатор, только и всего. И еще: пожалуйста, не сердитесь, вы поставили задачу, которая по-другому не решалась.

К. как-то странно посмотрел на меня. Наверное, так смотрел кардинал Ришелье на д'Артаньяна, размышляя — отправить ли его в Бастилию или дать патент на звание лейтенанта королевских мушкетеров. Я сейчас заметила, что К. очень устал. Через несколько минут появится Горчаков, и ему снова придется работать.

— Мне лучше уйти, — сказала я. — Скоро приедет Горчаков. Вам предстоит его выслушать, изумиться, похвалить — это обязательно нужно сделать! — а потом... вероятно, вы будете обсуждать программу работы.

— Да, сегодня уж такой день, — улыбнулся К., и я обрадовалась: улыбнулся он хорошо, открыто. — Идите, Кира Владимировна, завтра я вам позвоню. Затем с Человеком-Который-Умеет-Все почти утопическая, но вы, кажется, не собираетесь от нее отказываться?

...Я остановилась в подъезде. Шел мелкий-мелкий дождь. Не знаю, откуда он взялся: небо было чистое, и только где-то очень высоко светились пушистые оранжевые облака. Я смотрела на эти облака, и на деревья, тянущиеся к небу, и на людей, которые шли мимо деревьев, и думала, что все это здорово устроено: постоянная Планка в нашем мире выбрана со вкусом.

Удачный день! К. сказал, что затея почти утопическая, до этого она казалась ему чистой утопией. А ведь он еще не знает, что я начала эксперимент.

К подъезду подкатила «Волга», с ее красной крыши стекали струйки воды. Из «Волги» выскочил баскетбольного роста парень. Я сразу сообразила, что это Горчаков, К. описал его довольно точно. Мореплавание понесло тяжелую утрату, подумала я, в морской форме Горчаков был бы великолепен. «По местам стоять, с якоря сниматься!..» Впечатляющая картина. Впрочем, так он тоже неплохо выглядел, совсем неплохо. На меня он даже не взглянул. Промчался к двери, перепрыгивая через ступеньки.

Я посмотрела на часы. Было без четверти шесть. Если ателье работает до семи, можно еще успеть...

— Такси! — закричала я.

Машина, уже тронувшаяся, послушно притормозила. Нет, все-таки это был удачный день!..

Три года спустя в Москве состоялся первый международный симпозиум по прогностическому моделированию вариаций мировых констант. На эмблеме симпозиума были изображены две пересекающиеся плоскости. Основной доклад делал Сергей Александрович Горчаков. Кира Владимировна в это время работала в Ингоре. Оттиск доклада она получила через месяц. Рассеяннo полистала и отложила. В этот день она решала совсем другую задачу.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

образца 1919-го

Ах, расплескалось времечко крутой волной с пенным перенатом! Один вал лопнул в кипении за спиной, другой уж вздымается перед глазами еще выше и круче. Держись, человечиска!

Но как ни держись, в одиночку мало шансов уцелеть. Шквальная ситуация. И крупная-то посуда покивает-покивает волне, глядь, а уж нырнула ко дну, с потрохами, с мощными механизмами, со всем человеческим составом. В одиночку, поротно, а то и всем полком списывал на вечный покой девятьсот девятнадцатый год.

Пообстрелялся народ, попривык к фугасному действию и перед шрапнельным действием страх потерял. Пулемет «максим», пулемет «гочкис» — въехали в горницы, встали в красных углах под образами, укрылись холстинами домоткаными. Чуть что — дулом в окошко, суйся, кому охота пришла. А пуля не остановит, так, ах, пуля дура, а штык молодец! Такое вот настроение.

Что делать, кому богу душу дарить охота? Инстинкт самосохранения. Выживает, как говорится, сильнейший. А кто сильнейший? Бинт при себе, вот ты и сильнейший в радиусе прицельного огня.

Да и так не всегда. Случится, так и организованная вооруженность не унесет от злой беды. Вот они, пятьсот мужиков, один к одному, трехлинейка при каждом, бомба на кожаном ремне болтается, и командир парень что надо, лихой, глаз острый, и свое-

му и чужому диагноз в секунду поставит, да толку-то? С противной стороны штыков раза в три поболе, на каждый по сотне зарядов, и кухня дымит, вон на лесочке похлебкой-то как несет, зажмуришься. А тут вот пятьсот желудков, молодых, звериных, и трое суток уж чистых, как душа ангела-хранителя. Защитись-ка!

Пятьсот горластых, крепких на руку, скорых на слово, с якорями на запястьях, с русалкой под тельником — мать честная, не шути, балтийские морячки, серьезный народ, и в душе каждого, над желудочной пустотой, как в топке, ревет одно пламя:

— Вихри враждебные!..

Нет, не до шуток нынче. Пятьсот — много, а было-то две тысячи штыков, да сабли прибавь, где они? Ржавеют в сырой земле. Пали товарищи на прорыве к новой жизни, остались в жнивье, по болотам, в лесах, на полустанках. Теперь и оставшимся черед пришел. Колчак с трех сторон, а с четвертой — болото, ложкой не расхлебашь, поштучно на кочках перебьют с аэропланного полета. Велика, как говорится, Сибирь, а ходу нет, хоть тайга за спиной. Встало проклятое болото поперек спешного отступления, как кость посреди горла.

Открыли моряки поясные окопчики, погрузились в землю, ждут. Вечер на землю пал, звезду наверху вынесло; минует осенняя ночь, а поутру и решится судьба балтийского полка. Плеснут русалки на матросской груди в последний раз вдали от родной сти-

хии и камнем пойдут на дно. Ясно.

Без боя швартоваться на вечный причал, однако, никто не собирается. Такого в помине нет. Характер не позволяет. Последний запас — пять сбереженных залпов, гранаты в ход, потом в штыковую на «ура» — иначе никак.

Вечерняя полутьма все гуще наливается синевой, одна за другой прибывают звезды на небесном куполе, чистенькие — заслуженным отдыхом веет с далеких созвездий.

— Хороша погода, — сожалел, вздохнул матрос Федька Чиж со дна окопа. Он устроился на бушлате, заложив руки под голову, считал звезды. Других занятий не предвиделось.

— Погода хороша, климат плох, — мрачно отозвался комендор Афанасий Власов, — пора летняя, а тут лист уж сжелтел. Широты узки.

— Перемени климат, Фоя! — крикнул вдоль траншеи наводящий Петька Конев. — Момент подходящий. Потом поздно будет.

— Да, климат, — сказал Чиж. — Плавал я по Средиземному, вот климат. Вечнозеленая растительность. При социализме, слышал я, братцы, на весь мир распространится.

— Ну, братишка, тропики нам в деревне ни к чему, — резонно возразил комендор Афанасий и хотел было развивать этот тезис, но тут загревели выстрелы, сначала ружейные, потом очередь за очередью из пулемета. Народ в цепи поутих.

— Балуют холун. Патронов девать некуда, — с чувством высказался Федька Чиж и поднялся, чтобы осмотреться.

— Диволиада, — озадаченно сказал Чиж, насмотревшись вдаль, — какой-то тип бродит. По нему бьют. А ну, посмотри еще кто, может, мерещится.

Люди зашевелились, многим хотелось посмотреть, как человек гуляет под пулями.

Действительно, неподалеку от окопов какой-то человек петлял взад-вперед, нагибался, приседал и шарил в траве руками, будто делал зарядку или собирал землянику. Иногда он выпрямлялся и неторопливо вглядывался туда, откуда хлестал пулемет. Поиски окончились, видно, успешно. «И-о-хо-хо!» — крикнул он гортанно, вынул из травы какой-то предмет, подбросил его и ловко поймал на лету, после чего еще раз огляделся и пошел прямо к матросам. Пулемет, замолчавший было на перезарядку, затарахтел что было мочи, но человек маршировал задом к нему, не оглядываясь, точно имел бронированный затылок.

Был он долговяз, но не сутул, одет легко, вроде бы во френч, в движениях точен и свободен. Он как бы примеривался прыгнуть в окоп, но, может быть, рассчитывал и повернуть, а, возможно, мог запросто раствориться в воздухе, рассосаться. Предполагать можно было всякое, но в последнем случае все стало бы на свои места — видение, и точка!

— Летучий Голландец, мать

честная! — хрипло сказал командор Афанасий и перекрестился.

— Интеллигент, так его растак, — пробормотал Чиж, не отрывая глаз от видения, и тоже перекрестился. Незнакомец замер прямо напротив Федьки и внимательным взглядом изучал матроса.

— Давай сюда, браток, — осмелев, предложил Федька, подвинулся, и «видение» одним легким прыжком оказалось в окопе. Тогда матросы, кто стоял близко, бросились к перебежчику, чтобы увидеть его в окопе лично.

— Большевики? — спросил неизвестный, бесцеремонным взглядом ощупывая людей, точно пришел сюда вербовать самых дюжих и выносливых.

— Большевики, кадеты, сам кто таков? — дерзко крикнул со своего места Петька Конев. — Докладывай!

— Не из тех, не из этих, если быть точным, — корректно ответил пришелец.

— Цыпленок жареный, значит, — раскаляясь, жарко выдохнул Конев.

— Задний ход, мясорубка тульская, — властно осадил комендор Афанасий. — Не у попа на исповеди. Гражданин, — строго спросил комендор перебежчика, — с какой целью прибыли?

— Требуется отряд красных, — и всех резанул неуместный глагол «требуется», как из газетного объявления. — Судя по всему, он окружен, а мне такой и нужен.

— Судя по всему? — Комендор значительно выгнул бровь и оглянулся в темноту на товарищей. —

Это так, граждане военные моряки?

В цепи молчали.

— А что собирали в траве?

— Прибор искал. Уронил здесь прибор.

Шестым чувством комендор понял, что лучше уж не трогать ему этого прибора и прекратить допрос.

— Вот что, — посомневавшись, сказал он. — Чиж, проводи-ка задержанного в штаб. Доложи.

И двое, балтийский матрос Федор Чиж и совершенно неизвестный и подозрительный человек, растворились в темноте, завершив тем странную сцену. И тогда по окопам зацвели махорочные огоньки, зашумел разговор.

— Вот как на войне бывает, — говорил комендор Афанасий. — Одному и осколка малого довольно, другому и кинжальный огонь ничем.

* * *

Ночь легла всей своей погожей, легкой тяжестью на землю. Она опустилась с вязкими ароматами, незаякая, сначала прохладная, выпустила над горизонтом серп месяца, чтобы замедлить биение сердца человеческого, дать покой живому.

Действие ночи не проникло, однако, внутрь командирского блиндажа, хоть и защищал его всего один накат. В клубах едкого дыма махорки, под чадной керосиновой лампой командный состав, видно, уже не первый час

колдовал над картой, глотая горячий чай без сахара.

— В ночной бой они не пойдут, — казидательно, будто обращаясь к непосредственному противнику, говорил командир полка, латыш Оамер. — Потерь больше. Выгоднее с утра.

Он хлебнул кипятка и твердо посмотрел на комиссара, потом на заместителя, желая, чтобы ему начали возражать. Но возражений не было, а комиссар Струмилин даже улыбнулся ему углом рта.

— Дашь полярную ночь, — прохрипел он сорванным голосом. — Ночь тиха, ночь тепла...

Он улыбнулся другим углом рта, но тут закашлялся, и лицо его мгновенно осунулось, поблекло.

— О ночном бое можно только мечтать, — сказал он, откашлявшись. — Предлагаю мечтать на улице, чудесный воздух там...

Тут хлопнула дверь, и под лампой встал матрос Федор Чиж.

— «Языка» привел, — сказал он шепотом, чтобы слышали только свои, и взглядом указал на дверь и еще дальше, за нее. — Перебежчика. За дверь оставил, на улице, в кустах.

Лицо матроса дышало загадочностью, энтузиазмом, и не сам факт пленения «языка», от которого теперь уже проку ждать не приходилось, а именно эта жизненная энергия, скопившаяся на лице конвейного, пошевелила души командного состава.

— В кустах оставил? — удивился командир.

— Не убежит, — спешно заверил Чиж, прислонил винтовку к

столу, а сам сел на скамейку рядом со стаканом чая.

— Свой человек. Идейный.

Командир, заместитель с сомнением посмотрели друг на друга, а потом все вместе уставились на матроса.

— Ты, братец... — начал было заместитель, но тут в дверь осторожно постучали, и негромкий голос сказал из-за двери:

— Можно войти?

И с этими словами идейный перебежчик собственной персоной появился в командирском блин-даже.

* * *

Нет, никак не походил странный перебежчик на своего. Свои сейчас как один по всей республике, одного оттиска. Лица серые, что непросохшая штукатурка, глаза воспаленные, нервное спокойствие в углах рта, и в теле недостача минимум килограммов на пять-шесть по сравнению с довоенным. Снять с пояса маузер, так хоть иконы с них пиши.

А этот — кровь с молоком, щеки лаковые, прямо девушка. Сапоги балетные, вощеные, будто сейчас денщик душу в эти голенища вкладывал. А еще куртка, вроде замшевая, с кокеткой, без единого пятнышка.

Командир смотрел на щеголя прищурясь, как в ярмарку смотрят на породистого жеребца. Взгляд заместителя, примеряясь, проехался по шикарной куртке неизвестного и стал бесстрастным, как будто не встретил на своем пути ничего замечательного; пре-

дупредим, однако, что глаза его обретали бесстрастность именно в минуты чрезвычайных обстоятельств. Комиссар тоже смотрел во все глаза — весело, как смотрят мужчины на непочатую бутылку первача; будто кто-то пошутит остро, притом непакастно.

Короче говоря, непутевый вид перебежчика поразил присутствующих нешуточно. Напротив, субчик джентльменского вида удостоил личности присутствующих вниманием до обидного малым. Окинув всех троих единовременным взглядом, он как бы исчерпал вопросы, естественные при первом знакомстве, и интерес его переключился на скудную, походного качества утварь блиндажа. Молчание между тем вошло в состояние невыносимости.

— Вот, значит, как, — подвел итог перебежчик. — Небогато.

— Вы, судя по всему, привыкли к более роскошной обстановке, — сумрачно заметил командир. Подозрительные предположения уже кружились у него в голове, и он, наконец, дал им ход.

— Роскошь? — рассеянно удивился перебежчик. — Я категорически против нее. Лишний вес.

— А мы за роскошь, — строго сказал командир. — За такую, чтоб для каждого. Нужники из золота отливать будем.

— А я слышал, — голландское, кафельное лицо гостя исполнилось хитростью, — что за бедность вы. Чтоб все стали бедными.

От этих белогвардейских слов золотые очки командира, металли-

ческое будущее которых определилось столь прозаически, подпрыгнули; заместитель же, который до последней секунды ничем не выдавал своего отношения к событиям, сделал шаг назад, в темноту, и глаза его загорелись оттуда огнем. Комиссар Струмилин, выпустив в сторону этих огней мощную струю табачного дыма, вот что сказал:

— Кто так говорит, отчасти и прав. Пускай, мы за бедность. Но бедность, богатство — эти понятия не имеют точного определения. Они существуют только во взаимозависимости. Не так ли?..

Все промолчали.

— Поэму «Кому на Руси жить хорошо» помните?

— Помню, — уверенно вставил матрос Чиж, который уже опростал первый стакан командирского чая и теперь желал вступить в общий разговор.

— Так вот, — голос комиссара окреп, — вспомните: бедные ли, богатые, а счастливых нет. А потому отбросим на время промежуточные понятия и скажем так: мы за общество, где человек был бы счастливым. А?

И он вопросительно взглянул на гостя. Но тот и глазом не моргнул.

— Вы сможете определить понятие счастья? — Гость снисходительно усмехнулся.

Комиссар тоже усмехнулся. А замечали вы, если собеседники уж начали усмехаться, оставаясь внешне спокойными, значит, разговор прошел критическую зо-

ну и, значит, один из собеседников начал брать верх.

— Ну что же, — глаза комиссара Струмилина смеялись, — начнем. Счастье — такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании идет по его воле и желанию.

Незнакомец теперь в упор смотрел на комиссара, точно тот отсалютовал перед его очами лезвием шашки и бросил ее в невидимые ножны. В правой руке незнакомец держал странную шкапулку, всю усеянную дырочками, ту самую, что подобрал в поле.

— Что это? — спросил командир.

— Орбитальный передатчик, — вскользь ответил незнакомец, явно не заботясь о доступности сказанного. — У вас есть еще формулировки? Вы их сами придумываете? — спросил он тревожно.

— Это Кант. Старина Кант. — И голос комиссара потеплел, как если бы речь шла о его драгоценном живом или мертвом товарище. — Заметьте акценты: «разумного существа», «все в его существовании», «все» «по его воле». Так вот, мы за счастье. А теперь сами разберитесь в отношениях с этим бедности и богатства.

— Кант, Кант, — бормотал между тем незнакомец в свою шкапулку, — запомнить, обязательно запомнить. — Из чего мы должны заключить, что интеллигентность, в которой заподозрил его Чиж еще в окопе, была скорее всего чисто наносной, ибо даже полунинтеллигент должен бы

знать имя великого прибалтийского мыслителя.

— Ах, товарищи! — внезапно вмешался заместитель из своей тьмы. — Неправильную линию допроса взяли. Бедность не порок, счастье не радость! Слюни, понимаешь, распускаем. Его, может, и забросили, чтоб он тут дезорганизовывал, зубы заговаривал. А правильная линия — вот она.

Сделав шаг, он оказался у лампы и властно вытянул руку вперед, пятерней наружу.

— Документы!

— Документы? — незнакомец не хотел понимать, о чем его спрашивают.

— Документы спрашивают, — сказал он в ларчик с дырочкой, будто советуясь с кем-то. — Какие документы?

— А вот такие! — страшно вскричал заместитель, чуя, что нет у незнакомца никаких документов, и отработанным движением бросил руку вперед. В пальцах его белела карточка с крупным, затертым на конце словом «Мандат».

Незнакомец осмотрел картонку, поразмыслил и нехотя произнес те слова, после которых, собственно, и началась фантастика чистой воды.

— Ну, если точно такой... — ответным взмахом руки он выдернул из потайного кармана белый квадрат и поднес его к лампе. Крахмальная поверхность картона была девственно чистой.

— Эт-то зачем? — еще не понимая, спросил заместитель.

— Документ, — пожал плеча-

ми щеголь-перебежчик, и тут все увидели, как на бланке проступило крупное слово «Мандат», а затем показались и остальные слова вместе с фамилией обладателя. Но фамилия-то была заместителя!

Короче, в руках замечательно-го щеголя оказалась копия документа — и какая копия! Лакированная, на александрийском картоне, не захватанная пальцами караульных. И как только на праздничной картонке вызрела последняя точка, документ пошел по рукам.

— Лихо! — заметил командир, кончив осмотр.

— Лихо! — в один голос подтвердили Чиж и Струмилин.

— Лихо-лишенько. Липа, — ворчал заместитель.

— Теперь далее, — решительно продолжил таинственный плагиатор. — Беру чернила, выливаю на сапог.

И этот чистюля бесстрашно выплеснул полсклянки фиолетового состава прямо на белоснежное, в розовых кружевах, шевро сапога и еще полсклянки на замшевую свою кожанку.

— Пропади пропадом буржуазное барахло, — радостно одобрил Чиж, матросская душа. — Говорил же — свой в доску!

А заместитель, хозяйственный мужик, только крикнул при виде столь злостной порчи облюбованного добра.

Но нет, не получилась ведь порча народного достояния. Химический состав, как живая ртуть, сбежал по голенищам вниз и лу-

жницей собрался под ногами экспериментатора.

— Не пачкается, не мнется, — сказал гость топом коммивояжера, рекламирующего товар. — Пусть вас не смущает мой свежий вид. Весь на самообслуживании. В общем бросьте сомнения. Перед вами не шпион, не провокатор. Да и незачем к вам шпионов засылать, все известно. Исход решат вот эти батареи.

Он набросал на листе план позиций белых, и все склонились над чертежом.

— Согласуется с нашими данными, — сказал, наконец, командир и сухо, очень сухо спросил: — Ваше мнение, что ничего поделаться нельзя?

— Самим вам ничего не поделывать, — взвешивая слова, ответил неизвестный, — помочь может только чудо.

— А чудес на свете не бывает, — подытожил командир, воспитанный на отсутствии чудес, и что-то штатское, семейное проступило в его облике, потерявшем на мгновение официальность. Секрета нет, даже министр, охваченный грустью, лишается своей официальности.

— Этого я не утверждал, на счет чуда, — осторожно возразил неизвестный и отпустил комиссара особенный взгляд. — Не говорил.

Комиссар перехватил взгляд неизвестного, выдержал его, и сумасшедшая, нелепая мысль обожгла голову Струмилина.

— Вот что, — сказал он собранию, — времени до утра в обрез.

Разойдемся по цепи. А я с товарищем еще поговорю.

И, сгибаясь в двери, люди одиночке вынырнули из прокуренного блиндажа в ночной воздух осени. Заместитель выманил за собой Струмилина.

— Ты эту гниду к пролетарской груди не пригревай, — люто прошептал он во мраке, под звездами. — Верь моему политическому чутью.

— Ну, ну, — усмехнулся Струмилин.

— С мировой буржуазией, товарищ Струмилин, перед лицом смерти заигрываешь. Не «ну-ну», а мнение свое куда надо писать буду, коли в живых останусь. Запоешь!

* * *

Итак, сумасшедшая, нелепая мысль котельным паром ошпарила трезвый ум комиссара Струмилина.

— «Этот человек совершит чудо!» — горячо разлилось под черепом комиссара.

Убежденный материалист, Струмилин еще и сам не понимал, каким образом он мог войти в столь чудовищный разлад со всем своим теоретическим багажом. Надеяться на чудо! В цепи его размышлений еще не хватало какого-то важного звена, и, вероятно, в мирной гражданской обстановке отсутствие этого звена пустило бы ход мысли на рельсы другого, короткого пути, в тупике которого состав силлогизмов лягнул бы на тормозах строкой: «Этот человек — жулик и шарлатан!»

Но сейчас чудесные действия незнакомца, необыкновенный вид и многозначительная игра слов вызвали не к ходу будничной логики, а к трепетному движению той заветной интуиции, наличие которой не каждый признает, ибо не каждого господь наградил ею.

— Совершит чудо! — головешкой тлею в бункерах струмилинской души, и, затаясь, он ждал, когда останется с незнакомцем наедине.

Дверь хлопнула, пламя копилки легло набок, и тень перебежчика метнулась по стене, будто ее застали врасплох или ткнули в грудь. Сам же перебежчик стоял неколебимо в тусклом свете горящего керосина и только шептал в дырочки своей чертовой шкатулки, шептал и прикладывался к ним ухом.

Комиссар прислушался. Тень перебежчика, покачавшись, встала на место, и Струмилину почудилось, что это она бормочет призрачные, невесомые заклинания, а сейчас шагнет к Струмилину и скажет в полный голос что-то окончательное, роковое, по-русски. Шаманские, на погребной сырости замешанные слова копила в себе эта шкатулка.

— Не немецкий, — быстро определил комиссар. — Не французский. Не английский. Чешский? Нет.

— Ну... — сказал себе комиссар, поправил пояс, строевым шагом подошел к неизвестному, положил ему руку на плечо, взглянул в упор холодным взглядом, хорошо известным балтийскому

полку и за его пределами, а также еще одному деятелю, который вел, вел-таки однажды комиссара под дождичком, вел и ставил спиной к гнилому дубу, матерился и прицеливался...

— Вот что, дорогой товарищ! Помогай, сделай, что можешь.

Итак, они замерли напротив друг друга, и зрачки их соединились на одной прямой, на струнной линии, тронь — зазвенит.

* * *

— Значит, вы догадались, что я могу помочь? — нехорошо усмехаясь, спросил неизвестный. Волна злобы подкатила к горлу Струмилины. Лицо его дернулось.

— Да не могу я вам помогать. Не велят, — простонал человек, — фильм запорем. Мы фильм снимаем, на документальных кадрах. В финале полк красных гибнет. Эффектные кадры. Чтобы найти их, мы сотни витков наматывали на орбите, зондировали. Энергии потратили прорву.

— Да снимете еще фильм! Разыграете в конце концов с актерами! — в отчаянии закричал комиссар.

— Не снимаем мы игровых. Игровой лентой на нашей планете не убедишь. Тошнит зрителя от недостоверности, от актерских удач. Актер на экране — пройденный этап. Для нашей планеты вообще вся ваша прошлая жизнь — наш пройденный этап...

Глубоко задыхал от этих слов комиссар Струмилины. Вот оно, недостающее звено логики — «на

нашей планете». Из других миров. Жюль Верн наоборот. Из пушки на Землю. Сказка, черт ее подери! Но теперь его интересовала только утилитарная сторона сказки, спасение пятисот душ полка, крепких, позарез нужных революции ребят, ради чего заложил бы он свою душу не только небесной звезде, но и самому дьяволу.

— А почему такой финал фильма, с кровавой развязкой? — ровно, овладев дыханием, спросил комиссар.

— А бог его знает. Считается эффектным. Я-то лично специалист по счастливым концовкам. Именно в них и достигаю полного самовыражения. Так нет, послали именно меня. Сказали: «Нужно изобразить смерть через зрение оптимиста».

— Нет, я рад, что послали именно вас, — поспешно возразил Струмилин. — Нам тоже по душе счастливые концовки. А собственно, что у вас за сценарий?

— Сценарий-то роскошный. Переворот в огромной стране. Крушение аграриев. Консолидация тузов зачаточной, но все же промышленности. Движение плебейских масс, вожди той и другой стороны. Личные трагедии. Исторические решения и ошибки. Взаимосвязанные события в других частях планеты. Батальные эпизоды во всей их красе.

Незнакомец говорил с пафосом и вместе с тем доверительно, как профессионал говорит с равным профессионалом.

— Прделана колоссальная работа. Многократный зондаж с пер-

сональным выходом на Землю, постоянный зрительный контроль важнейших событий с орбиты — в наших руках глобальная картина движения всего общественного процесса. Наш математический автомат произвел нужные подсчеты и построил функциональную модель токов основных событий на ближайшие годы. Выяснилось: победа революции неминуема.

— Это не удивительно, она победит, руку на отсечение, — перебил комиссар Струмилин, глаза его грозно и холодно сверкнули.

— На отсечение вы предлагаете и голову, не далее как поутру, — ляпнул вдруг марсианин и тут же осекся — таким холодом повеяло из глаз комиссара. Он кашлянул. — Вот какие кадры мы привезем домой. Успех обеспечен потрясающий. Тем более что мы совершенно случайно наткнулись на вашу планету. Так сказать, экспромт.

— Зрелище получится грандиозное, — согласился Струмилин, — но дайте же ему счастливый конец! Вы же специалист, в конце концов, по счастливым развязкам. Не насилюйте себя. Искусство и насилие над художником несовместимы. Организуйте чудо, спасите балтийцев, а потом что хотите, ну, скажем, посетите штаб белых, полковника Радзинского. Чрезвычайно эффектный этюд, уверяю вас, а?

Неземной человек упрямо молчал.

— Да вы хоть представляете, за что сейчас кровь льется? —

сердито и устало спросил Струмили́н. Ему надоело уговаривать чудака, свалившегося с неба, откуда видно все и вместе с тем ничего не видно.

— С глобальной точки зрения? — учтиво, по-профессорски спросил этот холеный представитель того света. — Ну, примерно так. Развитие производительных сил, способов производства вошло в конфликт с общественным укладом.

— Политэкономия! — отмахнулся комиссар. — А кровь, кровь человеческая, сердце, душа живая гомо сапиенса — этих категорий нет в политэкономии, — отчего материал идет в смертный бой и чего жаждет?

— Так отчего? — с некоторой угрюмостью спросил пришелец.

— Оттого, что впервые в истории сердце человеческое ощутило реальную возможность идеального общества. Ведь жизнь любого была либо позорно униженной, либо возвышенной, но преступной в принципе...

Внезапным движением Струмили́н бросил руку за спину, будто хватаясь за кобур у маузера, ловко выдернул из полевой сумки растерзанную книжонку и прочитал заголовок:

— «Голод, нищета, вымирание русского народа — как следствие полицейского режима», издательство «Донская Речь». Лет двенадцать назад эту брошюру можно было купить в любом киоске России, сейчас уникальный экземпляр. Почитайте на досуге.

Повинуясь слову «уникаль-

ный», межпланетчик покорно принял подарок и бережно сунул его за пазуху, причем куртка как бы сама втянула в себя экземпляр, и заметьте, ни прорезей, ни щелей в материале видно не было. Недаром замечательная курточка так понравилась заместителю командира, хозяйственному мужику.

— Да, вы уже говорили об обществе, где каждый будет счастлив в соответствии со своей способностью к счастью, — напомнил он комиссару.

— Вот! — подтвердил Струмили́н, загораясь, точно будущее уже маячило за хлипкой дверью блиндажа, высунь только руку наружу и пробуй на ощупь. Он уже видел это общество счастливых, колоннами марширующих навстречу ослепительным радостям земного благополучия, этих гармонически развитых, а потому прекрасных телом и душой мужчин и женщин, этих высоколобых атлетов — мечтателей-чемпионов, рационализаторов-изобретателей.

— Мы построим такое общество! — трепетно обещал комиссар. — И в нем не будет места монархам, диктаторам, деспотам, самодурам. Улицей командует уличный совет, городом — городской, страной — государственный совет. Советская власть! — выборная, единая и неделимая. С позором рабского существования будет покончено. И для того мы идем в наш последний и решительный бой!

С каждой своей фразой комиссар испытывал все больший поды-

ем, и вера в справедливость сказанного комком поднималась от сердца выше и выше и уже ключом била где-то в горле, и теперь имели смысл не сами слова, а то, как они были сказаны — дружинно, на втором дыхании прирожденного трибуна, каким Струмили́н и был, на том замесе отчаянности и убежденности, который не раз был брошен в хаос и гул тысячной митинговой толпы, в поле, колосющееся штыками, и направлял острия штыков в одну точку, как магнитный меридиан правит компасную стрелу точно на полюс. И будь сейчас перед Струмилиным пусть даже не один заезжий с далекого нам созвездия, а хоть сотня таких молодых — заряда комиссарской души хватило бы, чтобы электрический ток побежал в хладнокровном сердце каждого из них, и вера комиссара вошла в сердце каждого, и каждый бы сказал:

— Прав товарищ Струмили́н!

Крутой лоб комиссара покрылся холодным потом, скулы заострились, но в глазах по-прежнему качались язычки холодного огня, а взгляд уходил далеко, сквозь единственного слушателя, тянул след как бы поверх голов невидимого собрания, так что марсианин, скрипнув лаковыми сапогами, повернулся и удостоверился, нет ли кого еще позади. Но нет, никого там не было...

— Безумно интересный кадр! Ах, какой будет кадр! Обойдет все планеты, — причмокивая губами, бормотал единственный слушатель трибуна Струмили́на.

— Неужели снимали? — удивился Струмили́н, приходя в себя.

— Все снимается, что вокруг. Все. Съёмочная аппаратура — вот она, — удовлетворенно усмехнулся кинооператор и потрепал материал куртки. Комиссар еще раз внимательно посмотрел на нее, подумав, что неплохо было бы такую штучковину презентовать Академии наук, что с такой курточкой не один сюрприз можно было бы ткнуть в нос мирового эмпириокритицизма.

— Да, у вас программа-максимум, — сказал марсианин, возвращаясь к главному разговору. — Нам для подобных результатов понадобилась эволюция и жизнь многих поколений.

— Так то же эволюция. Эволюция, дорогой ты наш товарищ с того света! — заремел жестяным смехом Струмили́н. — А у нас революция. Разом решаем проблемы.

— Нелегко вам будет, ох, нелегко, — сочувствовал нашим бедам гость и с острым любопытством глядел на комиссара, как бы ожидая от этого человека, сбросившего с лишним весом и все сомнения, новых откровений, качеств, завидных оттого, что их нет в тебе самом. — Ведь это то же самое, что разобрать на части, скажем, паровоз, и на полученных частях пытаться собрать электро-воз — машину, принципиально новую.

— Превосходно! — азартно крикнул Струмили́н. — Разбираем паровоз, плавим каждую деталь и из этого металла куем ча-

сти электрички. А кузнецы мы хорошие. Вводим в вашу технологическую схему элемент переплавки — и точно! Недаром по вашим же расчетам наше дело победит.

Глаза комиссара Струмилина весело сияли, он знал силу своей полемической хватки, знал, когда пускать на прорыв весь арсенал отточенной техники диалектика, и чувствовал, что еще несколько удачных приемов — и он выйдет с чистой победой, и теперь он прямой дорогой вел оппонента к месту, уготованному для его лопаток, как профессиональный борец, чемпион ковра, ведет противника, не прикасаясь к нему, на одних финтах искушенного боем тела, ведет в угол, из которого единым броском метнет его в воздух, чтобы, не кинув даже взгляда на поверженного, в ту же секунду сойти с ковра.

— Переплавка — хорошо, — соглашался представитель академического понимания хода истории. Его взгляд по-прежнему фиксировал каждый жест Струмилина, а шкатулка всеми своими дырочками глядела прямо в рот комиссара.

— Подумаем-ка лучше, как перекроить финал вашей пьесы. Так, чтобы не пришлось гибнуть балтийским морякам на потеху кинозрителей. А?

Марсианин вздрогнул. Резко, очень уж резко повернул комиссар от личного к общественному, к конкретным мероприятиям.

— Ну, дорогой товарищ по счастливим развязкам, даешь соответствующий финал!

И с этими лобовыми словами комиссар наложил руки на плечи всемогущего перебежчика, качнул его к себе, и так они замерли друг возле друга.

— Ну, демонстрируй профессиональные качества, чтоб ахнул зритель. И тот, — комиссар ткнул перстом вверх, — и этот самый, — палец очертил полную окружность. — А потом прямым ходом в штаб белых. Историческая выйдет сцена. Вот где страсти разыгрываются. Эх!

— Крупные планы из штаба белых, — печально сказал марсианин, будто ему подсунили на подпись приказ о выговоре самому себе...

* * *

Многотруден путь факта в глупый мозг человека, да, многотруден.

На месте Струмилина, пожалуй, любой из нас устроил бы разговор вокруг фактов, проявленных в тайной беседе с перебежчиком. Размахивал бы руками, божился, требовал серьезного отношения и в конце концов сам перестал бы верить собственным показаниям. Струмили́н же нет. Он знал, чем делиться с ближними, а о чем крепко молчать — день, год, потребуется — всю жизнь. И потому вернувшиеся в блиндаж товарищи застали его как ни в чем не бывало склонившегося над картой, на которую уже никто без отвращения и смотреть не мог.

— Ну, что перебежчик: есть интересные показания? — спросил

командир, устало устранив себя за дощатый топчан.

— Послал его в цепь, поднимает настроение у состава. Поговорит по душам о будущем.

— Он там такую агитацию разведет! — сквозь зубы процедил заместитель. — Недорезанный...

— Он астроном, — веско возразил комиссар, — редкий специалист по жизни на других планетах. Он расскажет о братьях по разуму, которые уже пролили кровь за счастливую жизнь, такую, какая будет у нас.

— И это неплохо, — сказал командир. Водрости в его голосе не чувствовалось.

— И еще, — тихо добавил Струмилин, — кажется, следует на всякий случай повозки запрячь. Раненых приготовить к дороге. Ручаться не могу, но непредвиденности могут возникнуть. Знаете, случаются такие непредвиденности в теплые летние ночи с чистыми звездами на небе.

Все с величайшим любопытством уставились на комиссара, но тот ничего добавить не мог, ибо в самом деле ничего не мог добавить.

* * *

И действительно. В перелеске, под разлапистым хвойным навесом, на душистых мхах, в бликах каменного цветения угольков с пеплом, марсианин, которому не посчастливилось родиться на благословенной Земле, уже развернул натуральный доклад о жизни иной, делился впечатлениями.

Такое накатило время на Рос-

сию, слушала Россия всякого, лишь бы за словом в карман не лез. По царской воле, под влиянием исторических факторов так уж произошло, что с седых времен Великого Новгорода не сбиралось в России вече, отсутствовал свой Гайд-парк, кратко говорил народ, на бытовые темы, чтобы в кутузку не загреть. А тут — прихлопнуло, повырастали откуда ни возьмись ораторы на каждом углу, повывакали бочки, стали на попу трибуною, завился веревочкой мудреный разговор. Хоть к лобному месту с плакатом становись, руби правду-мать в глаза, возражений нет!

Вмиг научился народ речи говорить и слушать их полюбил. И тут же стали различать: кто свой, а кого — в доску! И ежели свой, выкладывая соображения за милую душу о земле, хлебе, недрах и власти над ними, а хочешь, о звездах, над которыми пока власти нет. Но о звездах, понимаем, не каждый толковать смел, и тому, кто смел, внимали с двойной порцией сочувствия.

— Удивительными показались бы вам порядки на этой планете, — ронял слова беглый астроном, будто и не имел к этой планете отношения, не оставил на ней своего дома. — Многое называли бы вы непонятным, а то и чуждым. Не всему, думаю, вынесли бы вы одобрение. А между тем планета эта во многом — ваше будущее. Но будущее это не совсем такое, каким оно вам сейчас представляется. И жителей плане-

ты той нельзя винить в этом, как нельзя винить внуков ваших в том, что им захочется иного, чем вам, большего.

Понять вас ничего не стоит, задним-то числом! А вот вам их... А надо, потому что их жизнь — ваше будущее. Примерно, разумеется.

— Чем же они нам пример? — с ухмылкой врезал матрос Конев Петька, который не сумел надерзить перебежчику в первом его явлении, но не терял, видно, надежд проявить буйную свою индивидуальность и посадить фраера на мель по самую ватерлинию. Разутые ноги Петьки отдыхали у самого пепелища, и когда угли разом наливались огненным соком, то на чахлах щиколотках Петьки можно было различить татуированный узор слов, среди коих явно выделялись каллиграфией «...дело рук...» и «...главным калибром по гидре...». Беспощадные, взрывчатые слова нашел матрос, чтобы украсить ноги свои, чтоб не осталось сомнений в том, какую из сторон баррикады облюбовал Петька; наделил сам себя бессрочным пропуском, который уж если и потеряешь, так вместе с ногами. И, ввязавшись в дискуссию, Петька закатал трепаный клеш, предъявляя тем свои права на повышенную дерзость.

— Ну, так вот, удивительной показалась бы вам эта планета на первых порах, — продолжил этот на редкость обходительный лектор. — Города там, например, подвешены в воздухе, высоко над землей, а прямо под городами ле-

са, травы, озера. Так что кому на землю захотелось, тот достает крылья и кидается головой вниз. Или нанизывается на магнитную силовую линию и скользит, как по перилам. По таким, знаете ли, материализованным меридианам, морьям это должно быть понятно.

— А деревни? Деревни тоже на воздушях? — беспокоило спросил кто-то, несомненно землепашествующий.

— Деревни оставлены на земле, — заверил лектор. — А вот сами крестьяне тоже обитают, как вы говорите, на воздушях. Вернее, крестьян как таковых нет, есть только специалисты по сельскому хозяйству, их там и называют крестьянами. Все растет само по себе и убирается само умными машинами. Собственно, не только крестьян — пролетариев тоже нет уже. Говорят же вам, станки обходятся без людей.

— Как же так? Ни крестьянства, ни пролетариата. Кто же там тогда? Буржуи одни? В чьих руках власть? — недоверчиво спросили из кустов, и по тому, как зашевелилась вокруг темнота, пришла в беспокойство человеческая масса, марсианин догадался, что вторгся в заповедные моменты жизни этих людей.

— Нет классов в их обществе, — как можно энергичнее сказал он. — А чем они все занимаются? Ну, чем... Умственным трудом, искусствами, трансформацией.

Зашумела темнота вокруг на разные голоса.

— Без диктатуры куда ж!

Паразиты расплодятся, мироед за глотку возьмет! Мужики долг исполнять забудут, в кабаки порхнут! Факт? Факт!

— Без паники, граждане! — накрыл гвалт трубный глас комендора Афанасия Власова. За неимением председательского колокольчика комендор, когда надо, пропускал сквозь мощные заросли голосовых связок струю пара, сжатого до нескольких атмосфер в оркестровой яме его объемистых легких, и тогда накат низкой, но чрезвычайно широкой звуковой волны выносил вон плескание человеческой речи, закрывая таким способом разгулявшееся собрание или, наоборот, открывая перед ним фарватер вновь.

— Тихо, граждане! Все правильно товарищ излагает. Бесклассовое общество, слияние умственного с физическим. Это ж, братишки, коммунизм, тот самый, за который нас с вами царские недобитки в медвежьем углу приперли. Теорию, братишки, подзабыли, брашпиль вам в форточку!

Марсианин, надо сказать, прямо расцвел в виду такой кинематографической сцены.

— Вот они, типажи! Вот они, кадры! Вот они, личные контакты! Ай-ай-яй! — вскрикивал он радостно, тверже сжимал в руке драгоценную шкатулку, и под сердцем его тоже открывались лепестки нежного цветка.

В общем, как видим, повезло всем. Профессиональному марсианину-кинооператору — потому, что он с ходу влетел в митинговую

гущу беззаветных героев собственного кинофильма, и крупный план кадр за кадром косяками шел теперь на катушки приемников корабля, тормознувшего среди звезд по поводу такой сюжетной находки. Повезло и балтийцам, которые сразу, из первых рук, так сказать, самоотечески получили известия о замечательной жизни на других мирах, в существовании которой хотя никто из них и не сомневался, но все же иной раз проявлял колебания ввиду неясной постановки вопроса со стороны административных кругов. А тут вдруг стопроцентный астроном с наипоследними, как подчеркнул комиссар Струмилин, и обнадеживающими данными в кармане! От такого вылетит из башки и страх перед смертью, что уже заказана, запрессована в нарезные стволы озверелого противника на дистанции прямой наводки.

Прав, прав, как всегда, оказался комиссар Струмилин. Задалтаки подпольный марсианин морякам тонус, который вовсе не каждый обнаруживает в себе перед лицом неповторимой смерти, не чьей-нибудь, а собственной, а потому особо наглядной и убедительной. А тонус есть, значит, дорого, ох, дорого заплатит классовый враг за кровь комиссара и товарищей его, потому что в крови этой вскипела вера в новый мир и счастливую звезду его, на которой, наверное, тоже когда-то летели наиболее сознательные головы братьев по разуму, и подругому быть не могло, иначе какие же они, к черту, братишки.

Между тем сгусток влажной тьмы скатился с восточных широт планеты и теперь клубился над болотами, замкнувшими отряд.

Представление, начатое марсианином с легкой руки комиссара Струмилина, по-прежнему продолжалось. Ему вполне удалось удерживать свое реноме в рамках лектора-эрудита, не расширяя этих рамок до истинных размеров оригинала, так что ни одна живая душа не догадывалась о его подлинном происхождении. Впрочем, никому теперь и дела не было до его происхождения, как и до вороны, что где-то вверху хриплым карканьем отметила приход глухого часа полуночи. Марсианин успел поведать о занятиях на дальней планете, об отдыхе на ней, о насыщенном распорядке дня, показал, как танцуют наши сверхдальние сородичи — высоко подпрыгивая и чуть зависая в воздухе, коснулся тех вещей, что делают жизнь марсиан счастливой, и, чтобы до конца быть правдивым, перешел теперь к минутам, когда марсианину бывает плохо. Такова уж, видно, биология всего живого, не может оно быть счастливым без конца.

— Вот просыпается он утром, — говорит марсианин, — и чувствует: нет настроения, пропало. Жить не хочется. Переутомился, что ли?

Одевается, выходит на площадку, хорошо кругом. Солнце сияет, птица садится на плечо, ветерок. А под ногами, глубоко внизу пе-

нится морской прибой у крошки золотого пляжа. Надевай крылья и головой вниз! А может, без крыльев? Головой вниз — и делу конец. О-о-о, как скверно на душе!

Друзья! Да где они, друзья? Жена? Да чем же она поможет, жена?

Неизвестно, чем бы окончилась эта его грустная новелла, так как в самом начале ее у костра появился комиссар.

— Товарищи, — сказал он. — Собрание необходимо закрыть. Прошу вас занять свои боевые позиции.

Погруженные в яркие картины чудной жизни великой планеты, матросы, придерживая оружие, поднялись и один за другим растворились в темноте.

— Вот, — сказал комиссар, убедившись, что у костра никого не осталось, — подбросили, гады, записку. Обещают шомполами всех, кто в живых останется. Так сказать, программное заявление.

— Дайте бумажку, — потребовал марсианин. Он повернул ее текстом к огню, рассмотрел, потом текстом же прижал к куртке.

— Крупно, — сказал он в микрофон. — Дайте это крупно. Как подбросили записку? На кого падает подозрение?

— Подозрение падает на того, на кого ему легче всего упасть, — усмехнулся комиссар, глядя куда-то в сторону от марсианина.

— На кого легче, — соображая, сказал марсианин, и пнул носком шикарного сапога чадя-

жую головешку. — Значит, на меня.

Он даже не взглянул на комиссара, чтобы проверить свою догадку. Струмилин молчал.

— На мне оно не продержится, обвинение. Я решил. Я выведу отряд из болот. Так я решил, пока мы тут беседовали с вашими товарищами. Они мне по душе. Я сделаю это, и настроение мое, черт возьми, наконец вернется ко мне.

Когда я улетал от своих, — марсианин ткнул пальцем вверх и быстро отдернул руку, точно ожегся о что-то, — когда я улетал, настроение у меня было веселое. Я его поставлю на место. Я посчитаюсь с их настроением, — палец его снова взвился вверх. — Оптимистическую трагедию вам подавай? Вы ее получите, уважаемые зрители! Программное же заявление предадим углям. Как это у вас там сказано, из пепла возгорится искра?

Скомканная бумажка порхнула над россыпью тусклых огоньков и тотчас обратилась в длинный и чистый язык пламени. В коротком свете Струмилин увидел, как губы марсианина сложились в твердую и мстительную усмешку, какая бывает у человека безоружного, уже оцепленного врагами и вдруг почувствовавшего в руке холодную сталь револьвера.

— Пора, — приказал марсианин, — в штаб!

* * *

На краю болота было не столь темно, как под хвойными покро-

вами леса. Там-то тьма была материальна, так сказать, очевидна. Кроме нее, ничего не существовало там, только звуки. Здесь же, на краю свободного пространства, тьма полилась намеками каких-то контуров, голубоватыми залежами света, осевшего с кривого и тонкого лезвия месяца.

Полк, поднятый по тревоге и в полном составе построенный в колонну, замер перед лицом необъятных трясин. Шеренги, плотно собранные одна за другой, едва угадывались в пыльной осыпи звездного сияния, стояли призрачно, как воинство из баллады, что ждет не дождется полночного смотра любимого императора. Только иногда идиллия нарушалась: где-то скрипела телега, лошади пытались ржать, и слышался сдавленный матерный шепот, враждебный непокорное животное.

Штабные, комиссар Струмилин и марсианин расположились неподалеку от колонны, уже в самом болоте, так что под ногами чавкала и вздыхала, отпуская сапог, мясистая жижа.

— В моем распоряжении имеется особая сила, такое силовое поле, вроде электромагнитного. Как бы гравитационное поле, — объяснял марсианин Струмилину. Остальные тоже слушали крайне внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова перебежчика. — Так вот, это поле окружает меня со всех сторон. Ни пуля, ни осколок не пройдет через невидимую защиту. Вот смотрите, я расширяю сферу действия поля.

Мягкая сила потащила людей в разные стороны, и не так, как тащит полицейский, с треском за шиворот, а как влечет крупная и ленивая морская волна.

— А теперь наоборот, — негромко сказал марсианин, и та же сила поставила людей на прежние места.

— Вот эта сила ляжет вам под ноги через болота. По этой дорожке вы проследуете километра три через самую топь, а дальше и сами выберетесь, не маленькие. Там уже можно. Все ясно?

Все молчали, потому что ясно-го, признаться, было мало.

— Ну! — пронзительно крикнул марсианин.

Тонкий луч, шипя, скользнул поверх окошек стоячей воды, от которой тотчас повалил густой ядовитый пар, и в клубах пара высветилось тонкое, как папиросная бумага, полотно обещанной дороги. Захрипели кони, закричали ездовые. Только полк по-прежнему молчал.

Струмилин, не оглядываясь, шагнул к прозрачной ленте, поставил на нее ногу, пробуя каблуком на крепость, а потом прыгнул и, осыпанный искрами, оказался на ней во весь рост.

— А кони не провалятся? — спросил кто-то над ухом марсианина.

— Мозаботьтесь, чтобы немедленно началась переправа, — отрезал перебежчик.

Через минуту рядом с ним никого не осталось. Полк глухо заворочался в темноте, перестраи-

ваясь в походные порядки, и вот уже первое отделение встало у самого края лунной дорожки, пропуская вперед себя повозки с ранеными, походные кухни, прочую колесную движимость.

— Давай, давай, — шептали сами собой губы марсианина в спину уходящих людей.

— Прощаемся, — сказал голос Струмилина совсем рядом в темноте.

Марсианин вздрогнул. Они подошли к краю полотна.

— А для себя-то этой энергии останется? — спросил комиссар.

Марсианин промолчал.

— Ну, руку, товарищ! — сказал комиссар. Последний из отрядов скрывался в клубах дымящегося болота. И взгляды двоих встретились последний раз в этой жизни.

* * *

Рано утром после сильнейшего артиллерийского обстрела части белогвардейцев, рота за ротой, вошли в зону, еще вчера удерживаемую полком балтийцев.

Под барабанный бой, с развернутыми знаменами наперевес, с щеголеватыми, молоденькими офицерами впереди, готовыми схватить пулю в живот — ах, чубарики-чубчики, за веру, царя и за другие опустелые, как дома в мертвых городах, идеи, — двигались так плотные каре, одетые и обутые на английский манер. Вот так, с барабанным боем и уперлись в край трясины, не встретив никакого противника. На том этот

маленький эпизод великой эпопеи гражданской войны и получил свое окончание.

Разумеется, факт необъяснимо-го исчезновения крупного соединения красных вызвал определенную растерянность в штабе золотопогонников. Ни одна из гипотез не могла толком объяснить, каким дьявольским способом сумел противник организовать марш через гиблую топь вместе с ранеными и обозом.

— Это все шуточки комиссара Струмилина, — говорил полковник Радзинский приглашенным на чай офицерам. — Как же-с — личность известная. Удивительно находчивая шельма. Трижды с торговли бежал, мерзавец, из этих же краев. Накопил опыт. А в прошлом году, господ, обложили его в доме, одного. Так он, сукин сын, умудрился первым выстрелом нашего боевого офицера, штабс-капитана фон Кугеля, царство ему небесное, уложить. И в ночной неразберихе, господ, верите ли, взял на себя командование этими олухами, что дом обложили. Ну, конечно, дым коромыслом, пальба, постреляли друг друга самым убедительным образом, смею вас уверить. А самого, каналы, и след, конечно, простыл. Вот и теперь...

Тщательный осмотр брошенного лагеря ничем не помог в расследовании обстоятельств дела. Ни раненых, ни живых, только один труп, брошенный взрывной волной далеко от землянки, обратил на себя недолгое внимание дежурного офицера прекрасным

покроем одежды и белоснежными, модельной работы сапогами.

— Закопать, — равнодушно приказал офицер, и приказание его было немедленно исполнено.

Вот такими и получились финальные кадры многосерийной художественной хроники, скроенной на потребу марсиан. Безрадостная могилка, выдолбленная в вечной мерзлоте, молодцеватый офицер около, а в могилке сам режиссер фильма, марсианин образца 1919-го.

Приходится ли сомневаться, что доставленная по месту назначения лента имела громадный успех? Ведь далеко не каждый из режиссеров посягнет на собственную жизнь ради того, чтобы в сюжете все шло по его собственному желанию, и, уж конечно, не пожертвуют ею как раз те, чья смерть не вызвала бы в наших сердцах печали. Тут нужен особый размах души, яркое понимание счастья.

Между прочим, заключительные кадры должны были бы отчетливо передать еще один психологический феномен. Печаль, от которой марсианин не мог оторваться даже на скоростях междупланетной ракеты, бесследно испарилась с его лица. Отдавший всю энергию своего силового поля, беззащитный совсем, марсианин встречает ядреную сибирскую зарю детской, счастливой улыбкой. Тут уж сомнений быть не может — встала у человека душа на нужное место. Снаряды вокруг него рвутся, а он только хохочет и землю с плеч

отряхивает. Плевали мы, мол, на ваши фугасы. Вот сейчас все кончится, отведут меня, значит, в штаб полковника, вот где сцена разыграется!

Красиво умер марсианин, величественно, за справедливое дело. Прочие марсиане и марсианки, которые, судя по всему, не относились к нему при жизни слишком серьезно, задумаются. Самим-то им отпущено сто пятьдесят лет равномерной жизни — ни больше и не меньше, — и конец запрограммирован. Скучно. Событием не назовешь. А ведь неспроста знаменитый мыслитель прошлого называл смерть самым значительным событием жизни. «Счастливая смерть та, — сказал Гай Юлий Цезарь, — которую меньше

всего ожидаешь и которая наступает мгновенно».

Перетряхнет эта смерть представления братьев по разуму. Эволюция, эволюция! А может, только через революцию путь к счастью лежит? Через паровозную топку и пламя ада? Вот как в этих кадрах, что мелькают на экранах во всех домах марсиан.

Крепко уверены в этом герои фильма — комиссар Струмилин, ясная и холодная голова, простые ребята Федька Чиж, комендор Афанасий Власов и еще пятьсот штыков с ними.

Ушли, ушли те штыки через болота, сопки, через первобытные леса. Ушли, и не чтобы шкуру спасти, а чтобы снова в свой последний и решительный бой!



КИРИЛЛ БУЛЫЧЕВ

поделись со мной...

Мне хочется туда вернуться. Особенно сегодня, когда серые облака, возникающие из тумана на горизонте, пролетают, одинаковые, над сырой крышей. Они приносят заряды хлесткого дождя и ощущение одиночества.

Мне хочется туда вернуться, но я никогда не смогу этого сделать, потому что унижительно быть попрошайкой среди щедрых богачей, слепым среди зрячих, которые выстраиваются в доброжелательную очередь, чтобы перевести тебя через улицу, безногим, которого носят в паланкине вежливые, мускулистые бегуны.

Наверно, мне придется до конца дней мучиться завистью.

Но тогда я ни о чем не подозревал. Щелкнули и зажужжали двери лифта. Я сошел по полному пандусу на разноцветные плитки космодрома и остановился, выбирая мысленно из толпы встречающих того, кто предназначен мне в спутники, — о моем приезде были загодя предупреждены.

Человек, подошедший ко мне, был высок, поджар и пластичен, как гепард. У него были длинные, зеленоватые от постоянной возни с герселием пальцы, и уже поэтому, раньше чем он открыл рот, я догадался, что этот человек мой коллега.

— Как долетели? — спросил он, когда машина выехала из ворот космодрома.

— Спасибо, — ответил я. — Хорошо. Нормально.

В моих словах скрывалась вежливая неправда, потому что летел я долго, ждал пересадок в



неуютных, пахнущих металлом и разогретым пластиком грузовых портах, мучился невыносимыми перегрузками, не представлявшими ничего особенного для конструкторов и пассажиров в этой части галактики.

Встречавший ничего не ответил. Только чуть поморщился, словно страдал от застарелой зубной боли и прислушивался к ней, к очередному уколу, неизбежному и заранее опостылевшему. Прошло еще минуты три, прежде чем он вновь заговорил:

— Вам, наверно, трудно было лететь на нашем корабле? Вы не привыкли к таким перегрузкам.

— Да, — согласился я.

— Голова болит? — спросил он. Я не ответил, потому что увидел, что его настиг укол зубной боли.

— Голова болит? — спросил он снова. И добавил, словно извинялся: — К сожалению, ваши корабли сюда прилетают редко.

Только теперь, отъехав несколько километров от космодрома, мы очутились в новой стране. До этого был планетный вокзал, а они одинаковы во всей галактике. Они безлики, как безлики все вокзалы, уезжают ли с них поезда, улетают ли самолеты, стартуют ли космические диски.

И чем дальше мы отъезжали, тем особенней, неповторимей ста-

новился мир вокруг, потому что здесь, вне большого города, легко воспринимающего моды галактики, все развивалось своими путями и лишь деталью, мелочью могло напомнить виденное раньше. Но, как всегда, именно мелочи скорее всего останавливали взгляд.

Было интересно. Я даже забыл о боли в голове и дурноте, преследовавшей меня после посадки. Я чувствовал себя бодрее, и воздух, влетающий в открытое окно машины, был свеж, пах травой и домашним теплом.

На окраине города, среди невысоких зданий, окруженных садами, мой спутник снизил скорость машины.

— Вам лучше, надеюсь? — спросил он.

— Спасибо, значительно лучше. Мне нравится здесь. Одно дело читать, видеть изображения, другое — ощутить цвет, запах и расстояния.

— Разумеется, — согласился мой спутник. — Вы остановитесь у меня. Это удобнее, чем в гостинице.

— Зачем же? — сказал я. — Я не хочу вас стеснять.

— Вы меня не стесните.

Машина свернула в аллею, огибавшую крутой холм, и вскоре мы подъехали к двухэтажному дому, спрятанному в саду. Деревья, кусты и трава сада переплелись в сложную, изысканную вязь, рождая переходящие одна в другую мягкие формы, завершением и продолжением которых был сам дом.

— Подождите меня здесь, —

сказал мой спутник. — Я скоро вернусь.

Я ждал его, разглядывая цветы и деревья. Я чувствовал себя неловко оттого, что вторгся в чужую жизнь, не нуждавшуюся в моем присутствии.

Окно на втором этаже распахнулось, худенькая девушка выглянула оттуда, посмотрела на меня быстро и внимательно и согласен кивнула головой не мне, а кому-то стоявшему за ее спиной. И тут же отошла от окна.

Мне вдруг стало легко и просто. Что-то в лице девушки, в движении рук, распахнувших окно, во взгляде, мимолетно коснувшемся меня, отодвинуло в глубину сознания, стерло превратности пути, разочарование, вызванное сухой встречей, и неизвестно чем чреватую необходимость прожить здесь два или три месяца, прежде чем можно будет отправиться в обратный путь.

Я был уверен, что девушка спустится ко мне, и ожидание было недолгим. Она возникла вдруг в сплетении ветвей, и растения расступились, давая ей дорогу.

— Вам скучно одному? — спросила она, улыбаясь.

— Нет, — сказал я. — Мне некуда спешить. У вас чудесный сад.

Девушка была легко одета, жесты ее были угловаты и резки.

— Меня зовут Линой, — сказала она. — Я покажу вам, где вы будете жить. Отец очень занят. Болеет бабушка.

— Простите, — сказал я. —

Ваш отец ничего не говорил мне об этом. Я поеду в гостиницу...

— И не думайте, — возразила Лина. Ее глаза были странного цвета — цвета старого серебра. — В гостинице будет хуже. Там никому за вами присмотреть. А нас вы никак не стесните. Отец поручил мне о вас заботиться. А сам остался с бабушкой. У него это лучше получится, не правда ли?

Наверно, я должен был настаивать на переезде в гостиницу. Но я был бессилен. Мной овладела необоримая уверенность, что я очень давно знаком с Линой, с этим домом-садом, что принадлежит этому дому, и все во мне воспротивилось возможности покинуть его и остаться одному в безликом равнодушии гостиницы.

— Вот и отлично, — сказала Лина. — Дайте мне руку. Пойдем в дом.

Лина показала комнату, в которой мне предстояло жить, помогла разобрать вещи, провела в бассейн с теплой, бурлящей колючими пузырьками водой. Бассейн был затенен почти сомкнувшимися над ним ветвями деревьев. Лина сидела на берегу, обхватив руками колени, и, когда я нырял, отсчитывала секунды, зажмуриваясь в веселом ужасе, если при счете «десять» я не показывался на поверхности.

Потом она увела меня на плоскую крышу дома, где расположился ее шумный зоопарк — полосатые говорящие кузнечики, шестикрылые птицы, синие рыбки, дремлющие в цветах, и самая обычная для меня, но крайне це-

нимая здесь земная кошка. Кошка не обратила на меня никакого внимания, и Лина сказала:

— А я была уверена, что она обрадуется. Даже обидно.

Лина оставалась со мной до самого вечера, и я мало кого видел, кроме нее. Иногда Лина просила прощения и убегала. Я говорил: «У вас же, наверно, много дел. Не обращайтесь на меня внимания». Но как только я оставался один, возвращалось тягостное ощущение одиночества, физического неудобства и тоски. Я подходил к полкам с книгами, вытаскивал какую-нибудь из них и тут же ставил на место, выходил в сад и возвращался снова в дом и все время прислушивался к звуку ее шагов. Лина прибегала, касалась меня кончиками пальцев и спрашивала:

— Вы не соскучились?

И я отвечал:

— Немного соскучился.

Раз я решился и даже рассказал ей о том, как ее присутствие исцеляет меня от недомоганий и дурных мыслей. Лина улыбнулась и ответила, что к ужину вернется ее брат, привезет лекарства, которые вылечат меня от последствий перелета.

— К утру вы будете как новенький. Все исчезнет.

— А вы?

— Я?

— Вы не исчезнете? Как добрая волшебница?

— Нет, — сказала Лина уверенно. — Я буду завтра.

За ужином вся семья, кроме больной бабушки, собралась за

длинным столом. Неожиданно для меня оказалось, что в доме, который казался совершенно пустым, живет не меньше десяти человек. Хозяин дома, усталый и бледный, сидел рядом со мной и следил за тем, чтобы я выпил все привезенные его сыном, студентом-медиком, лекарства. Лекарства, как им и положено, оказались неприятными на вкус, но я был послушен и никому не сказал, что единственным настоящим и безотказным лекарством считаю Лину. Лина сочувствовала мне и даже морщилась, если в ходе лечения мне попадалась особенно отвратительная таблетка.

Хозяин дома сказал, что его матери лучше. Она уснула. Несмотря на усталость и бледность, он был разговорчив, смешлив и являл собой явный контраст тому угрюмому человеку, который встретил меня на космодроме. Тогда он был обеспокоен состоянием матери, теперь же...

— Она проснулась, — сказал вдруг хозяин.

Я невольно прислушался. Ни кашля, ни вдоха — в доме абсолютная тишина.

— Я поднимаюсь к ней, — сказал его сын. — Ты устал, отец.

— Что ты, — возразил хозяин. — У тебя завтра занятия.

— А разве ты свободен?

— Мы пойдем вместе, — сказал отец. — Извините, гость.

Лина проводила меня до комнаты и сказала:

— Надеюсь, вы уснете.

— Обязательно, — согласился

я. — Особенно если среди лекарств было и снотворное.

— Разумеется, было, — сказала Лина. — Спокойной ночи.

Я и в самом деле быстро заснул.

На следующий день я встал совершенно здоровым. Я поспешил в сад, надеясь встретить Лину. Она меня ждала там, у бассейна. Я хотел было рассказать ей, как хорошо я спал, как я рад этому душному утру и встрече с ней, но Лина мне и рта не дала раскрыть.

— Ну и отлично, — сказала она, словно прочла мои мысли. — Бабушке тоже лучше. Сейчас отец отвезет вас в институт. А вечером я буду ждать. И вы расскажете, как работается, что интересного увидите.

— Вы и сами догадаетесь.

— Почему?

— Вы можете читать мысли.

— Неправда.

— Я не могу ошибиться. Вы ведь не стали дожидаться, пока я сам скажу, как себя чувствую. А вчера — помните, как ваш отец поднялся из-за стола, потому что проснулась бабушка. В доме было тихо. Он ничего не мог услышать.

— Все равно неправда, — сказала Лина. — Зачем читать чужие мысли? И ваши в том числе.

— Незачем, — согласился я. И мне было чуть грустно, что Лине дела нет до моих столь лестных для нее мыслей.

— Доброе утро, — сказал отец Лины, спускаясь в сад. — Вы сегодня совсем здоровы. Я рад.

— Все-таки я прав, — сказал я тихо Лине, прежде чем последовать за ее отцом.

— Зачем читать мысли? — ответила она. — У вас все на лице написано.

— Все?

— Даже слишком много.

Прошло несколько дней. Днем я работал, а вечером бродил по городу, выбирался в поля, в лес, к берегу большого соленого озера, в котором водились панцирные рыбы. Иногда я был один, иногда с Линой. Я привык к моим хозяевам, познакомился еще с двумя или тремя инженерами. Но за обычностью моего существования меня ни на минуту не оставляло странное ощущение действительной необычности окружавших меня людей. Я почти уверился в их способности к телепатии, но стоило мне заговорить об этом, собеседники лишь улыбались. В их отношениях между собой, в какой-то ровности и согласии, в повышенной чуткости друг к другу скрывалось качество, недоступное мне и потому вызывающее желание разгадать его.

Порой я чувствовал себя неловко с Линой, потому что ловил себя на какой-нибудь мысли, которой не хотел бы делиться с ней. Мне казалось, что она слышит беззвучные слова и внутренне посмеивается надо мной. Хотя, повторяю, Лина отрицала подобную возможность.

Раз я шел по улице. Улица была зеленой и извилистой, как почти все улицы в том городе. Переда мной шли мальчишки. Они

гнали мяч, а я шагал сзади, смотрел на них и боролся с желанием догнать их и самому ударить по мячу. Я не заметил торчащего из земли корня. Споткнулся, упал, стукнулся коленом о камень, и боль была так неожиданна и резка, что я вскрикнул. Мальчишки остановились, будто мой крик ударил их. Мяч одиноко катился под откос, а они забыли о нем, обернулись ко мне. Я попытался улыбнуться и помахал им рукой — идите, мол, дальше, догоняйте свой мячик, пустяки, мне совсем не больно. А они стояли и смотрели.

Я приподнялся, но встать не смог. Видно, растянул сухожилие. Мальчишки подбежали ко мне. Один, постарше, спросил:

— Вам очень больно?

— Нет, не очень.

— Я сбегая за врачом, — сказал другой.

— Беги, — сказал старший. — Мы подождем.

— Да что вы, ребята, — сказал я. — Растянул сухожилие. С кем не бывает? Сейчас пройдет.

— Конечно, — ответил старший.

И, как будто послушавшись его, боль ослабла, спряталась. Мальчишки смотрели на меня серьезно, молчали. Только самый маленький вдруг заплакал, и старший сказал ему:

— Беги домой.

Тот убежал.

Подошел врач. Он жил, оказывается, в соседнем доме. Осмотрел ногу, сделал укол, и мальчишки сразу исчезли, лишь стук

мяча еще некоторое время напоминал о них.

Врач помог мне добраться до дома. Я отказывался, уверял его, что пойду и сам.

— Мне не больно, и я могу наступать, — говорил я. — Только в самый первый момент была боль. Мальчики могли бы подтвердить.

— Вы гость у нас? — спросил врач.

— Да.

— Тогда понятно, — сказал врач.

Дома, несмотря на ранний час, все были в сборе. Бабушке стало хуже. Настолько, что надо было срочно везти ее в больницу оперировать.

Я подошел к Лине. Она была бледна, под глазами синяки.

— Все обойдется, будет хорошо, — сказал я.

Она не сразу расслышала. Оглянувшись, словно не узнала.

— Все обойдется, — повторил я.

— Спасибо. Вы упали?

— Ничего страшного. Уже не больно.

— А бабушке очень больно.

— А чего же ей не сделают укол? На меня он подействовал сразу.

— Нельзя. Уже ничего не поможет.

— Я хотел бы быть чем-нибудь полезен.

— Тогда уходите. — Она сказала так, не желая меня обидеть. Ровным, бесцветным голосом, будто попросила принести воды. — Отойдите подальше. Вы же мешаете.

Я ушел в сад. Я был лишним. Я и в самом деле старался не обижаться. Ей же плохо. Им всем плохо.

Я видел, как они уехали. Я остался один в доме. Поднялся наверх, в зоопарк. Кошка узнала меня, подошла к сетке и потерлась о нее, выгибая хвост. Домашним кошкам не положено жить в клетках, но она была здесь экзотическим, редким зверем. Я тоже был редким зверем, который не понимал происходящего вокруг и не мог рассчитывать на понимание. Близость, дружба с этими людьми, достигнутая, казалось, за последние дни, исчезла. Моя неполноценность обнаружилась. Но в чем неполноценность? Мне надо поехать в больницу — там я узнаю нечто важное. Никто не звал меня туда, и, вернее всего, мое присутствие будет нежелательным. И все-таки я не мог не поехать. Это было больше чем любопытство, это была погоня за тайной, которая вертелась между пальцев, как моль, близкая, очевидная, но, так же как моль, неуловимая.

Меня никто не остановил у входа в больницу. Лишь девушка у пульта спросила, помочь ли мне. Я назвал имя бабушки, и девушка проводила меня до лифта.

Я шел по длинному коридору, странному, совсем не больничному коридору. Вдоль стен его стояли кресла, вплотную друг к другу. В креслах сидели люди. Они были здоровы, совершенно здоровы. Они сидели и молчали.

У матовой двери в операционную я увидел моих друзей. И Ли-

ну, и ее отца, и братьев. Тут же, в соседних креслах, сидели наши общие знакомые — те, кто работал вместе с нами, жил рядом. Лина взглянула на меня. Зрачки ее скользнули по моему лицу. И в них была боль.

Я опустился в свободное кресло. Неловко было рассматривать людей, которым до меня нет дела. Я уже знал, в чем заключалась их странность.

Ждать пришлось недолго. Неожиданно, словно невидимый колдун провел над ними ладонью, люди ожили, просветлели, зашевелились. Кто-то сказал: «Дали наркоз». Они договаривались, кто останется дежурить здесь, кто вернется после операции, когда наркоз перестанет действовать и вернутся боли.

Лина подошла ко мне. Я встал.

— Извините, — сказала она. — Я очень виновата, но вы же понимаете...

— Понимаю. Как же я могу сердиться? Мне только грустно, что я чужой.

— Не надо. Вы не виноваты.

— Знаете, когда я сегодня упал, ко мне подбежали ребята. И оставались рядом, пока не пришел доктор.

— А как же иначе?

К нам подошел ее отец.

— Спасибо, что вы пришли, — сказал он. — Захватите, пожалуйста, с собой Лину. Мы тут без нее справимся. Профессор уверил меня, что операция пройдет удачно.

— Я останусь, отец, — сказала Лина.

— Как знаешь.

— Поймите, — сказала Лина, когда отец отошел. — Очень трудно было бы объяснить все с самого начала. Для нас это так же естественно, как есть, пить, спать. Детей учат этому с первых дней жизни.

— Это всегда так было?

— Нет. Мы научились несколько поколений назад. Но потенциально это было всегда. Может, и в вас тоже, скрытое в глубине мозга. Даже странно думать, что другие миры лишены этого. Ведь в каждом разумном существе живет желание обладать такой способностью. Неужели нет?

— Да, — сказал я. — Если рядом с тобой человеку плохо. Особенно если плохо близкому человеку, тебе хочется разделить с ним боль.

— И не только боль, — возразила Лина. — Радость тоже. Помнишь первый день, когда ты прилетел? Ты себя гадко чувствовал. Отец мало чем мог тебе помочь — основной груз бабушкиной боли падает на него — он сын. Даже встречая тебя на космодроме, он должен был помогать бабушке. Это тем труднее, чем дальше ты от человека, которому помогаешь. А тебе показалось, что отец невежлив. Правда?

— Не совсем, но...

— А ведь ему пришлось еще взять на себя и твою дурноту. Ты — гость. Я просто удивляюсь, как отец доехал до дома. И он сразу сменил меня у бабушкиной постели. Я увидела тебя в окно, и ты мне понравился. Я осталась с тобой весь день, и весь

день из-за тебя у меня разламывалась голова.

— Прости, — сказал я. — Я же не знал.

Я подумал, что именно сейчас, в больнице, мы незаметно перешли на «ты». Наверно, следовало бы сделать это раньше.

— Прости, — повторил я.

— Но ведь так даже лучше. Представляю, как бы ты возмутился, узнав о подобном гостеприимстве.

— Я бы уехал.

— Я знаю. Хорошо, что ты не уехал. А теперь иди. Я вернусь утром. И постучу к тебе в дверь. Нам ведь есть о чем говорить.

— Да, — согласился я.

— Если ты будешь спать, я громко постучу и разбуджу тебя.

— Я не буду спать.

Я вновь миновал длинный коридор больницы, где сидели родственники и друзья тех, кому плохо. Они пришли сюда, чтобы разделить боль других людей. И не было никакой телепатии. Просто люди знали, что нужны друг другу.

Я добрал до дому пешком. Чуть побаливала нога, но я старался не думать о боли. Иногда она возникала и старалась овладеть мною. И тот из прохожих, кто оказывался ко мне ближе всех, оглядывался, смотрел на меня, и сразу становилось легче. Но я прибавлял шаг, чтобы не утруждать людей. Мне встретились молодые женщины. Они несли по большой охапке цветов. Они смеялись, болтая о чем-то веселом. Они увидели мою постную физиономию и наградили

меня своей радостью. Чужая радость обдала меня душистыми свежими брызгами. Старик, сидевший на лавочке, опершись о трость, подарил мне спокойствие. Так бывало со мной и раньше, но я не замечал связи между своими ощущениями и другими людьми.

Им и труднее и легче жить, чем нам. Они могут дарить и принимать дары. Но при этом они должны дарить и принимать дары. Ни один из них не может отгородиться от людей, потому что если мы видим человеческие слезы, то они чувствуют их. А ведь зрение куда менее совершенно.

В тот день я стал завистником. Я завидую им и даже порой чувствую к ним нечто вроде неприязни. Я всегда буду чужим для них, как нищий среди щедрых богачей. Я могу принимать дары, но не способен дарить.

Когда срок моей поездки истек, я улетел на Землю. На космодром меня провожала только Лина. Остальные простились в городе. Так было уговорено заранее.

Мы сидели в пустынном и безликом зале ожидания. Времени до отлета оставалось достаточно, чтобы многое сказать, и слишком мало, чтобы наговориться.

— Я хотела бы улететь с тобой на Землю, — сказала Лина.

— Нет, — сказал я. — Ты же знаешь. Ты погибнешь на Земле. Здесь груз радости и горя распределен между всеми. На Земле ты будешь раздавлена тоской и болью, весельем и бешенством, скукой и нетерпением миллиардов людей. Ты не сможешь справиться

ся с таким грузом. Ты же не сможешь делить только мою радость и только мою боль.

— Не смогу, — согласилась Лина. — Ты прав. И это очень печально.

— А я не смогу жить с тобой, понимая, как ты одинока, не в силах прийти к тебе на помощь, если моя помощь станет тебе нужна.

— Но, может, ты все-таки останешься с нами? Здесь? Со мной?

В голосе ее не было уверенности.

— Ты вспомни, — сказал я, — тот день, когда твоей бабушке сделали операцию. Я пришел к вам, но я был слепым среди зрячих. Я не могу оставаться.

Это все уже было сказано и вчера и позавчера. Мы лишь повторяли диалог, зная, чем он закончится, но мы не могли не повторять его, потому что оставалась нелепая надежда, что можно найти какой-то компромисс, что-то придумать, и тогда не будет нужды расставаться.

А когда я уже стоял у трапа,

Лина подошла ко мне совсем близко, так что я видел черные точки в ее серебряных глазах, и сказала:

— Запомни, каково мне сейчас.

И к моей тоске прибавилась ее тоска, и стало темно, и я схватился за ее руку, чтобы не упасть. Но никто из проходивших мимо пассажиров не помог мне, не разделил со мною эту тоску, потому что в жизни есть моменты, когда надо удержаться от того, чтобы прийти на помощь. Хотя трудно было это проходившим, и они старались обойти нас стороной.

Потом был путь, перегрузки и тряска. Но я был совершенно здоров и чувствовал себя отлично. Я знал почему — там, далеко, Лина сидит в своей комнате на втором этаже и сжимает ладонями голову — так больно и дурно ей. И я был сердит на нее, я старался убедить ее: забудь обо мне, глупая, милая, не отнимай у меня эту боль...

Мне так хочется вернуться туда, но я никогда не смогу этого сделать.

ПОЛОМКА НА ЛИНИИ

Дом наш старый. Настолько старый, что его несколько раз брали на учет как исторический памятник и столько же раз с учета снимали — иногда по настоянию горсовета, которому хотелось этот дом снести, иногда ввиду отсутствия в нем исторической ценности. Со временем его обязатель-

но снесут, но, очевидно, это случится нескоро.

Лет триста назад в доме жила семья боярина, который ничем не прославился. Потом боярин умер, потомки его измельчали и обеднели, и дом пошел по рукам. К концу прошлого века его разделили на квартиры — по одной на каж-

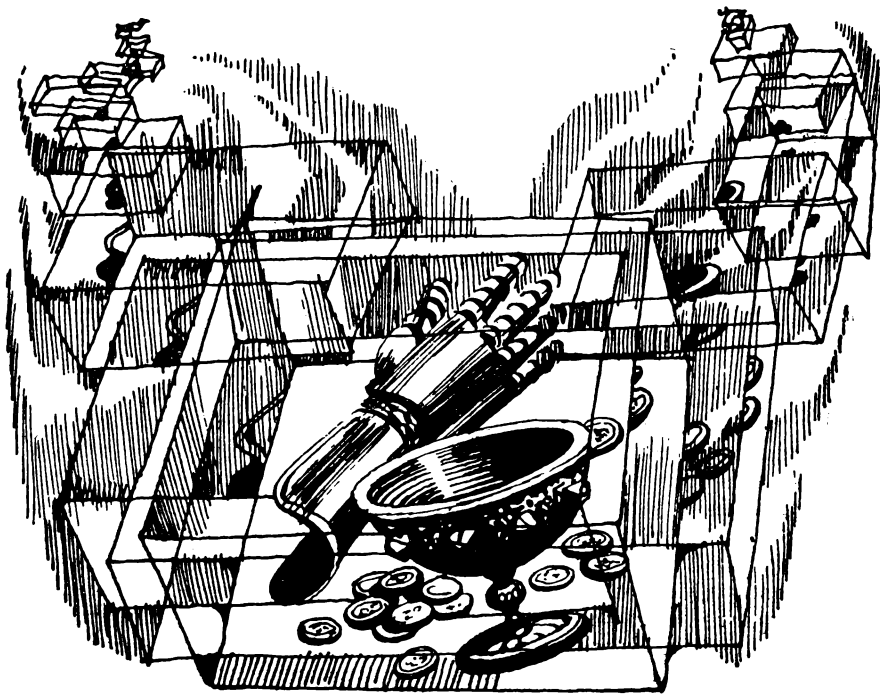
дом из трех этажей, — а после революции дом уплотнился.

В нашей квартире на первом этаже восемь комнат и пять семей. Сейчас в ней остались в основном старики и я. Молодежь рассосалась по Химкам и Зюзиным. Меня же моя комната вполне устраивает. В ней двадцать три метра, высота потолков три тридцать, со сводами, и есть альков, в котором раньше стояла моя кровать, а теперь я завалил его книгами. Указывать мне на беспорядок некому. Мать уехала к отчиму в Новосибирск, а на Гале я так и не женился.

В ту ночь я поздно лег. Я читал последний роман Александра

Черняева. Недописанный роман, потому что Черняев умер от голода в Ленинграде в сорок втором году. Этот его роман долго не печатали и только сейчас, когда вышло его собрание сочинений, поместили в последнем томе вместе с письмами и критическими статьями.

Это очень обидно — ты знаешь, что читать тебе осталось страниц десять, не больше. И действие только-только разворачивается. И оно так и не успеет развернуться, и ты никогда уже не узнаешь, что же хотел сделать старик Черняев со своими героями, и никто уже не допишет этот роман, по-



тому что не сможет увидеть мир таким, каким его видел Черняев. Я отложил том и не стал перечитывать ни критических статей, ни комментариев к роману, написанных известным специалистом по творчеству Черняева. Специалист делал предположения, каким бы был роман, если бы писатель имел возможность его закончить. Я знал, что Черняев писал роман до самого последнего дня, и знал даже, что на полях одной из последних страниц было приписано: «Сжег последний стул. Слабость». Больше Черняев не позволил себе ни одного лишнего слова. Он продолжал писать. И писал еще три дня. И умер. А рукопись нашли потом, недели через две, когда пришли с Ленинградского радио, чтобы узнать, что с ним.

Как видите, мысли у меня в тот вечер были довольно печальные, и герои книги никак не хотели уходить из комнаты. Они сиделись мне что-то сказать... И тут раздался звон.

Стены в нашем доме очень толстые. Наверно, конструктор конца семнадцатого века сделал запас прочности процентов в восемьсот. Даже перегородки между комнатами — кирпича в три. Так что когда соседи играют на пианино, я практически ничего не слышу. Поэтому я не сомневался, что звон раздался именно у меня в комнате. Станный такой звон, будто кто-то уронил серебряную вазу.

Я протянул руку и зажег свет. Герои книги исчезли. Тишина. Что бы такое могло у меня упасть? Я полежал немного, потом

меня потянуло в сон, и я выключил свет. И почти немедленно рядом что-то гроыхнуло. Коротко и внушительно. Мне стало не по себе. Я человек абсолютно не суеверный, но кто мог бы кидаться всякими предметами в моей комнате?

На этот раз я зажег свет и поднялся с кровати. Я обошел всю комнату и даже заглянул в альков. И ничего не нашел. А когда я повернулся спиной к алькову, оттуда снова послышался звон. Я подпрыгнул и повернулся на сто восемьдесят градусов. И опять же ровным счетом ничего не обнаружил.

Позвякивание уже не прекращалось. Через каждые десять секунд раздавалось — дзззнь. Потом пауза. Я отсчитывал — раз-и-два и... после десятой секунды снова — дзззнь.

Я, честно говоря, чуть с ума не сошел от беспокойства. У тебя в комнате кто-то звенит, а ты не можешь догадаться, что случилось. Я начал систематическое исследование комнаты. Я ждал, пока раздастся звон, и потом делал шаг в том направлении, откуда слышался звук. Я уже догадался, что он доносится со стороны гладкого куска стены между альковым и дверью. После четвертого шага я подошел к самой стене и приложил ухо к ней. «Раз-и...» — считал я. На десятой секунде прямо рядом с ухом раздался четкий звон.

Так, решил я, будем думать, чем объясняется этот феномен. Стена выходит другой своей сто-

роной в коридор, в глубокую выемку, в которой раньше стояли два велосипеда, а когда велосипеды уехали в Химки-Ховрино, то бабушка Каплан поставила туда шкаф под красное дерево. В этом шкафу, по общему согласию, мы всей квартирой хранили барахло, которое надо бы выбросить, но пока жалко.

Ясно. Надо выйти в коридор и посмотреть, что происходит в шкафу. Я и не ожидал ничего там увидеть — стена ведь толстая, а звон * раздается у самого уха. Но все-таки надел тапочки и выглянул наружу. Все спали. Коридор был темен, я зажег лампочку и при свете ее убедился, что в коридоре никого нет. Я подошел к шкафу, приоткрыл его. Мне пришлось придержать детскую ванночку, полную довоенных журналов, которая сразу решила вывалиться наружу. Другой рукой я подхватил пустую золоченую раму и навалился животом на остальные вещи. В такой позе я стоял, наверное, минуты полторы. Наконец мне показалось, что я слышу отдаленный звон. Может быть, только показалось — уж очень сильно я прислушивался. В любом случае звуки доносились не из шкафа. Я закрыл шкаф и вернулся в комнату. И только вошел, как тут же услышал — дзинь...

Наверное, целый час я прикладывал ухо к разным точкам стены, пока не убедился совершенно точно, что звук рождался за серым пятном на обоях, на уровне моей груди, в восьмидесяти сантиметрах от угла алькова. Теорети-

ческая часть моего исследования окончилась. Теперь пора было переходить к эксперименту.

Мне уже совершенно расхотелось спать. Я подвинул к стене стул и принялся думать, отрывать мне обои или воздержаться. И не знаю, к какому бы я пришел решению, если бы не сильный удар, почти грохот, сменивший равномерное позвякивание. И тут наступила тишина.

Нож я взял на кухне. Со стола бабушки Каплан. Нож был длинный, хорошо заточенный (моя работа) и с острым концом. То, что нужно. Еще я взял молоток. Простукать стену. Странно, что я не догадался сделать этого раньше, но меня можно понять — не каждый день в вашей стене заводятся привидения. Я стучал по стене не очень громко. Все-таки соседи спят. В стене простучивался четырехугольник, семьдесят на семьдесят, за которым явно находилась пустота. Теперь сомнений не оставалось. Я взялся за нож и вырезал кусок обоев в центре этого квадрата. Обои отделились с легким треском, обнаружив под собой обрывки газеты и клочок голубой стены. Даже интересно, я вдруг вспомнил, что такой стена была во время войны, и даже вспомнил, какая у нас тогда стояла мебель, и вспомнил, что у нас было затемнение — черное бумажное полотно с мелкими дырочками — как звездное небо. И я его называл не затемнением, а просвещением, и мама всегда смеялась.

У самого уха снова что-то звякнуло. Я постучал острым концом

молотка по синей краске и отвалил кусок штукатурки. Потом подумал, что надо бы подстелить газету на пол, но не стал этого делать — все равно уже насорил.

Из-за штукатурки выглянул розовый кирпич и желтоватая полоска раствора вокруг. Кирпич сидел крепко, и я провозился с ним минут десять, пока он не зашатался и не покинул привычное место.

За кирпичом была черная дыра. Я зажег спичку и посветил внутрь. Спичка осветила кирпич на противоположной стороне тайника и что-то блестящее внизу. Я осторожно запустил туда руку и с трудом дотянулся до дна ниши. Пальцы захватили металл. Кружочки металла. Я вытянул их на свет. Это были старинные серебряные монеты.

Они были теплыми.

Вот это да! Клад. В собственной комнате найти клад! Удивительно. А впрочем, разве мало кладов бывает в стенах старых домов? Правда, когда об этом читаешь в газете или в книге — одно, но когда это случается с тобой...

Я снова запустил руку внутрь и достал еще пригоршню. Что-то более крупное лежало там же, но чтобы достать его, надо было расширить отверстие. Я рассмотрел монеты получше, они были очень старыми и нерусскими. На них были изображены какие-то древние цари, и на физиономиях царей стояли глубокие клейма с неразборчивым рисунком. Что-то вроде всадника с копьем. Я весь перемазался и чудом не разбудил весь дом, пока вынимал еще ряд кир-

пичей. Теперь я мог засунуть в нишу голову.

Но делать этого я не стал. Я взял со стола лампу и поставил ее на пододвинутый стул. Второй стул поставил рядом. Теперь у меня были все возможности для изучения дыры на самом высоком научном уровне. Я отряхнул с себя известку, подложил под лампу стопку книг повыше, чтобы свет падал в нишу, и тогда заглянул внутрь.

И вот что я увидел.

Ниша с кладом представляла собой правильный кубик, вытесанный в стене. Задняя стенка ниши была гладкой и новенькой, будто кирпичи уложили в нее только вчера, и для крепости она была армирована железными полосами. Боковых стенок я сразу не разглядел, потому что глаза предали меня: вместо того чтобы систематически изучать открывшуюся передо мной картину, они усталились в дно ниши, заваленное монетами. Кроме того, на дне лежала чаша из какого-то драгметалла и, как ни странно, железная рука. Наверное, от доспехов.

Я достал руку. Рука была тяжелой, пальцы ее были чуть согнуты, чтобы лучше держать меч или копье, она доставала до середины запястья, как дамская перчатка, и еще на ней были ремешки, чтобы лучше крепить к руке. Я положил руку на стул и потянулся за чашей, и тут случилась совсем удивительная вещь.

Сверху на мою руку упала еще одна монета. Теплая серебряная монета. Как будто она отклеилась от потолка ниши. Монета скати-

лась по моей кисти, свалилась на кучу других монет и звякнула очень знакомо: дзинь.

Я даже замер. Обомлел. Ведь совсем забыл, что полез в стенку именно потому, что в ней что-то звякало. А как увидел монеты, решил, что это старый клад.

Я посветил лампой на потолок ниши. Потолок был черный, блестящий, без единого отверстия и прохладный на ощупь. Никакая монета приклеиться к нему не могла.

Я подождал, не случится ли что-нибудь еще, но так как ничего не случилось, выгреб наружу сокровища, разложил их на стуле. И заснул, сидя на стуле, раздумывая, то ли пойти с утра в музей, то ли узнать сначала, не пустяки ли я нашел. Еще будут смеяться.

К утру, сам уж не знаю как, я перебрался на кровать и проснулся от звона будильника. С минуту я пытался сообразить, что же такое удивительное произошло ночью, и только когда увидел в стене черную дыру, а на полу груды извести, обрывки обоев и обломанные кирпичи, понял, что все это был не сон — я в самом деле обнаружил клад в своей стене, и притом клад очень странного свойства. Но в чем была его странность, я вспомнить не успел, потому что в дверь постучала бабушка Каплан и спросила, не брал ли я ее нож.

А потом началась обычная утренняя спешка, потому что в ванной был дедушка Каплан, и я вспомнил, что с утра совещание у главного технолога, и мне обязательно надо быть там, и кончилось русское масло, и пришлось стрель-

нуть его у Лины Григорьевны... Правда, когда я убежал, то успел задвинуть дыру книжной полкой и сунуть в карман пару монет, а в чемоданчик железную руку.

На заседании я совсем было забыл о находке, но как только совещание кончилось, подошел к Митину. Он собирает монеты. Я показал ему одну из моих монет и спросил его, какой это страны.

Митин отложил в сторону портфель, погладил лысину и сказал, что монета — чепуха. И спросил, где я ее достал. Наверно, у бабушки и, может, отдам ему. Но надо знать Митина. Митин — коллекционер, и хотя всегда жалуется, что его кто-то там обманул, сам любого обманет. Уже по тому, как он эту монету держал в руках и крутил, видно было, что монета не простая.

— Это неважно, откуда я ее достал, — сказал я. — Мне она самому нужна.

— Кстати, ты просил меня достать однотомник Булгакова, — сказал Митин. — У меня, правда, второго нет, но хочешь, я тебе за неч свой экземпляр отдам?

— Ну и ну, — сказал я. — Его же у тебя ни за какие деньги не выманишь.

— Просто, понимаешь... — потом он, видно, понял, что я его раскусил, и сказал: — Нет у меня этой монеты в коллекции. А нужна, хоть она и подделка.

— Почему же подделка? — спросил я.

— Ну, новодел. Видишь, какая новенькая, Как будто вчера из-под пресса.

— Ага, — сказал я. — Только вчера. Сам их делаю. А как она называется?

Митин с сожалением расстался с монетой и сказал:

— Ефимок. Русский ефимок.

— А почему на ней физиономия нерусская?

— Долго объяснять. Ну, в общем, когда у нас еще не было достаточного количества своих рублей, мы брали иностранные, европейские талеры, это еще до Петра Первого было, и ставили на них русское клеймо. Назывались они ефимками. А теперь скажи, где достал?

— Потом, Юра, — ответил я ему. — Потом. Может, и тебе достанется. Значит, говоришь, до Петра Первого?

— Да.

Я подумал, что если буду в музей давать, то одну монету оставляю для Митина. В конце концов Булгакова он мне своего хочет отдать.

В лаборатории я как бы невзначай достал железную руку. Шутки ради. И сказал ребятам, когда они сбежались:

— Давно нужна была. А то у меня слишком мягкий характер. Теперь будет у меня железная рука. Так что, сослуживцы и сослуживцы, держитесь.

Девчата засмеялись, а Тартаковский спросил:

— Ты и целого рыцаря принести можешь?

— Рыцаря? Хоть завтра.

Но на самом деле в тот день работа у меня валилась из рук. Наконец я не выдержал, подошел к

Узянову и попросил его отпустить меня домой после обеда. Сказал, что потом отработаю, что очень нужно. И он, видно, понял, что в самом деле нужно, потому что сказал: иди, чего уж.

Я открыл входную дверь ключом, звонить не стал и быстро прошел к себе в комнату. Запер за собой дверь — зачем пугать бабушку Каплан, если она нечаянно ко мне зайдет? Потом отодвинул полку с книгами и заглянул в свой тайник. Тайник был на месте. Значит, не приснилось. А то знаете, хоть и железная рука в портфеле. все равно иногда перестаешь сам себе верить — какое-то раздвоение личности наступает. В нише было темно. Свет из окна почти не падал в нее. Я включил лампу и сунул ее внутрь. И тут я удивился, как давно не удивлялся. В нише лежали разные вещи, которых утром не было. Там были (я их вынимал и потому помню по порядку): кинжал в ножнах, два свитка с красными висячими печатями, кандалы, шлем, чернильница (а может, солонка), украшения всякие и два сафьяновых сапога. Теперь это уже не было похоже на клад. Это было сплошное безобразие. Чья-то наглая шутка.

Постойте, а почему шутка? Кто так будет шутить? Бабушка Каплан? Но ведь ночью она спит, и к тому же у нее с возрастом атрофировалось чувство юмора. Еще кто из соседей? А может, я сошел с ума? Тогда и Митин сошел с ума, а он человек трезвый.

Я взял в руки сапог. Он еще пахнул свежей кожей и податливо

гнулся в руках. Я примерил шлем. Шлем с трудом налез мне на голову. Он был тяжелый и настоящий, не жестяная подделка для Мосфильма. Так я и сидел в шлеме, с сагомом в руках. И ждал у моря погоды. Я перебирал в памяти все события ночи. Звон и удары в стене, теплые монеты, железная рука. Потом вспомнил, как монета свалилась с потолка ниши мне на руку. Я размышлял и ничего не смог придумать.

Потом в полной растерянности я сунул руку и ощущал потолок ниши. Он был скользким, как зеркало, отражающее сплошную ночь.

Я вынул еще несколько кирпичей, чтобы удобнее было работать, и через час ниша полностью лишилась передней стенки. Я смог разглядеть нишу во всех подробностях. Железные полосы на задней стенке оказались не железными, а из того же черного зеркального сплава, что и потолок, а одна из боковых стенок была поделена белыми полосками на квадраты. По низу ее шли какие-то линии, и между ними были тонкие щели. Этими щелями я и решил вплотную заняться. Я сунул голову в нишу, чтобы удобнее было работать, и в тот же момент меня ударили по голове, да так сильно, что я чуть не получил сотрясение мозга. Я вырвал голову наружу. Больно стукнув меня по кончику носа, на пол ниши упал старинный пистолет с чуть загнутой ручкой. Я посмотрел вверх. Потолок был все так же гладок и черен. Чертовщина. Нужно было тебе жить двадцать шесть лет при Советской

власти, чтобы на собственном опыте убедиться, что потусторонние силы все-таки есть!

Ну, а если их все-таки нет? — вдруг подумал я, крутя в руке пистолет. Если вся эта чертовщина имеет какое-то объяснение? Тогда какое?

На что это все похоже? — думал я, глядя в черную пасть ниши. Что это напоминает из знакомых мне вещей? Понимаете, я решил искать ответ этой задачи по аналогии.

Я думал долго, минут двадцать. И вдруг мне пришла в голову аналогия. Эта шутка напомнила мне почтовый ящик. Да, самый обыкновенный почтовый ящик. В него через щель кидают письма и бандероли. Так. Пойдем дальше. Если это особенный почтовый ящик, то, значит, в нем должно быть отверстие для получателя. Тут и таилась загвоздка. Получателя не было. Ведь пока я не сломал стенку, ящик не имел выхода. Все, что в него попадало, оставалось в нем лежать.

Посмотрим на эту проблему с другой стороны. Кто и что в этот почтовый ящик опускает? Кто — пока неизвестно. Но что — я уже знаю. Всякие русские вещи допетровской эпохи. Откуда их берут? Из музея? Воруют? Мало правдоподобно.

И третье. До вчерашней ночи в почтовый ящик никто ничего не клал. Сегодня положил. Если бы это случилось раньше — за последние двадцать лет, — то я бы услышал какой-нибудь звон. Или мама слышала бы. У нее хороший слух.

Значит, ящик начал действовать только вчера. А может быть?..

И тут мне пришла в голову совершенно сумасшедшая идея, которую можно объяснить только тем, что я попал в совершенно сумасшедшую ситуацию.

Значит, у меня есть почтовый ящик, из которого нет выхода. В него кладут вещи очень давно прошедших лет. И до сегодняшнего дня не клали.

А что, если сегодня отверстия этого нет, а тогда оно было? Понимаете меня? Тогда, когда клали эти вещи. Триста лет назад. Когда этот дом был новеньким. И что, если это отверстие есть тогда, когда эти вещи положено вынимать? В будущем. Через сто лет. Или через двести лет. Когда будут жить те люди, которые смогут ездить на несколько сот лет в прошлое.

Если эта сумасшедшая идея имеет смысл, то становится понятно, почему вещи стали появляться только вчера. Не потому, что ящик заработал вчера, а потому, что он вчера сломался. Ну да, сломался. На линии «прошлое — будущее» полетел какой-то транзистор. И получилась дыра. А может, пробило изоляцию — мало ли что может случиться. И вот ко мне в комнату, в мое время начали падать вещи, раздобытые археологами будущего в далеком прошлом.

Идея мне понравилась. Но какова моя роль во всей этой истории? Вызвать электрика, чтобы посмотрел нишу? А потом отправил меня в сумасшедший дом? Воспользоваться плодами поломки и

сбирать жатву с чужой работы? Выменять у Митина всю его библиотеку? Тоже какая-то чепуха получается.

Я поставил горящую лампу в нишу и протер носовым платком боковую стенку. Потом ощупал ее пальцами и вставил в узкую щель внизу кончик ножа бабушки Каплан, который я снова унес из кухни. Я действовал осторожно, потому что боялся сломать машину навсего. И бывает же такое везение — вдруг эта стена поддалась и открылась. За ней оказался пульт, и все стало совершенно ясно. Я был прав.

Центр пульта занимала временная шкала. Вдоль нее шли светящиеся точки. Одна из них, возле года 1667-го, горела ярче других, и именно возле нее стояла стрелка. Кончалась шкала 2056 годом.

Внизу — густое переплетение проводов и проводников и ряд кнопок неизвестного мне пока назначения. Вдруг точка у года 1667-го загорелась ярче, и в тот же момент я почувствовал над головой гудение. Я понял, что все это может значить, и отдернул голову. Небольшая книга в кожаном переплете с застежками глухо стукнулась о пол ниши. Я успел заметить, что в тот момент, когда она упала, в потолке появилось отверстие точно в размер книги. Все ясно. Я угадал. Красным светом вспыхнула на мгновение точка 1967 года. Конечная станция не загорелась. Ну что ж, очевидно, они пока не заметили поломки и продолжают работать впустую. Представляете, может быть, це-

лый НИИ там, в 2056 году, сидит у этой самой ниши и ломает голову, почему к ним не поступают образцы. Лучше смотреть надо, товарищи, подумал я. Как же дать им понять? Может, они так и не видят помаргивания в 67-м? А пока я взял отвертку и стал проверять контакты. Это заняло у меня еще часа два. Я действовал почти наугад. В схеме я так толком и не разобрался, хоть с детства числюсь в радиолюбителях. Я копался и размышлял о том, что интересно бы побывать в будущем и узнать, как там живут люди, и удастся ли мне сделать что-нибудь толковое в жизни, и отчего я умру. А потом я подумал, что все это чепуха, а, наверное, жизнь не такая плохая, если какие-то археологи работают в 1667 году и у наших потомков есть время для таких экспедиций. И еще я думал, что неплохо бы побывать и в прошлом. И зайти, например, к писателю Александру Черняеву и узнать, как же он собирался окончить свой роман.

И тут я обнаружил поломку. Вы имеете полное право мне не верить. Куда уж мне. Но я замотал разрыв фольгой — паяльника у меня не было, и решил посмотреть, что будет дальше. Я был страшно горд, что нашел все-таки этот чертов контакт. И тут загорелась снова лампочка 1667 года, и снова раздалось над головой слабое гудение. Но я ничего не увидел, и ничего не упало сверху, только загорелась вторая лампочка, уже не в моем году, а прямо в 2056-м. Все правильно. Они получили свою посылку. Я могу спать спокойно.

Я откинулся на стуле и понял, что жутко устал и что уже темно. И что я сам не очень верю в то, что произошло. И не знаю, как отплатить по назначению скопившееся у меня барахло.

В дверь постучали.

— Кто там? — спросил я.

— К тебе, — сказала бабушка Каплан. — Ты что, звонка не слышишь? Я должна за тебя открывать? Ты снова мой нож взял?

Я подошел к двери и сказал:

— Нож я отдам попозже. Не сердитесь.

Она добрая старуха. Только любит поворчать. Это возрастное.

За дверью стоял человек лет сорока, в синем комбинезоне, с чемоданчиком в руках.

— Вы ко мне? — спросил я.

— Да. Я к вам. Разрешите войти?

— Входите, — сказал я и тут вспомнил, что войти ко мне нельзя.

— Одну минутку, — сказал я, захлопнул дверь перед его носом и срочно задвинул на место полку с книгами.

— Извините, — сказал я, впуская его, — у меня ремонт и немного беспорядок.

— Ничего, — ответил он, закрывая за собой дверь.

И тут он увидел кирпичи на полу. И сказал:

— Я представитель исторического музея. Мы получили сведения, что вами найден клад большой ценности, и мы хотели бы ознакомиться с ним.

Что-то в речи этого человека, в манере держать чемодан и в чем-то еще неуловимом для других, но

понятном мне, проникшему в тайны времени, подсказало единственно правильное решение: не из музея он.

— Я все уже починил, — сказал я.

— Что вы починили?

— Ваш почтовый ящик.

Я отодвинул полку и подвел его к нише. Я показал ему контакт и сказал:

— Вот только паяльника у меня не было, пришлось фольгой замотать.

Тут загорелась лампочка в 1667 году, и он понял, что я все знаю.

— Ну что ж, — сказал он. — Рассказывайте. Насколько я понимаю, вы умеете держать язык за зубами. Это очень важно.

— Да, важно. И я буду его там держать. Только захватите с собой остальное добро. Мне оно ни к чему.

Почтальон-механик из 2056 года запаял контакт, переправил в будущее вещи, и потом мы с ним заделали дыру в стене так, что даже мне не догадаться, где она была. И он очень благодарил меня и немного удивлялся моей сообразительности, но, когда я его спросил, что будет через сто лет, он отвечать отказался и сказал, что я сам должен понимать, — сведения такого рода он разглашать не может.

Потом он спросил, чего бы я хотел. Я сказал, что спасибо, ничего.

— Так, значит, никаких просьб? — спросил он, берясь за ручку чемоданчика.

И тут я понял, что у меня есть одна просьба.

— Скажите, ваши люди бывают в разных годах?

— Да.

— И двадцать лет назад?

— И тогда. Только, разумеется, со всеми предосторожностями. И об этом никто не знает.

— А во время войны и блокады кто-нибудь был в Ленинграде?

— Конечно.

— Вот что, выполните такую просьбу. Мне надо передать туда посылку.

— Но это невозможно.

— Вы сказали, что выполните мою просьбу.

— Что за посылка?

— Одну минутку, — сказал я и бросился в кухню. Там я взял две банки сгущенного молока, и полкило каплановского масла из холодильника, и еще пакет сахара — килограмма в два весом. Я сунул все это в большой пластиковый мешок Лины Григорьевны и вернулся в комнату. Мой гость из будущего подметал пол.

— Вот, — сказал я. — Это вы должны будете зимой сорок второго года в январе месяце передать писателю Черняеву, Александру Черняеву. Ваши его знают. И адрес его сможете найти. Он умер от голода в конце января. А ему надо продержаться еще недели две. Через две недели к нему придут с радио. И не смейте отказываться. Черняев писал роман до последнего дня...

— Да поймите же, — сказал гость. — Это невозможно. Если

Черняев останется жив, это может изменить ход истории.

— Не изменит... сказал я убежденно. — Если бы вы так боялись прошлого, то не брали бы вещей из семнадцатого века.

Я сказал это по наитию свыше, но гость улыбнулся.

— Я не решаю таких вопросов, — сказал он. — Давайте я возьму вашу посылку. Только сорвите наклейки с банок. Таких не было тогда в Ленинграде. Я поговорю в наше время. Еще раз очень вам благодарен. Спасибо. Может быть, увидимся.

И он ушел. Как будто его и не было. У меня даже появился соблазн снова сорвать обои и заглянуть в нишу. Но я знал, что этого никогда не сделаю. И он тоже понимал это, а то бы не пришел ко мне.

На следующий день я нашел у себя в кармане две забытые монеты. Я подарил одну Митину, а другую оставил себе, на память. Митин принес мне, как и обещал, однотомник Булгакова, а потом сказал:

— Знаешь, я нашел дома том литературного наследства. Там есть воспоминания о Черняеве. Тебе интересно?

Я сказал, что, конечно, интересно. Я уже понимал, что они меня не послушались и не передали старику моей посылки. Да и, конечно, чепуху же я порол. Ведь большим тиражом отпечатана биография писателя и там сказано, что он умер именно в сорок втором году.

Я даже посмеялся над собой. Тоже мне теоретик.

Вечером я прочитал статью о Черняеве. Она рассказывала, как он жил в Ленинграде в блокаду, как работал и даже ездил на фронт выступать перед бойцами. И вдруг в конце статьи я читаю следующее, хотите — верьте, хотите — нет:

«Зимой, кажется в январе, я зашел к Черняеву. Александр Григорьевич был очень слаб и с трудом ходил. Мы с ним говорили о положении на фронте, о блокаде, и он мне сказал вдруг:

— Со мной случилась странная история. На днях получил посылку.

— Какую? — спрашиваю. — Ведь блокада же.

— Неизвестно от кого. Там было сгущенное молоко, сахар.

— Это вам очень нужно, — говорю.

А он отвечает:

— А детям не нужно? Я-то старик, а ты бы посмотрел на малышей в соседней квартире. Им еще жить и жить.

— И вы им отдали посылку?

— А как бы вы на моем месте поступили, молодой человек? — спросил Черняев, и мне стало стыдно, что я мог задать такой вопрос».

Я пять раз перечитал эти строки. Я сам должен был догадаться, что, если старик получит такую посылку, он не будет сосать молоко в уголке. Не такой старик...

Но что странно: этот том литературного наследства вышел в 61-м году, семь лет назад.

„Геркулес» не вернулся на Землю.

Рейс был нетрудным — Яворский летел к оранжевому карлику Росс-154, чтобы заменить устаревшее оборудование наблюдательной станции. Он выполнил задание и стартовал к Земле, но где-то в пути, когда звездолет вошел в сверхсветовой режим, отказали генераторы Кедрина.

Это была чистая случайность — один шанс из миллиона, и Базиола, знавший Яворского много лет, не мог примириться с его нелепой гибелью. Одним из первых кибернетик прилетел на Лонгину — планету, существование которой Яворский предсказал задолго до своего последнего рейса.

Базиола программировал Передачу. А вчера с последним рейсом на Базе появился Надеин.

Базиола быстро ходил по комнате, от окна к окну — от голубого, смягченного фильтрами пламени Альтаира к зеленому ковшу Лонгины. Пожалуй, он слишком самоуверен, этот драматург, этот Андрей Надеин, знаменитый автор «Диогена» и «Столетия крестов». Он, видите ли, написал новую пьесу. Пьесу о Яворском, о Киме, и он хочет, чтобы Базиола посмотрел запись. Ведь Базиола близко знал капитана «Геркулеса». Помилуйте, обсуждать пьесу сейчас, за неделю до Передачи! Но драматург был настойчив, он умел убеждать.

Базиола посмотрел пьесу. Кибернетик раздражен, он злится на драматурга, выбравшего для обсуж-

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ

летающий орел

дения такое горячее время, и злится на себя, потому что Яворский в пьесе ему нравится. Это не Ким, это другой человек, символ, герой. Но есть в нем своя логика, его гибель неожиданно приобрела смысл. Надеин не верил в случайности и убеждал всей силой писательского мастерства: капитан «Геркулеса» непризнанный гений, люди не понимали его, потому что его идеи казались не то чтобы слишком смелыми, но просто ненужными современной науке. Яворский у Надеина и сам относился к своим идеям очень беспечно. Нравился ему лишь процесс движения мысли, а не результат.

Ким не был таким, и последнюю картину пьесы Базиола смотрел с нарастающим раздражением. Он видел космонавта, совершавшего подвиг ради своей мечты, но Яворский, живой Яворский, которого знал Базиола, не мог быть этим космонавтом.

«Геркулес» приземлился в долине неподалеку от станции. На планете была вечная зима, и драматург намеренно сгустил краски: в районе приземления не прекращались ураганы. В просветы туч Яворский редко видел солнце — тусклую багровую звезду в пятнах.



Смена оборудования была делом не очень сложным. Работа приближалась к концу, когда с Земли поступила сводка новостей — ежемесячный бюллетень для внеземных станций. Приемники «Геркулеса» записали лазерную передачу, и Яворский посмотрел ее после утомительного дня. Экспедиция к Альтаиру на звездолете «Ахилл», говорилось в сводке, достигла цели. Открыта большая планета, на которой корабль и совершил посадку. Планету назвали Лонгиной, по имени астронома экспедиции. Состав атмосферы — азот с небольшой примесью инертных газов. Лонгина оказалась безжизненной — только скалы, горы, пропасти...

Передача с «Ахилла» обрывалась на середине фразы и не была повторена. Что-то произошло в системе Альтаира, решили на Земле. Готовится вторая экспедиция, она стартует через тринадцать месяцев на звездолете «Корсар».

Яворский ходил по каюте, смотрел в слепой от пурги иллюминатор, еще и еще раз слушал сообщение «Ахилла». Он понял, что случилось в системе Альтаира. В начале передачи, когда сообщили состав атмосферы Лонгины, Яворскому стало ясно, что «Ахилл» погибнет. Это была его планета. Лонгина. Планета-лазер. Его идея.

Надеину хорошо удалось последняя сцена. Человек сделал открытие. Ему не поверили, да и сам он считал свою идею игрой ума, и только. Но неожиданно идея обретает плоть, становится

реальностью. Нужно возвращаться, успеть на Землю до того, как уйдет к Альтаиру вторая экспедиция. Предупредить ее. Лететь с ней. Он должен стартовать немедленно. Если форсировать работу генераторов, он успеет, он будет на Земле еще до отлета «Корсара».

Яворский заканчивает сборку станции и стартует к Солнцу. Входит в сверхсветовой режим, но скорость нарастает медленно, звездолет вернется на Землю, когда «Корсар» уже будет в пути, его не догонишь, другие люди исследуют планету, предсказанную им, Кимом. Другие — не он. Нужно успеть. Генераторы работают на пределе...

Финал. Сине-зеленое небо Земли и голос, то ли самого Надеина, то ли актера, играющего Яворского: он погиб не случайно, он погиб потому, что не успел догнать свою мечту...

Что произошло на самом деле?

Базиола долго думал об этом. Он ведь был в комиссии, расследовавшей причины гибели «Геркулеса». Надеин чудовищно ошибается в оценках, но в одном он прав: официальный подход к трагедии Яворского не позволил выяснить истину.

Драматург утверждает: Ким был не только мечтателем, но и человеком действия. Надеин — хороший писатель, он не придумывал характера, он восстановил его, исходя из опубликованных документов о жизни Яворского. Надеин

показал: Яворский не мог быть иным. Он не прав. Яворский был иным. Бессмысленный героизм — нет, это не для Яворского.

А если подойти с другого конца? Базиола знал Кима. Мог вспомнить шаг за шагом его поступки, его желания, его жизнь. И дальше — из модели характера вывести модель ситуации.

Кибернетик закрыл глаза, задумался.

2

— Пьеса не документ, — сухо сказал Наденн.

— В пьесе все очень убедительно, — ответил кибернетик. — Даже я поверил, что ваш Яворский мог погибнуть, когда форсировал работу генераторов, стремясь успеть к старту «Корсара». Заметьте, я говорю — В А Ш Яворский. А я хочу понять, что произошло с Кимом на самом деле. В жизни ваш финал хорош для спектакля, но на самом деле этого быть не могло. Как бы ни торопился Ким, он вряд ли мог рассчитывать, что поспеет к отлету «Корсара». Он ведь не знал, что экспедицию отложили, что на Земле вспомнили о его работах. И еще. У вас Яворский — мечтатель. Смысл его жизни — генерировать идеи. Для романтика такого типа ваш финал возможен: пойти на любой риск, чтобы увидеть осуществленной одну из своих идей. Но Ким не был таким.

Базиола умолк. Да, именно Яворский предсказал открытие Лонгины. Первым об этом вспом-

нил он, Базиола. Кибернетик явился на заседание комитета, готовившего спасательную экспедицию к Альтаиру, и попросил ознакомиться с оттисками студенческих еще работ Яворского.

Одна из этих работ была посвящена возможности планеты-лазера. Статья объясняла случай с «Ахиллом» до мельчайших подробностей, хотя появилась в печати задолго до старта звездолета.

«Ахилл» погиб — теперь в этом не было сомнений. Вторую экспедицию к Альтаиру отложили. Она стартовала лишь два года спустя — не маленький отряд из восьми человек, а целая эскадрилья: двести человек экипажа, десять научных станций.

Яворского в то время уже не было в живых. Ему воздвигли памятник, его работы издали отдельной книгой, его идеи стали предметом научных дискуссий. Идея звезд-машин. Идея Лонгины. Идея первой галактической Передачи человечества — Передачи, которая состоится через неделю.

Базиола усмехнулся, посмотрел на драматурга: сейчас, когда Яворского считают героем-первооткрывателем, трудно убедить Наденна в том, что настоящий Ким не был романтиком.

— Я должен идти, — сказал Базиола. — Через десять минут просмотр программ. Ночью я кое-что вспомнил и записал. Вот капсула, посмотрите. Я начал с дискуссии в институте, когда впервые увидел Кима. Все столики в зале были заняты, и я остановился на пороге...

Базиола вошел в зал и остановился на пороге. Все столики были заняты, и ребята с навигационного сидели на полу в позах индусских факиров.

— Дискуссия «Эффект ускорения света Кедрина и возможности межгалактических полетов», — провозгласил ведущий.

Первым выступал, как и следовало ожидать, один из теоретиков. Базиола узнал его — это был Карлидзе с последнего курса, его дипломная была посвящена частным вопросам эффекта Кедрина. Тихо и рассудительно он заговорил о том, что от увеличения скорости света можно еще ожидать многих чудес. Речь ведь идет об изменении мировых постоянных, а то и всех законов Вселенной. Именно этого хотят теоретики, однако они не собираются впасть в мистику, как некоторые контактисты, и утверждать, что черное — это белое.

— Почему же? — тихо сказал голос из угла. Карлидзе запнулся, посмотрел в сторону говорившего. — Почему же? — повторил голос, и Базиола увидел его обладателя. Из-за столика поднялся белобрысый паренек в вязаной куртке пилота. — Если нужно будет доказать, что черное и белое равносильны, теоретики это сделают.

— Ну, Ким, — усмехнулся Карлидзе, — тебя занесло.

Ким вышел к экрану, взял световую указку и попросил притушить свет. Экран выплыл из полумрака сиреневым прямоугольни-

ком, зал затих. Через минуту дело было сделано: Ким в заключение соединил черное с белым тремя черточками тождества.

Вспыхнул свет, и Базиола увидел грузную фигуру академика Басина, декана теоретического факультета, там, откуда только что слышен был голос Кима. Сам же паренек пробирался к своему месту, его хлопали по спине, что-то кричали, смеялись, он вертел головой, отвечал вполголоса, мягко улыбаясь.

— Погодите, — сказал академик, и сразу стало тихо. — Почему я вас не знаю, молодой человек?

Молодой человек остановился на полпути и начал краснеть. Он стоял недалеко от Базиолы, и тому показалось, что Ким сейчас с удовольствием залез бы под стол.

— Это Яворский с навигационного, — пояснил Карлидзе. — Второй курс, да, Верблюд?

— Верблюд, — добродушно повторил академик. — Преобразование с бинарными множителями — это вы хорошо придумали, свежая идея. Завтра зайдите, пожалуй: ста, ко мне...

Через несколько дней Базиола увидел Яворского в машинном зале. Белобрысый паренек стоял в дверях, загородив проход, и слушал, как Базиола зачитывает машине лабораторную программу.

— Войдите, — предложил Базиола.

Яворский молча кивнул на све-

товое табло «Не входить. Идут занятия».

— Люблю нарушать инструкции, — сказал Базиола и погасил надпись. Ким нехотя подошел к пульту.

— Вы были у Басина? — спросил Базиола.

— Был, — коротко ответил Яворский.

— Мне понравился ваш софизм, — заявил Базиола, — я с трудом нашел ошибку. Что вам сказал Басин — не секрет?

Яворский поморщился:

— Предложил перейти на теоретический. В его группу.

— Здорово! — свистнул Базиола.

— Я отказался.

Базиола удивленно вскинул брови. Он отказался! Сам Басин хочет работать с ним, а он, видите ли, отказался.

— Почему?

— У меня идеальное здоровье, — сказал Яворский, полагая, что все объяснил. — Не хочу мешать, — продолжал он, не давая Базиоле времени задать новый вопрос. — У меня к вам дело. Вы на пятом? Хорошо. Вы свободны сегодня после шести? Завтра я уйду в тренировочный к Венере, а мне не хочется терять время, поэтому...

— В шесть у памятника Королеву, — предложил Базиола.

Яворский кивнул и отступил в коридор. Сказал, посмотрев на табличку у входа:

— Надпись не гасите. Влетит.

— Ким, — сказал Базиола, — ты хочешь, чтобы я посчитал?

— Да, — Яворский смутился, — ну, хотя бы часть.

— Не думаю, что выйдет даже часть, — признался Базиола. — Кедрину на Марсе понадобился «Демокрит» и семнадцать лет, чтобы доказать свой принцип ускорения света.

— Я ничего не хочу доказывать, только проверить. По-моему, это логично. В недрах очень плотных звезд — их называют нейтронными — силы ядерного притяжения могут образовывать из элементарных частиц цепочки, нейтронные молекулы. Так чем же плоха мысль: нейтронная молекула способна хранить записанную в ней информацию, во всяком случае, не хуже, чем ДНК. А по-моему, даже лучше — ведь в нейтронной молекуле больше частиц при меньшем объеме! Ты видишь, Джу, нейтронную звезду можно запрограммировать как идеальную вычислительную машину с невероятной памятью и скоростью счета. Звезды — сами звезды — станут работать на людей. Понимаешь, Джу? Но... это ведь надо проверить...

Яворский помолчал и неожиданно сказал просящим тоном:

— Ты посчитаешь? Первичную программу я составил, а завтра мне лететь...

— Хорошо, — сказал Базиола. Безнадежная затея, но Базиоле нравилось упрямство Верблюда.

Через месяц после разговора у памятника Королеву на световом табло появилась надпись: «Второй

курс. Завершен тренировочный полет эскадрильи планетолетов «Гемма». Оценка — отлично».

Сам Базиола не мог похвастать такой оценкой. Он получил замечание от куратора за то, что не сдал в срок лабораторных расчетов и зря тратит машинное время. Куратор был прав: ничего путного из затеи Верблюда не получалось, но Базиола просто не мог оставить расчет на середине. Он даже не мог сказать, что его увлекла идея звезд-машин, ему хотелось докопаться — не до идеи, а до самого Верблюда.

Яворский пришел к Базиоле вечером, рассказал о полете, о штучках, которые устраивал у Венеры куратор, о том, как ему, Яворскому, пришлось около двух недель проболтаться в космосе на неисправном корабле. За неисправность отвечали техники с кораблей сопровождения, и это была хорошая неисправность, Ким нашел ее только на тринадцатые сутки, а потом двое суток исправлял.

Верблюд ни словом не обмолвился о своей просьбе, и Базиола тоже говорил на посторонние темы. Они ели виноград, болтали. Базиола вспоминал истории из студенческой жизни.

— Ты хорошо знаешь Басина? — спрашивал он. — Умнейший человек. Никто не знает, сколько институтов он кончил. По одним сведениям семь, по другим — одиннадцать.

— В том-то и дело, — со вздохом сказал Верблюд. — Он гений, у него стальная воля, и он настоящий теоретик. Он ничего

не делает наполовину. А у меня только здоровье идеальное. Все остальное — так себе. Я и тебя заставил жечь машину зря. Ведь если бы что-то вышло, ты бы не молчал, верно?

— Д-да, — нехотя сказал Базиола.

— Вот видишь... А ты еще спрашивал, почему я не теоретик, — заключил Яворский.

Базиола промолчал. Его поразил этот неожиданный переход от стопроцентной уверенности к полному самоуничижению. Ему даже расхотелось доказывать, что рациональное зерно есть, но оно глубоко, до него нелегко добраться, ведь речь идет о звездах-машинах, и расчет, даже при эвристических программах, мало чем поможет. Думать надо, думать и думать. Базиола молчал. Он видел, что думать об этом Яворский больше не станет.

4

— Дальше? — сказал Надеин.

— Дальше... Вот вы, Андрей, говорите, что смысл жизни Яворского — генерировать идеи. Это так, но все гораздо сложнее. Он легко выдумывал новые задачи, если старые не получались. А они почти никогда не получались, потому что Верблюд панически боялся неудач и не верил в свои способности. При неудаче он и не пытался найти ошибку, он просто выдумывал новую задачу и делал это удивительно легко.

Верблюд выдумывал задачу за задачей и решал их сам, из-

редка обращался за помощью к старшекурсникам, и никогда — к людям поопытнее. Выводы его были красивы, идеи интересны, хотя и несколько фантастичны, но он не знал, что с ними делать. Иногда на страницах студенческого бюллетеня появлялись его заметки. Идея за идеей — без выводов и следствий. Ким всех приучил к тому, что его идеи не-серьезны, мы привыкли относиться к ним как к занимательному отдыху от занятий, практикумов, тренировок. Даже когда задержали отлет «Корсара», когда Яворский неожиданно стал классиком, даже тогда я не очень верил, что его идеи могут ожить...

— Любопытно... — протянул Надин. — Но вы, Джузеппе, только подтверждаете мою версию. Разлад между мыслью и делом. Он неизбежен у людей подобного типа. Однако я убежден, что мечтатель всегда человек действия. Потенциально. Существует, к сожалению, предел дальности мечты. Предел фантазии, переступив который мечтатель лишает себя возможности действовать. Он ведь втиснут в рамки общественного поведения. Общество наше четко запрограммировано. Каждый из нас обладает множеством степеней свободы, данных нам коммунизмом, но ведь каждая степень нашей личной свободы ограничена. Вспомните Грина. Его мечтатели — тоже люди действия, но это люди с практически неограниченной свободой поступков. Идеал в этом смысле — Батль из рассказа «Пришел и ушел». При-

шел и ушел, Джузеппе. Сказано очень точно. В вымышленной стране это возможно. На деле, особенно в наше время, нет. Вы сохраняете то, что порождает мечту, — идеи. Все остальное подспудно, потому что у вас есть долг перед людьми, и потому жажда деятельности у мечтателей типа Яворского не может разрешиться так же просто, как у Грина, — пришел и ушел.

— Яворский не Батль, — хмуро сказал Базиола. — Надо было знать Верблюда...

— А вы уверены, что знали его? — запальчиво возразил Надин. — Вы знали Яворского по институту, а потом? Как менялся его характер? На Росс-154 Яворский узнал о Лонгине. Это, заметьте, первая возможность поверить в себя, в свою мечту. Первая, а может быть, и последняя. Вы уверены, что Яворский не стал бы спешить, не захотел бы стать участником экспедиции на «Корсаре»?

— Я уже говорил вам... — начал Базиола.

— Что он вряд ли успел бы к отлету, — перебил драматург. — Это не существенно. Я пишу пьесу, и здесь важен характер, его эволюция.

— А мне важен Верблюд, — возразил Базиола. — Я принял его гибель как нелепую случайность. Теперь я в этом не уверен. Из-за вас, Андрей. Но тогда давайте говорить серьезно. Я убежден, что Верблюд не пошел бы на верную гибель, форсируя работу генераторов. В институте его ос-

торожность стала поговоркой. Мы и поругались из-за нее — в первый и последний раз. Это было, когда я защитил дипломную работу и попросился на дальнюю станцию...

5

После защиты Базиола попросился куда-нибудь подальше от Земли, просто потому, что раньше редко летал в дальний космос и теперь хотел побывать на переднем крае — в звездной экспедиции. Но его оставили на Луне в отделе траекторных расчетов. Базиола был связан со звездными экспедициями тем, что рассчитывал для них оптимальные маршруты. До Земли было рукой подать, и Базиола ворчал. В те дни он впервые увидел, что улыбка Яворского может быть не только виноватой, но и снисходительной.

— Не понимаю, чего ты хочешь, — заявил Верблюд. — Ты кибернетик, а искусственные мозги одинаковые везде — на звездолете и на Базе. Различна лишь мера ответственности. Здесь ты отвечаешь за себя и за свою работу, и этого уже достаточно. В иных обстоятельствах тебе пришлось бы отвечать и за других людей. Возрастает риск, возрастает ответственность. В дальних звездных ты выступаешь как представитель человечества. Ты готов к этому? Ты можешь отвечать за всех?

— А ты разве не хочешь пойти в звездную? — удивленно спросил Базиола. Его не очень трону-

ли рассуждения об ответственности, но самый факт, что пилот Яворский хочет похоронить себя на каботажных трассах, показался ему нелепым.

— Нет, — ответил Яворский и улыбнулся.

— Ты просто боишься, — безжалостно отрезал Базиола.

Яворский пожал плечами, промолчал.

— Да, — продолжал кибернетик, — и свою трусость прикрываешь словами об ответственности. А твое увлечение теорией? Ты и теоретиком стать не решаешься, потому что тогда твои идеи обрели бы плоть, а ты этого не хочешь. Ты боишься, что они покажутся людям слишком мелкими, недостойными внимания. Ты даже себя боишься. Боишься, что настанет момент, и тебе, как любому из нас, придется нарушить инструкцию, сделать что-то свое, а ты не будешь готов. Ты никогда не будешь готов к этому, потому что ты Верблюд и тебе мешает твой горб, которым ты сам себя наградил, и тебе плевать на все, что превышает меру твоей личной ответственности.

— Я очень средний пилот и очень плохой теоретик, — тихо сказал Ким, и в голосе его не было злости.

Он замолчал, а Базиола уже пожалел о своей вспышке. Ему не следовало начинать разговор, не следовало горячиться. Базиола понимал этот разлад в Яворском. Он действительно неудачливый теоретик, и он не очень уважает свою профессию пилота. Поэтому

из каждого рейса он будет стремиться домой, чтобы сесть к мнемографу и думать об очередной идее. И в каждом рейсе он будет осторожничать, потому что будет думать только о возвращении.

Базиола и Яворский сидели друг против друга нахохлившись и никогда еще не чувствовали себя более чужими.

На следующий день, перед отлетом на Луну, Базиола зашел к Яворскому. Тот готовился к экзамену, и разговор не клеился. До отлета оставался какой-нибудь час, отчуждение не исчезало. Базиола начал вспоминать первые месяцы учебы, первые идеи, и лишь тогда Верблюд оттаял, и Базиола узнал об идее галактического прожектора.

— Все просто, — небрежно говорил Ким. — Для связи с далекими цивилизациями людям не хватает мощности. Лазерная связь с трудом осуществляется даже между звездолетами. Но если природа сама создала естественный сверхмощный лазер — разве им не воспользуются?

Представь себе, Джу, планету с плотной атмосферой из чистого азота с небольшой примесью инертных газов, скажем неона. Планета находится в системе горячей звезды, излучение которой возбуждает молекулы и атомы в атмосфере. Атмосфера возбуждена, она заряжена колоссальной энергией. Каждый ее атом — мина на взводе. Достаточно слабого по величине импульса, но обяза-

тельно на определенной частоте, и вся атмосфера, вся эта масса газа как бы взорвется, почти мгновенно выдаст накопленную энергию, это будет мощный лазерный всплеск, энергетический выход которого превысит все, что сейчас доступно человечеству. Нужно отыскать такую планету, нужно подобрать «затравочную частоту», и главное — нужно закодировать в «затравочном импульсе» как можно больше информации. «Затравочный импульс» не должен быть мощным, достаточно сигнала обычного корабельного лазера, и он, как первый нейтрон в цепной реакции, вызовет такую лавину, что вспышку увидят во всей галактике, даже на самых далеких ее окраинах.

Сигнал понесется к звездам со скоростью света, то есть в пятнадцать раз медленнее сигнала бортового лазера, работающего на генераторах Кедрина. Но здесь важна не скорость, а энергетика. Отпадает, наконец, энергетическая сложность межзвездной связи, и останется лишь задача взаимопонимания разумов. Проблема, не решенная до сих пор.

6

Перед станцией стоял высеченный в скале орел. Птица расправила могучие крылья, высоко подняла клювастую голову, смотрела на восток — туда, где по утрам поднимался в бирюзовом зареве Альтаир. Птица была символом*,

* Альтаир или Ат-таир (арабск.) — Летящий Орел.

и Надеину объяснили, что она, может быть, уцелеет во время Передачи, потому что вырублена из сверхпрочных горных пород.

В распоряжении Надеина был час. Потом нужно вернуться на Базу, на этот едва заметный светлячок в темном предрассветном небе Лонгины. Драматург жадно осмотрелся. Плато Устинова было невелико, оно больше напоминало кратер потухшего марсианского вулкана или лунный цирк. Но здесь, на Лонгине, все настолько покорежено, что любая маломальски ровная площадка тут же получала громкое название плато. Теоретики подсчитали: Альтаир полностью заряжает атмосферу Лонгины за два с половиной года. Потом — вспышка. Начнется Передача — и в одно мгновение потекут эти скалы, на их месте вздыбятся другие, от плато останется лишь название, да еще, пожалуй, эта сугубо земная птица с оплавленными жаром крыльями. Так уже было лет шесть назад, когда на Лонгину опустился «Ахилл» и передал сообщение об открытии. Передача погубила звездолет, но сигнал достиг Земли, достиг гораздо раньше, чем сама вспышка, — ведь скорость света, излучаемого бортовым лазером, в пятнадцать раз больше скорости, с которой мчится в пространстве «обычный» свет. Только через десять лет на Земле увидят в созвездии Орла отсвет далекого пожара. Двадцать тысяч солнц на мгновение осветят земную ночь — это достигнет Солнечной системы пламя гибели «Ахилла». Подобное

должно было случиться с «Корсаром», со спасательной экспедицией.

«Корсар» спас Яворский. И было бы нелогично, нетеатрально давать в пьесе гибель самого Кима как игру случая. Что бы ни говорил Базиола, Яворский — герой. Он мог не успеть к отлету «Корсара», он почти наверняка не успел бы, но он не мог не попытаться. Ким был осторожен, говорит Базиола. Но тогда почему он стал пилотом? В любом, даже каботажном, рейсе возможны случайности, не предусмотренные никакими инструкциями. Железное здоровье — отговорка, которой Верблюд прикрывал свои мечты, свою жажду необычного. Он был осторожен, Верблюд, но он отлично знал: идеи остаются пустыми словами, если нет возможности действовать, нет сил достигнуть цели. И когда такая возможность появилась, мог ли Ким устоять перед соблазном увидеть собственную мечту?

Хорошо. Примем, что Яворский должен был действовать. Как? Покидая Росс-154, капитан «Геркулеса» знал об открытии планеты-лазера, знал и о том, что может не успеть к старту «Корсара». Другие люди первыми опустятся на поверхность угаданной им планеты, другие люди первыми... Другие люди...

Надеин медленно пошел прочь от станции по неровной каменной дороге. Мысль еще не оформилась, и драматург не знал, какими словами объяснить Базиоле свою догадку. Другие люди. Люди,

которые не знают истинной причины гибели «Ахилла». Люди, уходящие в очередной звездный поход. Яворский должен был торопиться на Землю, должен был рисковать, обязан был вернуться на планету до старта «Корсара». Не из-за себя. Из-за других. Именно так.

— Осторожнее, Андрей, — услышал Надеин в наушниках голос диспетчера. — Справа глинистый провал.

«Беспокоятся», — подумал Надеин. Его не хотели выпускать одного, он с трудом настоял. Это была последняя возможность побывать на Лонгине, сегодня пробная Передача с отключенными лазерами, больше полетов не будет.

Тоскливая планета. Черные контуры скал, сероватый купол станции, серебристая чаша звездолета — теневой театр. Он, Надеин, не прожил бы и дня в этой каменистой неподвижности, и он не понимал восхищения, с которым говорили о пейзажах Лонгины на Базе. Нужно обладать большим зарядом бодрости, чтобы жить здесь, хвалить эти пейзажи, радоваться серым рассветам. Если бы Яворский не погиб на пути к Земле, он мог бы... На пути к Земле... Почему?

Догадка пришла в какое-то мгновение, и Надеин улыбнулся. Он знал, что это произойдет именно здесь, он остался спокоен.

— Вызовите, пожалуйста, кибернетика Базиолу с Базы, — сказал Надеин. — Очень важно.

Драматург ждал. Ему нужно

было задать Базиоле один вопрос. Обязательно Базиоле, хотя с тем же успехом можно спросить у диспетчера, у любого сотрудника станции. В наушники вошел треск помех, и голос кибернетика спросил удивленно:

— Это вы, Андрей? Что случилось?

— Пожалуйста, Джузеппе, — Надеин ускорил шаг, он почти бежал. — Я хочу знать расстояние от Альтаира до Росс-154. И сколько времени может занять полет...

— Но... — неуверенно начал Базиола.

— Семь с половиной световых лет, — вмешался в разговор диспетчер. — Сто восемьдесят дней полета.

— Совершенно верно, — сказал Базиола. — Вы хотите слетать туда, посмотреть на место происшествия?

— Да нет же! — Надеин кричал, догадка его переросла в уверенность. — Яворский должен был предупредить об опасности людей, летевших на «Корсаре». И у него была такая возможность!

— Простите, Андрей, — в голосе Базиолы звучало раздражение. — Через два часа пробная Передача. Мне некогда. Поговорим о ваших версиях потом... У вас все в порядке?

Надеин молчал. Скорее! На Базу! К мнемографу! Теперь он знает, что произошло четыре года назад в системе красной звезды Росс-154.

Ночь отступила. У горизонта, где выросли крутые горбы аппаратной, вспыхнули прожекторы, и в желтоватых лучах заплясали неземные снежинки.

Полчаса до старта. Яворский решил. Звездолет готов к полету. Полчаса. Они ничего не изменят — программа старта и выхода за световой барьер составлена. И все-таки Верблюдо не уверен. Сидит у пульта, ждет стартового сигнала, думает.

Надеин несколько раз передывал эту сцену, прежде чем показать ее Базиоле, — мысли капитана «Геркулеса» должны быть очень четкими, они должны убедить кибернетика.

«Ахилл» погиб. Погиб на его, Яворского, планете. Он должен был раньше доказывать свою правоту, должен был бороться за свои идеи. Убеждать: Базиолу, Басина, всех. Тогда не было бы трагедии «Ахилла», не было бы сейчас этого мучительного раздвоения, когда знаешь и не можешь решиться. И если «Корсар» тоже погибнет, виноват будет он, капитан Ким Яворский.

На Землю он почти наверняка не успеет. Перехватить звездолет, когда он летит на сверхсветовой скорости, невозможно. Остается лететь к Альтаиру. Там, на своей планете, ждать экспедицию, встретить ее, предупредить. Да, это верное решение. Но, капитан, ты же знаешь: трасса не облетана. У тебя рейсовый звездолет, капитан Яворский. И где-то в пути может

подстергать неожиданное изменение режима полета, нормальное для исследовательских кораблей, но не предусмотренное в обычных рейсах. Мало ли что: магнитные ловушки, нейтронные звезды, пылевые облака. Подумай, Верблюдо.

Еще раз: успеть на Землю — ничтожное количество шансов из ста. Но безопасно. Вероятность же погибнуть на пути к Альтаиру — половина. Через сто восемьдесят дней «Геркулес» будет на Лонгине. На Земле в это время только закончится подготовка к старту «Корсара». Сколько же придется ждать? Оптимально — четыреста тридцать дней. Год и два месяца. Вести наблюдения, экономить энергию, потом сигнализировать на полную мощность бортовых радиосредств. Для радиоволн атмосфера Лонгины должна быть безопасной.

Может быть, есть иной выход?

Нет.

Сейчас старт.

Затемнение. И сразу последняя картина пьесы: Яворский на Лонгине.

Скалы были серыми и в полдень казались зеркальными. Будто осколки колоссального зеркала хаотически легли на поверхность планеты. Из космоса это выглядело красиво: мраморные блестящие в мутном зеленоватом хаосе.

Сегодня четыреста шестьдесят дней, как «Геркулес» вынырнул без происшествий из-за светового барьера, и Яворский увидел цель

полета. У Альтаира была только одна большая планета — Лонгина. Великое множество мелких планетоидов, но Лонгина одна, и Яворский вывел звездолет на орбиту ее спутника. Он хорошо использовал год ожидания. Трижды садился на планету, побывал на семи астероидах. Два месяца назад Яворский послал в направлении Солнечной системы первый сигнал. Потом он передавал непрерывно, тратил уйму энергии, которую не успевали восполнять реакторы и солнечные батареи. «Корсар» молчал. Миновал день его прилета. Прошла неделя, месяц.

Яворский один, на многие тысячи километров вокруг лишь скалы и солнце, и что-то случилось, что-то очень неприятное. Яворскому легко подсчитать: если он будет тратить на передачу столько же энергии, сколько сейчас, то через три недели он не сможет взлететь с Лонгины, через три месяца не будет энергии для вездехода. Придется запереться в «Геркулесе» и ждать помощи.

Яворский ведет передачи раз в сутки, сначала по часу, потом несколько минут. Его должны услышать, должны найти, иначе произойдет непоправимое.

Каково это — жить на мине? Знать, что каждую минуту можешь стать облаком газа, и даже памяти о тебе не останется, потому что никто не знает, что в одной из каменистых впадин Лонгины стоит земной звездолет. Энергии все меньше. Яворский старается не думать об этом, нуж-

но сигналить, и он сигналил. Неделю. Месяц. Год. Все спокойно на Лонгине.

Яворский нашел неподалеку от «Геркулеса» глубокую пропасть, спустился в нее, бродил по пещерам и склепам, где оплавленные нагромождения камней напоминали фигуры людей, дома, корабли. Здесь был свой мир, неподвижный, но не вечный. Мина на взводе.

Яворский назвал пещеры Эрмитажем, он находил здесь собор Парижской богородицы, и Нику Самофракийскую, власовских Марсиан и роденовского Мыслителя. Мыслитель сидел, подперев кулаком одну из своих голов, это был Мыслитель с другой планеты, и мысли у него были странные: он был скептиком. «Корсар» не придет, убеждал он Яворского, ведь прошел год, целый год! Конечно, экспедицию отменили. А ты, человек, зря спешил, зря рисковал, зря тратил энергию. Рейсовый корабль не для подобных передрыг. Пришел и ушел. Это просто в гриновском мире. Ты пришел, Верблюд, вот она — Лонгина. А как ты уйдешь? Уйдешь ли?

«Полет не могли отменить, — отвечал Яворский, — я должен продержаться. Должен сигналить».

Мыслитель усмехался, все три его головы нелепо раскачивались из стороны в сторону...

Через полтора года передатчик умолк. Реактор умирал, а каменистая пустыня была негодным заменителем для обогащенного фермента. Солнечные батареи давали

кораблю жизнь и тепло, но обрекали его на молчание.

Яворский стал вспоминать старинные способы сигнализации. Минимум энергии, минимум информации — костры, искровые разряды — тихий всплеск в грохоте радиопомех...

Однажды высоко над горизонтом появилась звездочка. Она проплыла по небу и исчезла в серой дымке. Яворский ждал ее появления следующим вечером, но увидел опять лишь через неделю — звездочка медленно двигалась к зениту, а потом вниз, на северо-восток. Яворский успел замерить ее координаты и скорость, рассчитал траекторию. Звезда была спутником Лонгины, новым впутником со странной полярной орбитой, и Яворский понял, что это корабль. «Корсар». Потом он видел и другие звездочки, они двигались очень быстро, и Яворский не успевал поймать их в прицел телескопа.

Он сигнализировал. Разряды, химические реакции с выходом пламени, даже окраска скал. Напрасно. Обнаружить слабые призывы можно было, лишь твердо зная, что и где искать. Люди на «Корсаре» этого не знали.

Яворский ждал. В любую минуту «Корсар» мог пойти на посадку, начать передачу на Землю. В любую минуту он мог вспыхнуть, сгореть вместе с атмосферой, скалами и «Геркулесом».

Передачик молчал, но в приемнике среди невообразимого хаоса помех Яворский как-то услышал обрывок музыкальной фразы

и голос. Он не успел разобрать слова, передача была направленной, а луч прошел мимо. Но теперь Яворский был спокоен. Люди используют радио. Значит, они знают об опасности лазерных передач. Теперь можно ждать.

Мыслитель, с которым Яворский поделился своей радостью, промолчал. Недавний подземный толчок лишил его двух голов и кулака, и теперь он казался беспомощным, он не хотел думать, не хотел радоваться. Больше Яворский не приходил к нему.

8

Базиола улыбался. У кибернетика было отличное настроение. Только что прошла пробная Передача, аппаратура сработала нормально, и программа, составленная сотрудниками Базиолы, хороша. Она состоит из трех частей: курса космолингвистики, описания современного состояния земной науки, и очерков земной истории. Через пять дней, ровно в десять нольноль, автоматы включат лазер на плато Устинова, и в долю секунды азотнеонеовая атмосфера Лонгины станет горящим факелом, несущим к звездам мысль людей.

Теперь можно отдохнуть. Подумать. Не отрывочно, а серьезно подумать о том, что внесла в историю Лонгины пьеса Надеина. Ее новый финал. Дикая на первый взгляд идея — Яворский на Лонгине. Однако Надеин успел повеселиться своей фантазии. Вот он ходит по комнате, горячо жестикулирует, доказывает, убеждает.

На драматурга пробная Передача не произвела впечатления. То ли потому, что она действительно была не эффектна: дробный перестук метронома, красная вспышка индикатора — все. То ли потому, что Надеин думал теперь о предстоящей Передаче с некоторым страхом. Минуты, когда он писал новый финал, были счастливыми минутами, но они принесли за собой сомнение. Драматург не видел противоречий в своей версии. Более того, он знал, что так должно было быть. Четкая логическая цепочка, и замыкается она на Лонгине. Передача может стать гибелью для Яворского. Надеин ничего не может доказать, пьеса не документ, но если Передача состоится, если не будет оделано ничего, чтобы отыскать «Геркулес», он, Надеин, будет считать себя виновником смерти Верблюда. Возможно, это только разыгравшаяся фантазия, но где тогда факты, говорящие против?

— Факты? — Базиола пожал плечами. — Только один, и он разбивает все ваше очень логичное построение. Звездолет, даже рейсовый и не рассчитанный на дальний поиск, обладает гораздо большими энергетическими возможностями, чем вы думаете. Полет к Альтаиру не исчерпывает запасов, их хватит на годы непрерывной передачи.

— Яворский не сидел на месте. Он летал. Исследовал Лонгину, астероиды.

— Не думаю, — усмехнулся Базиола. — Если его цель — дождаться людей, он не станет рис-

ковать. Не станет летать, если не будет уверен, что у него хватит энергии.

— Хорошо, — с досадой сказал Надеин. — Какие основания были у Яворского придерживаться жесткой экономии? Разве раньше задерживали отлет звездных экспедиций? Случай с «Корсаром» — особый. Напротив, поскольку речь шла о помощи «Ахиллу», то «Корсар» должен был спешить!

— Пожалуй, — согласился Базиола.

— Давайте думать, Джузеппе, — сказал Надеин почти просительным тоном. — Я ведь не предлагаю истин. Давайте думать.

— Я думаю, — Базиола улыбался. Этот драматург увяз в своей версии. Она логична, но неувязка с энергией ее убьет. Катастрофическая утечка энергии могла произойти только в одном случае, совершенно не оправданном...

— В каком случае, Джузеппе?

— Яворский должен был лишний раз пересечь световой барьер. Дополнительный разгон и торможение. Но у Верблюда не было необходимости в таком маневре.

— А если наоборот — торможение и разгон?

— Какая разница? — сказал Базиола. — В обоих случаях это неоправданно, нелогично.

Надеин промолчал. Он прав, этот кибернетик, но будь он трижды прав, Надеин теперь не может поверить в гибель «Геркулеса». Нужно подумать. Допустить, что Верблюд на пути к Альтаиру дважды пересек световой барьер. Зачем?

— Если хотите, — предложил Базиола, — я проверю на машине. Пересчитаю все варианты. Для этого нужно время, но машины свободны, по крайней мере до Передачи.

— Да, — без энтузиазма согласился Надеин. — Посчитайте.

Они вышли вместе. Надеин пошел на смотровую палубу, Базиола что-то говорил ему о вероятностях, и драматургу казалось, что кибернетика интересовал самый процесс расчета, а вовсе не результат. Разные полюса, подумал он. Базиола хочет проследить путь Кима с начала, не задаваясь конечным результатом. Что ж, это логично, Базиола ученый. А он — драматург, и он идет с конца, он знает, что произошло на самом деле, и должен доказать это. Что легче? Нет, что вернее?

На смотровой палубе было пусто и тихо. Надеин прижался лбом к холодному иллюминатору, смотрел на звезды, видел — «Геркулес» туманным облачком появляется в черноте пространства. Смолкают генераторы Кедрина, до цели еще далеко, но Яворский тормозит, у него своя цель...

9

По расчетам это должно было произойти в начале пятого месяца полета. Временем Яворский располагал в избытке, и он несколько раз проверил исходные цифры. Он рассчитал момент с точностью до секунды, поставил программу перехода в субсветовую область и даже ввел програм-

му в машину, но пусковая кнопка оставалась в нейтральном положении.

Драматург намеренно усилил нажим в новой сцене. Все противоречия в характере Кима — романтизм и точный расчет, смелость и нерешительность — приходили сейчас в столкновение.

В сущности, маневр был необходим. Трасса необлетана, и лучше пожертвовать частью горючего, провести в полете оптическую разведку, чем рисковать неожиданным попаданием в поле тяжести нейтронной звезды или в пылевое облако.

Все это верно. Необходима разведка трассы — Яворский повторял это себе сотни раз на день. Он выбрал момент: пятый месяц полета, потому что (Верблюды заставлял себя не думать об этом) истинной причиной торможения была не разведка. Яворский размышлял, и желание увидеть это становилось все больше.

Яворский решился на маневр в самый последний момент. Еще сутки — и тормозить было бы поздно. «Геркулес» вышел из сверхсветовой области, и силоватый гул генераторов Кедрина утих, будто задавленный неожиданно навалившейся на корабль звездной чернотой. Альтаир светился впереди, белый и ослепительно красивый, он был далеко — два световых года. Яворский привел в готовность астрономические инструменты, даже кварковый счетчик, хотя и не думал, что взрыв атмосферы Лонгины мог породить кварковые потоки.

Это случилось в точно предсказанный момент. Яворский полулежал у обзорного экрана, от усталости у него слезились глаза. Он чуть наклонил голову, на мгновение прикрыл ладонью лицо, а когда вновь посмотрел перед собой, экран был слеп. Фиолетовое пламя билось в звездном море. Это не было пламя Альтаира.казалось, оно отливает всеми цветами, которые, сталкиваясь в феерической вакханалии, порождают фиолетовое сияние.

Секунда — и на экраны вернулась чернота. Альтаир голубоватой блестящей засиял впереди, теперь он казался близким, два световых года, меньше двух месяцев полета, совсем рядом.

Яворский долго сидел неподвижно, закрыв глаза рукой, вспоминал, улыбался. Двадцать тысяч солнц, Лонгина, его планета.

Автоматы провели траекторные измерения, «Геркулес» ушел в сверхсветовую область, экраны погасли, и Яворский включил дешифраторы. Зазвучала человеческая речь, низкий голос Бориса Пустынина, командира исследовательского звездолета «Ахилл». Яворский слушал сообщение стоя, он знал его наизусть, он слышал его на Росс-154, помнил, на каком слове оно обрывается, но то сообщение, принятое станциями слежения на Земле, было только сигналом маломощного корабельного лазера, а это — голос планеты. Двадцать тысяч солнц, бережно несущие к окраинам галактики рассказ человека, открывшего Лонгину:

«Звездолет вышел к Альтаиру в семь-три мирового года, Экипаж здоров. Открыто одиннадцать небесных тел, среди которых одна большая планета. Радиус ее равен земному, расстояние от Альтаира полторы астрономических единицы. Планету нарекли Лонгиной, по имени нашего астронома...»

10

— Мне всегда претили решения, навязанные машиной, — хмуро сказал Надеин. — Что, если вероятность окажется мала, поиска не будет, а Яворский все же на Лонгине?

— Не надо гадать. — Базиола быстрыми шагами ходил по комнате, поглядывая на драматурга, ждал.

— Не вы ли, — горячился Надеин, — час назад утверждали, что в новой версии нет противоречий?

— Внутренне она непротиворечива, — согласился Базиола. — Но не будем спешить с выводами. Минуту терпения, Андрей.

Надеин терпел. Он полулежал в кресле кибернетика, смотрел на рисунок над иллюминатором. Яркого-желтый песок пустыни и синие горы — безвкусица. Надеин не повернулся к голоscopicу, когда прозвучал вызов, не слышал, с кем и о чем говорил Базиола. Кибернетик вырос перед драматургом торжествующий, широкие его брови были похожи на крылья Летящего Орла, нос казался клювом.

— Тридцать два процента, — заявил Базиола. — Вот вероятность того, что Ким на Лонгине.

— И только-то, — Надеин разочарованно отвернулся. — Тридцать два процента. Машины не ошибаются. Искать человека на планете — миллиарды квадратных километров — бессмысленно. Что важнее — человек или Передача? О чем еще говорит кибернетик?

— Да поймите же, это много — тридцать два процента. Это выше случайных ошибок. Об этом уже можно говорить серьезно.

«Так будут искать! — подумал Надеин, еще не вполне веря. — Верблюд вернется. Другой Верблюд, узнавший цену себе и своим открытиям. Он никуда больше не полетит, останется на Земле — работать. У него будет очень сложная работа: думать, идти на шаг впереди других, указывать путь. Только бы его нашли!»

А сейчас они пойдут к Джошуа и потребуют созыва Совета.

Надеин остался на смотровой палубе. Базиола пригласил его в пост. Там, на экранах, связанных со звездолетами, можно будет следить за ходом поиска. Надеин не

пошел. Стоял, смотрел в черноту, где не видно было звезд и едва заметно светился за экранами светофильтров диск Лонгины. Фильтры приготовили для Передачи. Их придется убрать, если Передачу отложат.

Там, внизу, не только Яворский. Внизу остался Летящий Орел. Он переживет Передачу. И эту и следующие. «Маяк должен вспыхнуть», — сказал Базиола. — «Маяки, — поправил Надеин. — Лонгина и те десятки и сотни планет, освещенных голубыми солнцами, к которым люди придут завтра».

Они — одно. Капитан Ким Яворский и Летящий Орел на Лонгине. Надеин видит, чувствует их связь. Видит начало пьесы: каменная птица на фоне бирюзовой зари. Молчаливо и требовательно смотрит она на встающее из-за горизонта голубое светило. Каменные крылья неподвижны, клюв поднят вверх, острые когти царапают скалу. Первый луч Альтаира касается Летящего Орла, возвещая наступление нового дня.

Это сигнал.

Маяк должен вспыхнуть.



ВЛАДИМИР ФИРСОВ

патруль

Они шли уже несколько часов — впереди капитан Кемпнер, за ним Стражеско с рацией за спиной, затем Вуд, Райснин и все остальные, а позади — сержант Кумбс, который ни на миг не снимал рук с висящего на шее лучемета и постоянно оглядывался. Идти было тяжело. Ноги вязли в болотистой почве, колючие стволы деревьев рвали одежду, а в воздухе висела промозглая сырость, от которой вся одежда сразу стала мокрой наизвозь, словно тебя выкупали одетым. Никто не курил, потому что сигареты размокали, едва успев загореться. Солдаты подавленно молчали, и только капитан как ни в чем не бывало насвистывал сквозь зубы какой-то несложный мотивчик.

Наконец среди деревьев мелькнул просвет. Люди вздохнули с облегчением и зашагали быстрее. Через несколько минут они стояли на дороге, которая безупречно прямой линией пересекала лес.

Капитан с недоумением топнул ногой. Покрытие дороги по прочности, пожалуй, не уступало гудрону, но было странно мягким и эластичным.

Он внимательно осмотрел влажную матовую поверхность. На ней не сохранилось никаких следов. Лишь на обочине капитану удалось рассмотреть слабые отпечатки босых четырехпалых ног. Но следов, которые он искал, среди них не было.

— Интересно, куда она ве-

дет? — спросил Кумбс. — Я что-то не слышал, чтобы тут были города.

— Не рассуждайте, сержант, — оборвал его Кемпнер. — Ваше дело лучше смотреть по сторонам.

Он старался не показать солдатам, что встревожен неожиданным открытием. Кемпнер хорошо изучил эту планету. Туземцы на ней еще не знали механизмов, и было непонятно, кому и для чего понадобилось проложить дорогу, по которой автомобили смогли бы идти в четыре ряда со скоростью сто миль в час.

После недолгих колебаний капитан приказал двинуться по дороге. Все повеселели. Теперь идти было легко — не то что по проклятому колючему болотистому лесу.

Они прошли еще несколько миль. Здесь дорога вывела их на небольшую поляну, посреди которой виднелась каменная изгородь вышиной в человеческий рост, напоминавшая в плане подкову. Дорога входила внутрь подковы и здесь кончалась. Дальше стоял нетронутый лес.

Посмотрев на осунувшиеся лица солдат, капитан распорядился устроить привал. Солдаты нарубили веток и развели костер. Сырое дерево шипело и дымило, но флакон тетрадила сделал свое дело. Через несколько минут все, кроме часовых, топталось у огня, пытаясь просушить одежду. Вуд выдал каждому по банке самонагревающихся консервов. Залтели огоньки сигарет.

Разомлевший от тепла и еды сержант Кумбс присел рядом с радистом и по привычке начал философствовать.

— Какая-то странная эта планета. Ты слышал когда-нибудь, чтобы дикие туземцы строили автомобильные дороги? Говорят, они еще не знают даже огня. Да и откуда быть огню при такой сырости? Здесь только напалм и может гореть.

— Ты первый раз здесь? — спросил Стражеско. Сержант кивнул. — А я третий раз летаю с капитаном. И знаешь, — он невольно понизил голос, — в прошлый раз таких дорог тут не было. Мы тогда достаточно покрутились над планетой.

— Неужели... — сержант даже задохнулся от волнения. — Ты думаешь, те нас опередили?

Стражеско покачал головой.

— Путь сюда не знает никто. Это все сами туземцы. Я не удивлюсь, если в следующий раз они встретят нас атомными ракетами.

— Ну, этого не может быть, — не очень твердо возразил Кумбс. — Я еще помню, чему меня учили в колледже. Цивилизации развиваются тысячами.

Стражеско только усмехнулся. — А ты знаешь, что мы здесь ищем?

— Уран? — неуверенно спросил сержант.

— Держи карман шире. У нас же нет ни одного геолога. Тут есть штука страшнее урана.

Ты еще не видел, как капитан поджаривает этих зеленых?

Кумбс ошеломленно посмотрел на радиста. Тот торжествующе засмеялся.

— Зрелище не из приятных, можешь мне поверить. Впрочем, скоро убедишься сам. Видишь, капитан возвращается?

Раздалась короткая команда. Солдаты повскакали и стали навьючивать свое снаряжение.

Сержант помог радисту надеть радиостанцию.

— Ты так и не сказал, зачем мы здесь.

Стражеско внимательно посмотрел на Кумбса.

— Ты слышал когда-нибудь про эликсир силы? — спросил он и сразу увидел, как вытянулась физиономия сержанта. — Так вот его-то мы и ищем.

— Отставить разговоры! — скомандовал капитан. — Приготовить оружие. Они где-то близко.

Он швырнул в костер размокший окуроч и повел отряд через лес по еле заметной тропинке, на которой среди многочисленных отпечатков босых четырехпалых ног изредка встречались рубчатые следы сильно поношенных ботинок космического образца.



Эта унылая, дождливая, болотистая планета лежала далеко в стороне от оживленных космических трасс. И хотя ее открыли сравнительно давно, корабли Великой Державы не появлялись здесь, потому что на планете не было найдено ничего достойного внимания. Первооткрыватели ограничились тем, что возвели на полюсе обелиск, надпись на котором утверждала их право владения этим небесным телом на протяжении девятист девяноста девяти лет, и водрузили свой полосатый флаг.

О планете было известно так мало, что ей даже не удосужились подобрать имени. Леса, покрывавшие почти всю ее поверхность, состояли из могучих, до двух метров в поперечнике, деревьев, стволы которых были усажены устрашающими шипами. Пробраться через лес не могла ни одна машина. Не помогали и вертолеты — им попросту негде было взлетать и садиться. Убогое туземное население панически боялось пришельцев, и все попытки наладить с ним не только торговлю, но даже обычный контакт потерпели неудачу. Жили туземцы в самой гуще леса, питались какими-то плодами и охотились с помощью луков и стрел на толстокожих болотных тварей, напоминающих гиппопотамов, — вот, пожалуй, все официальные сведения о планете.

Кроме того, о ней ходило много разных слухов, которые всерьез

никто не принимал. Говорили, например, что туземцы знают лекарство, излечивающее любые болезни, что их знахари умеют за несколько минут заживлять самые тяжелые раны. Но самой большой известностью пользовалась легенда об эликсире силы — чудесном напитке, делающем человека могучим, как сказочные титаны, которые могли опрокидывать скалы и с корнем вырывать деревья. Некоторые слухи были совершенно нелепы — например, утверждения, что обитатели этой планеты вообще бессмертны, что они, как гидра, размножаются делением и из останков разрубленного аборигена вырастают два новых.

Для проверки подобных слухов, упорно не смолкавших на протяжении десятка лет, Объединенные Нации дважды посылали на планету своих эмиссаров, но те возвратились, не узнав ничего нового. Планета была уныла, болотиста и бедна, и о ней вскоре забыли бы, если бы не эти слухи, вспыхивавшие время от времени с новой силой.

Пожалуй, только один человек во всей Вселенной знал точно, что правдиво в этих фантастических слухах...

Незадолго до темноты солдаты наткнулись на мертвого зверя. Огромная туша, размером с исполинского бегемота, лежала на тропе, поблескивая мокрой синеватой кожей. Из бока чудовища торчала тяжелая стрела. Полураз-

мытая дождем кровавая дорожка да обломанные шипы на деревьях показывали путь, по которому животное продиралось через непродоходимую для людей чащу.

Кумбс подергал стрелу за конец, но она не поддалась. Тогда он ударил по шкуре ножом. Нож отскочил, не оставив даже царапины.

— Только в такой шкурой и можно жить в этом лесу, — произнес Стражеско. — Ее, наверно, и пуля не возьмет.

Кумбс со страхом посмотрел по сторонам. Ему почудилось, что за деревьями что-то шевельнулось. Он представил, как такая же стрела впицается ему между лопаток... Да что впицается — она скорее всего пробьет человека насквозь, несмотря на панцирный жилет. Он проверил, спущен ли предохранитель лучемета, и опять зашагал по тропе, втянув голову в плечи, словно это могло спасти его от выстрела сзади.

Отряд шел по следам, соблюдая величайшую осторожность. Стало темно. Пока было возможно, пробирались вперед на ощупь — капитан приказал не зажигать фонарей. Но скоро солдаты были вынуждены остановиться — их руки кровоточили, исколотые шипами. Короткую ночь провели на земле, прижавшись друг к другу и дрожа от сырости.

Едва стало светать, капитан погнал людей дальше. Через несколько миль они заметили впереди хижинь. Солдаты залегли под деревьями, слились с болотными кочками.

Кумбс лежал рядом с капитаном, рассматривая деревушку в бинокль. Вдруг глаза его округлились от удивления.

— Смотрите, капитан! — шептал он. — Там белый!

Капитан посмотрел в указанном направлении и с облегчением выругался.

— Окружить деревню! — шепотом приказал он. — Сигнал к атаке через тридцать минут.

Ровно через полчаса залп лучеметов разметал легкие хижинь, и солдаты со всех сторон ворвались в деревню. Все было кончено за несколько минут. Ошеломленные внезапным нападением, туземцы почти не сопротивлялись.

По свистку капитана солдаты собрались в центре деревни, где лежали связанные пленники — два хилых зеленокожих туземца с четырехпалыми конечностями, и рядом с ними белый человек в изорванном комбинезоне Звездного флота. Руки у них были скручены за спиной, рты зажатые.

Капитан быстро проверил свой отряд. Потерь не было. Одного из солдат легко ранило стрелой, да кто-то из пленников укусил Кумбса за руку, когда тот забивал ему кляп в рот. Кемпнер приказал обыскать деревню. Вскоре солдаты приволокли еще двух упирающихся аборигенов. Капитан тут же пристрелил их. Затем он внимательно осмотрел нехитрый скарб туземцев и приказал захватить с собой все найденные травы и глиняную бутылку с на-

кой-то жидкостью. Особенное его внимание привлекли лук и стрелы. Он долго вертел их в руках, потом велел взять тоже и дал сигнал к выступлению.

Кумбс начал поднимать пленников. Человек в комбинезоне встал сразу, но туземцы продолжали лежать, несмотря на пинки.

— Скорее, сержант, — зашипел Кемпнер. — Вам что, шкура не дорога? Тащите их на себе, черт вас возьми!

Такая перспектива Кумбсу совсем не улыбалась. Кто знает, не удалось ли кому-нибудь из жителей деревни спастись. Погоня могла начаться в любой момент. И тогда их дело дрянь, если то, что болтают про туземцев, хоть наполовину правда.

Сержант даже побелел от ярости. Но, несмотря на его удары, пленники не желали подниматься. Еще немного, и Кумбс прикончил бы их. Капитан вмешался вовремя.

— Отставить! — скомандовал он и после секундного колебания достал зажигалку. Ему тоже было не по себе в этом враждебном лесу. — Или вы сейчас пойдете, или...

Он щелкнул зажигалкой: Кумбс с удивлением увидел, как при виде огонька огромные треугольные глаза пленников в ужасе раскрылись, тела судорожно задргались, а кожа из зеленой сделалась серой. Повинуясь знаку капитана, туземцы вскочили. Кемпнер довольнo усмехнулся и занял место в хвосте отряда — он ни на се-

кунду не желал выпускать пленных из виду.

Отряд шел без остановок. Всех страшила новая ночевка в лесу. Подгонять никого не приходилось — измученные солдаты шли, напрягая все силы.

Сизый, промозглый день начал медленно сереть, когда в бесконечной стене колючих деревьев наконец показался просвет. Капитан облегченно вздохнул, но тут передние солдаты вдруг остановились.

— Почему встали? — спросил Кемпнер. — Что случилось?

Он вышел вперед и тут почувствовал отчаянный страх, потому что в двадцати шагах от себя он увидел знакомый каменный забор в форме подковы, а из-за этого забора поднимался ввысь, теряясь за вершинами деревьев, гигантский монумент. Сумерки и туман мешали рассмотреть подробности, но капитан сразу понял, что это чудовищное изваяние высотой в пятиэтажный дом изображает аборигена. Характерное лицо со слегка сплюснутым носом, обращенное к дороге, было сурово и величественно, а треугольные глаза внимательно смотрели куда-то вдаль.

Сгрудившиеся солдаты с ужасом смотрели на каменного колосса. Кумбс почувствовал, что у него похолодело в животе.

— Заблудились, — пробормотал он. — Теперь конец...

— Вуд, вперед! — приказал капитан охрипшим голосом. — Обследовать строение!

Вуд неуверенно вышел на по-

ляну, держа оружие наготове. Он дошел до огады, осторожно заглянул за изгородь, вошел внутрь и тотчас же выскочил обратно.

— Сюда! — крикнул он. — Смотрите!

Он указал на затоптанные остатки костра. Испуганные солдаты столпились вокруг. Всем стало ясно, что они не сбились с пути, но загадочное появление чудовищной скульптуры настолько ошеломило всех, что они подавленно молчали и с тревогой озирались, вытягивая головы в плечи.

— Привал пятнадцать минут, — приказал капитан. — Огня не зажигать! Сержант, выставьте охрану и накормите людей. Стражеско, свяжитесь с кораблем.

Он несколько раз чиркнул зажигалкой, пытаясь зажечь отсыревшую сигарету. Солдаты стучали ложками, торопясь проглотить пищу, то и дело оглядываясь на каменную громаду.

— Эта штука весит не меньше, чем наш корабль, — пробормотал Вуд. — Я ее осматрел — ни одного шва. Все вырублено из цельной скалы. Кто мне скажет, как ее здесь поставили?

Никто не ответил.

— На Земле такая работа заняла бы месяц, — сказал Кумбс. — А ведь у туземцев нет ни лебедок, ни домкратов. И почему кругом так чисто? Не на руках же они ее принесли?

— Даже наш костер видно, — поддакнул кто-то из солдат.

Капитан окончил разговор с

кораблем, снял наушники и посмотрел на часы.

— Становись! — скомандовал он. Ему хотелось как можно скорее убраться от каменного истукана, таинственно возникшего на их пути как грозное предупреждение. Только теперь капитан осознал, что хилые туземцы, которых он искренне презирал, владеют такой чудовищной силой, перед которой бледнеет все электронно-ядерное могущество его страны. Ему было страшно, и он с нетерпением ждал момента, когда наконец окажется под защитой грозных орудий своего корабля. К тому же — он верил в это — тайна эликсира силы была теперь в его руках, и не следовало терять ни секунды. Поэтому он дал приказ выступать, хотя небо быстро темнело и до ночи оставалось совсем немного.

Но когда первый солдат вышел из-под защиты огады, в грудь ему впиалась тяжелая черная стрела.

4

Патрульный корабль Звездного флота, получивший повреждения в результате встречи с метеорным потоком, наткнулся на неизвестную планету после целого года странствий в неисследованной области космоса, когда надежд на спасение уже не оставалось. Посадка прошла удачно, и все поначалу восприняли духом, потому что атмосфера планеты была влажной, а спасти их могла только вода, точнее водород, на

котором работали двигатели. Увы, на планете не оказалось ни рек, ни озер, и, хотя была она сырой и болотистой, пятнадцать человек экипажа должны были работать как каторжники несколько лет, чтобы добыть для электролиньных установок корабля достаточное количество воды. Выход нашел лейтенант Кемпнер. С полудюжиной головорезов из Звездной пехоты он устроил облаву на аборигенов — эти хилые зеленокожие создания ютились в нищих деревушках среди лесов и болот. Вскоре несколько десятков туземцев, подгоняемых палками, исправно таскали воду к кораблю, а Кемпнер рыскал по лесам все дальше, пригоняя новых и новых рабов. Но однажды утром загон, в котором спали туземцы, оказался пустым.

Рассвирепевший Кемпнер кинулся в погоню. Он действовал проверенными методами. Изловив беглецов, он повесил каждого десятого, а остальных, жестоко избитых, велел заковать. Теперь у загона на ночь ставили часовых. Однако вскоре он опустел снова.

Следствие, учиненное лейтенантом, ничего не дало. Ограда из колючей проволоки под током оказалась целой, не найдено было даже следов подкопа, а избитые часовые клялись, что не спали всю ночь. Но всего непонятнее были найденные в загоне обрывки цепей, сковывавших пленников. Лейтенант мог поклясться, что цепи не распилены, не перекушены — это были именно обрывки, а сверхпрочная сталь могла бы

удержать рассвирепевшего слона.

К счастью, водорода запасли уже достаточно, и командир решил лететь. Но Кемпнер выпросил отсрочку и снова повел солдат в лес. Они вернулись через три дня, измученные до крайности, потеряв к тому же половину отряда, — робкие туземцы неожиданно оказали ожесточенное сопротивление. Уцелевшие рассказывать ничего не желали, только непрерывно пили и в пьяном бреду кричали такое, что остальные холодели от ужаса.

Все эти странные события остались тайной. Официально планета была открыта уже после того, как Кемпнер побывал на ней три раза.

5

Против ожидания туземцы не предприняли немедленной атаки на укрывшийся за изгородью отряд. То ли они накапливали силы, то ли у них был другой план, Кемпнер не знал. Но пока брезжили сумерки, они исправно осыпали стрелами каждого рискнувшего высунуться из-за забора.

Наступившая ночь взвинтила нервы до крайности. Солдатам чудились подползающие отовсюду враги, и они напряженно всматривались в ночную мглу. Время от времени кто-нибудь не выдерживал и начинал яростно палить в темноту. Поднималась всеобщая стрельба. На вспышки выстрелов из леса прилетали тяжелые стрелы. Уже два солдата были убиты ими, а третий, раненный в лицо,

лежал у подножья статуй, белея забинтованной головой, и тихо стонал.

Капитан Кемпнер понимал, что единственная возможность спастись — попытаться утром прорваться по дороге под прикрытием огня двух лучеметов. Созданная ими огневая завеса на какое-то время парализует действия туземцев, панически боящихся огня, и, если кольцо окружения не очень широко, отряду удастся уйти.

Так же отчетливо Кемпнер понимал, что пленных довести до корабля не удастся. А это значило, что многолетние поиски эликсира силы потерпели крах. Сейчас единственный человек, знающий язык туземцев, был в руках капитана, но чтобы вырвать у него тайну, оставалось лишь несколько часов короткой ночи.

Связанные по рукам и ногам пленники были прикручены нейлоновым тросом к подножью статуи. Рядом стоял Вуд с оружием наготове. Капитан приказал ему не спускать с них глаз — он отлично помнил пустой загон, в котором валялись обрывки цепей.

Когда все распоряжения были отданы и переговоры с кораблем закончены, капитан подошел к пленным. Несколько минут он всматривался в лицо человека в лохмотьях.

— Нам придется говорить здесь, доктор Робин, — сказал он наконец. — Поэтому мне не удастся повесить тебя по всем

правилам. Но живым тебе отсюда не уйти.

Капитан сделал паузу, словно хотел удостовериться, что его слова поняты правильно.

— Я очень сожалею, что мне придется так поступить. Но ты нарушил присягу Звездной пехоты и вдобавок покушался на жизнь своего командира. Ты дезертир и предатель, и за любое из этих преступлений тебе полагается смерть.

Станным был этот разговор в темноте ночного леса при бледном свете потайного фонаря, слегка освещающего лицо связанного, — разговор двух человек, из которых говорил один, а второй, с заткнутым ртом, только слушал.

— Но я готов отпустить тебя и твоих друзей. За это ты откроешь мне тайну эликсира силы.

Связанный отрицательно качнул головой.

— Подумай как следует. У тебя нет выбора. Если ты не согласишься, вы умрете все трое.

Капитан говорил очень тихо, так что стоявший рядом Вуд с трудом разбирал слова.

— Ты не имеешь права решать за них. Я знаю, они не хотят умирать. Переведи им мои слова.

Пленник снова покачал головой.

— Ты знаешь, что я с ними сделаю? — зловец спросил капитана. Робин кивнул. — И хладнокровно обрекаешь их на мучительную смерть? Подумай, ведь это твои друзья. Ты десять лет провел среди них. Они имеют право знать, из-за чего умрут.

Глаза пленного выражали такую ненависть, что Кемпнер не выдержал и отвел взгляд.

— Я могу предложить тебе другое, — сказал он наконец. — Ты можешь вернуться с нами на Землю. Кроме меня, о твоём преступлении не знает никто. Я доложил тогда, что ты убит в стычке с туземцами. Но ты уцелел, и теперь я вырвал тебя из плена. Ты получишь свое жалованье и заживешь припеваючи. За десять лет тебе причитается приличная сумма.

Напрасно капитан ждал ответного знака.

— Неужели жизнь в этих воюющих болотах тебе дороже всех сокровищ Земли? Ты был нищим врачом, когда пошел в Звездную пехоту. Но теперь ты будешь жить как в сказке. О тебе напишут книги. Журналы всего мира будут считать за честь получить твоё интервью. Ты принесешь своей родине сказочное могущество и этим обессмертишь себя. Наконец, за тайну эликсира силы ты получишь полмиллиона.

Пленник не шевельнулся.

— Миллион.

Упорство пленного начало выводить капитана из равновесия, потому что времени оставалось все меньше.

— Два миллиона.

Робин оставался неподвижным.

— Ну что же, — пробормотал Кемпнер злобно. — Тогда поговорим иначе. Ты сам этого захотел...

Он медленно достал из кармана зажигалку,

Сержант Кумбс привалился к ограде, чувствуя, как непреодолимые спазмы выворачивают его внутренности наизнанку. Он хотел только одного — любой ценой забыть все, что видел.

Близилось утро. Черное дождливое небо начало медленно сереть, и фантастические очертания каменного колосса постепенно выступали из мрака. Скорчившийся под забором Стражеско монотонно повторял в микрофон позывные корабля. Солдаты перезаряжали оружие, перекликаясь в тумане. Но сержант не думал о том, что с минуты на минуту может начаться бой — может быть, последний бой в его жизни.

Сержант всю ночь пролежал за лучеметом возле ворот — самого уязвимого места их обороны, — готовый в любой момент открыть огонь. Почему-то ему вспомнилась первая встреча с туземцами. Вслед за капитаном он вошел в одинокую лесную хижину, держа оружие наготове. Зеленокожий хозяин испугался так, что стал пепельно-серым, но все же поднес им чашу с чистой, удивительно освежающей водой — традиционный дар гостю на этой планете. Капитан выпил воду и тут же застрелил туземца и всю его семью. Это было его правилом — не оставлять в живых никого, кто мог бы рассказать Робину, что люди в форме Звездной пехоты идут по его следам.

В заповедях Звездной пехоты было много красивых слов о друж-

бе, чести, защите угнетенных. То, что делал капитан, совершенно не соответствовало духу заповедей. Кумбс не раз задумывался над этим. Конечно, зеленые не люди, но все же чрезмерная жестокость капитана вызывала невольный протест в душе сержанта. Он как-то даже заговорил об этом с Вудом.

— Сколько тебе платят за сутки звездных рейсов? — спросил тот. — Да за такие деньги можно стрелять в самого господ бога, а не только в этих тварей.

Срок контракта Кумбса истек через несколько месяцев, и он не раз мечтал, как по возвращении откроет собственное дело. Но сейчас, когда он лежал на размокшей земле, прижимая к плечу приклад лучемета, и дрожал от сырости, он вдруг подумал, что никто из них не вернется домой.

Незадолго до рассвета капитан приказал ему принести аптечку. В темноте сержант с трудом различил, что пленник в изодранном комбинезоне бессильно висит на веревках. Сержант достал из аптечки ампулу и примерился воткнуть ее иглу в руку пленника. Тут Вуд включил фонарь, и сержант с ужасом увидел, что лицо Робина превратилось в чудовищную маску. Опухшее, залитое кровью, покрытое ожогами, оно было неузнаваемо.

— Что вы возитесь, сержант? — заорал капитан. — Скорее! И если он сдохнет, я спущу с вас шкуру!

От укола пленник пришел в себя и с трудом поднял голову. Осатаневший от ярости Кемпнер вырвал кляп из его рта.

— Я заставлю тебя говорить, проклятый упрямец! — прокричал он. — Отвечай же! В чем секрет эликсира?

Кумбс услышал звуки ударов.

— Никакого эликсира нет, — простонал пленник, роняя голову на грудь.

— Врешь! Врешь! — рычал капитан, избивая связанного человека. — Он есть! Я знаю!

Капитан схватил захваченный в деревне лук.

— А как ты мне объяснишь это? Я могу любого из зеленых убить одним ударом, но я не могу согнуть их лук даже наполовину. Кто стреляет из таких луков? И как поставили эту статую? Вчера ее еще не было!

— Никакого эликсира не существует, — повторил пленник, теряя сознание.

— Кумбс, еще укол! Вуд, дай-те тетратил! Так ты не скажешь, Робин?

Сержант с ужасом увидел, как Кемпнер взмахнул флаконом над связанными туземцами, и тотчас по их голой коже побежали струйки голубого пламени. Приступ неудержимой рвоты согнул Кумбса пополам, и он уже не слышал, что кричал беснующийся капитан, не видел извивающихся в смертной муке тел. Обессиленный, оглушенный, он, шатаясь, отошел в сторону и свалился возле забора, рядом со Стражеско, который по-прежнему бормотал

что-то в микрофон, и затих, изредка конвульсивно вздрагивая.

Резкий окрик капитана заставил его вздрогнуть. Он приподнялся. Небо уже светлело. Наступал день — их последний день.

— Вы оглохли, сержант? Марш к лучемету!

Кумбс взглянул на капитана обезумевшими глазами. Сейчас его поставят к лучемету, и он опять будет жечь... жечь... Сжигать живьем... Всех — молодых, отарых...

— Не-ет! — вдруг дико закричал он. — Не буду! А-а-а!

Он вскочил и побежал, нелепо размахивая руками и выпуская бессвязные вопли. Ошеломленные солдаты не успели ему помешать — он выбежал за ворота и помчался к лесу, скользя и падая на мокрой траве.

— Тем хуже для тебя, — процедил капитан и медленно, как на учениях, прицелился в спину сержанта.

Выстрелить капитан не успел. Сержант вдруг отделился от земли, словно подхваченный таинственной силой, описал в воздухе огромную дугу и исчез за стеной деревьев. Потрясенные солдаты с ужасом смотрели ему вслед. Кто-то закричал, кто-то бросился на землю, закрыв голову руками.

Никто не заметил, как в это время привязанный к подножью статуи пленник одним легким движением разорвал сверхпрочные веревки и поднял брошенный сержантом лучемет. Теперь в его руках было оружие, способное защитить эту планету от пират-

ских кораблей Звездного флота, охотящихся за несуществующим эликсиром силы. Затем одним гигантским прыжком он преодолел расстояние, отделявшее его от леса. И как только он исчез за колчухами вершинами, солдаты услышали странный звук, словно кругом них всхлипнула жалобно земля и весь лес словно пошатнулся. А затем неотвратно и страшно огромные деревья, вырванные с корнями из земли, начали рушиться со всех сторон на ограду, дробя ее в щепень, уничтожая обезумевших от ужаса людей.

Когда все было кончено, туземцы собрали уцелевшее оружие. Робин отыскал изодранную сумку с медикаментами и отправился туда, где под присмотром туземцев сидел трясущийся, полуобезумевший Кумбс.

Увидев склонившееся над ним обезображенное пыткой лицо, сержант дико закричал и попытался бежать, но ноги отказались ему повиноваться. Робину с трудом удалось успокоить его. Лишь после нескольких уколов глаза сержанта стали осмысленными, и он перестал метаться и вскрикивать.

— Не убивайте меня, — жалобно сказал Кумбс и тихо заплакал.

Робин с трудом улыбнулся изуродованными губами.

— Сейчас мы отведем вас к кораблю, и вы улетите на Землю. Убедите экипаж улететь как можно скорее, не пытайтесь ничего предпринимать. В противном случае корабль будет уничтожен.

У нас достаточно сил, чтобы сделать это.

— Эликсир силы? — с трудом выдавил из себя Кумбс.

— Его не существует, — отрубил Робин. — И это самое главное, что вы должны рассказать на Земле. Но у народа этой планеты есть гигантская сила, которую нельзя ни украсть, ни отнять. Это что-то наподобие цепной реакции в уране. В малых количествах он безопасен, но едва его масса достигнет критической — взрыв! Так и наша сила — она проявляется лишь в тех случаях, когда мы собираемся все вместе для решения общих дел.

— Вы сказали «наша сила», — пробормотал пораженный Кумбс.

— Да, это и моя сила. Впрочем, она также и ваша, и любо-

го, кто пришел сюда с миром. Сегодня она спасла вашу жизнь. Так помогите сделать так, чтобы больше никто не прилетал сюда убивать. Расскажите там, на Земле, обо всем, что увидели и услышали. Передайте, что мы щедро поделимся своей силой с теми, кто придет к нам с открытой душой. Это будет вашей платой за спасение.

— А вы? — спросил сержант. — Разве вы не хотите вернуться?

Робин грустно улыбнулся.

— Мое место здесь. На Земле слишком много любителей легкой наживы. Мы должны быть готовы встретить их. Скоро всю планету покроют дороги, и мы сможем быстро собираться там, где есть опасность. Об этом вы тоже расскажете дома. А сейчас пора в путь.



ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

давление жизни

Он шел по красной, смерзшейся равнине прямо, только прямо — уже вторые сутки. На нем был заметный издали ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского ветра вторглось гудение мотора.

Он шел походкой заводного автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше, ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Впечатления утомляют не хуже, чем расстояния. Из всего пройденного пути в памяти остались какие-то обрывки, все остальное слилось в туман, а прежняя жизнь отдалилась куда-то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.

Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильнее болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке — он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишнего притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинаясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.

Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравни-



весить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы чуть изменялось, и свист ветра в ушах (точнее — в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватил мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.

Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем бывал не крут, он не сбавлял шага, а при спуске даже ускорял и радовался, что холмы помогают идти быстрее, хотя это был явный самообман, и он знал

это. Все равно ему нравилось «отпускать тормоза». (Еще в детстве он любил воображать, что не идет, а едет, что он сам автомобиль и вместо ног у него четыре колеса; приятно было самому себе «поддавать газ», то есть «шагать быстрее», «выворачивать руль», избегая столкновения с прохожим, и «жать на тормоза». Сейчас он тоже казался себе машиной.)

Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем красней делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за гребнями уже копились темно-фиолетовые сумерки. Ветер как-то незаметно

смолк. Все оцепенело, и на Севергина — так его звали когда-то, но это теперь не имело значения — повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночи, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни.

Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все-таки надеялся в глубине души, что его спасут... Конец светлого дня означал конец надежды.

Издали, от синюшных вздутый эретриума, пересекая тени, прокатилось что-то живое, приблизилось к Севергину. Взгляд маленьких, розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Севергин положил руку на пистолет. Но зверек, не задерживаясь, пробежал по своим делам. Какой-то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живо и не случайно исчезнет еще до того, как солнце вновь окрасит равнину.

Севергин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя! Кто-то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предreshило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему?

Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело.

Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. А ему хватило ста, чтобы изнемогнуть.

Так было всегда.

Он родился неподноценным — не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба, — тысячи людей не могут есть чего-то: кроме неудобств, это ничего не создает. Природа откатила ему в более важном — в силе. Он был не болезненней других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку.

Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие, как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставят ограничитель. А вот в его организме такой ограничитель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привернутый фитиль не способен на яркое пламя.

Сверстники снисходительно презирали его за слабость, а учителей физкультуры он доводил до бешенства. Если врачи ставят диагноз мальчишке «здоров», если парень нормально сложен, то какое он имеет право мешком висеть на канате?! Физкультура была кошмаром детства и юности Севергина. При виде брусев, колец он трясся, как осужденный на пытку. «Чемпион, чемпион!» — кричали ему ребята в пропахших потом и пылью физкультурных

залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом (беззлобным, но оттого не менее обидным) они встретят его нелепый, позорный прыжок через «козла».

Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач тоже не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, но не пожал плечами, не посмотрел на мальчика, как на симулянта, а спокойно сказал:

— Отклонения в обмене веществ, похоже, генетические. Пока неизлечимо. Не огорчайтесь. Футболистом вам не быть, а в остальном... В пещерные времена вас скушал бы первый же тигр, но какое это имеет значение сейчас? Так что не обращайтесь внимания.

Кошмар рассеялся навсегда.

Вот чем все это кончилось — печально гаснущей равниной Марса, сумасшедшим бегом от самого себя...

Севергин заставил себя лечь, устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые движения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость.

Он сам во всем виноват, обвинять некого. Он сам бросил судьбе вызов, отправившись на Марс. Не так, разумеется, как в детстве, когда, ревя от злости, он вновь и вновь хватался за штангу, чтобы или поднять ее, или свалиться за смертью. О, о таких схватках прославленный доктор микробиологии и думать забыл! Он уже давно жил в мире, где все решал ум,

а физические достоинства не имели значения. Там он был на месте, более чем на месте. Не удивительно, что именно его, а не другого попросили срочно прибыть на Марс, чтобы разобраться в тревожном поведении кристаллобактерий, необъяснимо преодолевших фильтры водоочисток. Плевать всем было на то, может он или нет подтянуться на турнике: Марсу требовался его ум, а не мускулы.

Он мог бы не поехать. Но избранныком прийти на Марс, приблизиться к тому переднему краю, где человек ведет суровую борьбу за выживание, — мог ли он отказать от столь блистательного реванша за унижения детства? Чтобы почувствовать себя таким избранныком, надо было закрыть глаза лишь на ничтожный пустяк. А именно: никто — ни люди, ни обстоятельства заведомо не требовали от него на Марсе рукопашного боя с природой. Там, как и на Земле, он оставался пассажиром корабля, именуемого цивилизацией, и от штормов его отделяли надежные иллюминаторы. Разве капитан, беря пассажиров на борт, справляется об их умении плавать?

...Он летел из Сезоастриса в Титанус, сидя в мягком кресле крохотной автоматической ракеты, которая сама взлетает, сама садится и вообще все делает сама. Он сидел в кресле и читал. Очнулся он, лишь когда увидел приближающиеся снизу скалы. Он не знал и теперь никогда не узнает, что испортилось в механизме.

Но и падая, ракета позаботилась о нем: катапульта вышвырнула его прежде, чем он успел сообразить, что произошло.

Одного не смогла сделать автоматика — уберечь его при парашютировании от удара о скалу (но ведь и самая заботливая мать не всегда уберегает ребенка от ушиба!). К счастью, удар пришелся не по Севергину, а по сумке с аварийным запасом. Рация превратилась в винегрет, посеребренные осколками кофейного термоса, но все остальное уцелело, в том числе и драгоценная планкарта, позволяющая точно определиться в любой местности.

Он определился, как только пришел в себя. Все было и очень хорошо и очень плохо. Он находился в южной части хребта Митчелла, в стороне от трассы, которой следовала ракета, и вне зоны радарного наблюдения. Это означало, что место его падения Сезоастрису не удалось засечь даже приблизительно. Зато он был всего в ста шестидесяти километрах от поселка геологов. Баллоны скафандра и аварийного запаса обеспечивали тридцать шесть часов дыхания. Таблетки, снимающие сон, тоже были. Гористая местность кончалась километрах в семи от места падения, и горы тут были не слишком крутыми, не слишком высокими — вполне туристские горы. Прекрасно! Часов за шесть он пересечет горы, дальше начнется равнина, где вполне можно держать среднюю скорость равной пяти с половиной километра в час. Он успеет дойти.

Ведь идти — не бежать, тут его организм не подведет.

В какой-то момент он даже обрадовался: он на самом деле возьмет реванш!

Он рассеял вокруг места аварийной приметную сверху флюоресцирующую краску и бодро двинулся в дорогу.

Он забыл, что даже в невысоких горах, если не хочешь удлинить свой путь впятеро, надо кое-где карабкаться отвесно вверх, подпрыгивать через трещины, подтягиваться на руках, то есть делать все то, что делать он был не способен.

На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов, тогда как любой парень со значком туриста потратил бы на его месте от силы шесть-восемь!

Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет.

...Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Севергин встал. Его вытянувшаяся тень сканула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разыгравшиеся эмоции.

Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но в вышине неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто-то трогал их, беря аккорды цветомузыки. Золотистые, лиловые, красные — тона были нежные, легкие, высокие.

Севергин поднял голову и шел так, улыбаясь чему-то, поражаясь тому, что улыбается, и желая себе вечно быть таким, как сейчас.

Не надо спорить с природой — он только теперь это понял,

Не надо требовать от нее уюта диванных подушек, надо брать то, что она дает, и любить каждое мгновение своего существования, ибо вдали у каждого все равно смерть. Так стоит ли ненавидеть жизнь за то, что она не вполне соответствует желаниям? Камень падает, река течет, человек ищет счастья, все совершается по своим законам, их надо понять, а спорить — к чему?

Севергин незаметно для себя перешел тот рубеж, который отделяет отрезок жизни, когда о смерти не думают, от последней прямой, когда точно известен час конца. Разные люди пересекают этот рубеж по-разному, но все они открывают за ним что-то новое для себя — страшное, великое, в чем есть и ужас и примирение.

Небо почернело, но темнота длилась недолго: поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охватывавший колено при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Севергин усилил электрообогрев.

Равнина стала плоской, как разостланная скатерть, но кое-где ее узенькими мазками туши пятали тени, отброшенные редкими стрелками сафара — марсианской травы. Неожиданно Севергин заметил, что старается не наступать на эти стрелки, и удивился, откуда взялась у него такая бережность.

Потом он вспомнил откуда. Хмурым и ветреным апрельским днем он шел однажды дубовым лесом. Деревья стояли по-зимне-

му нагие, корявые, землю устилали ломкие листья, и под ногами хрустели желуди, такие же коричнево-серые, как и листья. Хруст желудей был чем-то приятен слуху. В нем отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела.

Так шел он, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая-то бледно-зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся: то оказался росток желудя, уже вцепившийся в холодную землю. И тут он увидел, что вокруг таких звездочек много, что они везде и что он шагал по ним тоже.

На цыпочках он поспешил покинуть лес.

Как тогда, Севергин остановился и нагнулся над стрелкой сафара. Почему-то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другое.

Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, косо воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочней стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь, Севергин это знал. Но сафар так же ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была уготована весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы.

С этим тоже следовало смириться.

Внезапно от стебля сафара про-

легла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Выходил Фобос.

Севергин выпрямился. Его окружала ярко освещенная равнина. Узкие, сдвоенные тени лежали на ней черной клинописью. Севергин, освещенный лунами, возвышался над темными письменами, как памятник.

И все-таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью! Порою предметное стекло напоминало поле битвы, так густо его усеивали трупы бактерий, убитых ядами, ультрафиолетом, радиацией. Ни проблеска движения, вот как сейчас. Но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевало для жизни новую сферу там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки.

Так было всегда. Никакая ошибка в природе не была ошибкой. Зародившись в воде, земная жизнь овладела сушей, вышла в воздух. Кто знает, может быть, через сотни миллионов лет и без человека ее давление выбросило бы семена новых всходов в космос, перенесло их на другие планеты? Почему бы и нет? Суша для обитателей моря тоже была гибельной пустыней. Но волна за волной, влекомые обстоятельствами, они шли на приступ, и на триллионы погибших всегда приходились одиноч-

ки — не такие, как все, одиночки, которые смогли уцелеть в новой среде.

Единственный случай, когда их существование оправдывалось! Ибо в привычных условиях эти же десантники скорей других обрекались на гибель. Когда стая птиц попадает в бурю, то смерть выбирает жертвы не слепо. Выверенный миллионами лет эволюции стандарт может противостоять буране именно потому, что в его отшлифовке участвовали тысячи буранов прошлого. Но горе тем, кто нестандартен!

Он, Севергин, был нестандартен, и потому горы победили его, а не он их. Техника позволила людям почти избежать потерь при движении к другим мирам. Если бы она всегда была безотказной, потерь не было бы вовсе. Но, увы, щит не был и не мог быть абсолютным...

Севергин внезапно понял, почему из всего, о чем он мог думать в свои последние часы, он думал об этом. Бессознательно, невольно он искал утешения. Разум не может смириться ни с бессмысленностью жизни, ни с бессмысленностью смерти. Так он устроен. Как будто от этого легче!

Безбрежная тишина стояла вокруг него. Луны сблизились и смотрели с высоты пристально, как два глаза. Всякое движение в этом замершем мире казалось святотатством. Севергин ускорил шаг.

Теперь он не сделает того, о чем недавно думал. В минуту, когда начнется удушье, он не вы-

нет пистолет и не застрелится. Живым не все равно, как он погибнет, друзьям будет больно, если его найдут с дыркой в сердце. Пример малодушия? Не то... Просто человек обязан бороться до последнего вздоха. Как борется трава, как борются бактерии. Мера стойкости человечества зависит от меры стойкости каждого, вот и все.

Теперь он шел и думал о друзьях, о тех, кого любил, о том, что сделал и чего не сделал. Многое из того, что раньше казалось важным, стало теперь совсем неважным. Слава, власть, успех. Они не опора человеку, когда приходит смерть. До нее и после человек жив тем хорошим, что сделал он для людей. Лишь дружба, благодарность и любовь могут поддержать и успокоить, когда наступает время подвести итог. Особенно любовь. Недаром так часто последним словом умирающих бывает слово «мама»...

Сейчас он стал бы жить совсем совсем иначе.

Поздно.

Фобос закатился. Подул ветерок, уже предрассветный. Значит, он дождется утра. Почему-то ему хотелось, чтобы это случилось при свете солнца.

Но тут в регуляторе давления воздуха трижды щелкнуло.

Он похолодел. Сигнал, предупреждающий, что кислород иссякнет через десять минут. Конец.

Немеющие ноги сами усадили его на побелевший от инея ка-

мень. Небо у горизонта чуть поблекло, но до восхода солнца было еще далеко.

Может быть, выключить обогрев и замерзнуть? Говорят, что это походит на сон.

И вдруг ему невероятно, позвериному захотелось жить! Он не успел, не доделал, не исправил, не долбил — он не мог исчезнуть просто так!

Он вскочил. И задохнулся. Словно ко рту прижали маску! И все же пошел. Легкие вздымались и опадали — чаще, чаще их сводила боль, горло сжалось в хрипе, он упал на колени и все равно пополз. И когда сознание потемнело, а тело забилося в конвульсиях, он рванул напроць шлем и глотнул марсианского ветра, как тонущий глотает воду, потому что не глотнуть ее не может.

В легкие прошел холодок, боль последней вспышкой озарила мозг, и все погасло.

Погасло, чтобы снова замерцать. Он очнулся от судорог, выворачивающих легкие, и увидел перед глазами что-то красное, колышущееся.

С невероятным усилием он поднял голову. Было уже светло. И он полз! И он дышал марсианским воздухом! Его организм был не таким, как все: он выжил!

Он даже не осознал этого. Он продолжал ползти. Он полз яростно, упорно, повинясь уже не разуму, а инстинкту: все вперед и вперед, туда, где были люди.

ИГОРЬ РОСОХОВАТСКИЙ

обратная связь

«Умирает человек — гаснет звезда.
Падает звезда — умер человек».
Восточная поговорка

Дождь стучал в окно старческими дрожащими пальцами. Стучал монотонно и настойчиво. Казалось, что он просачивается в уютную комнату, постепенно наполняя ее сыростью и холодом; что и одежда на мне становится влажной и скользкой. Иногда дождь перемежался порывами ветра, выдувающего последние крохи тепла и уюта.

«Имею ли я право быть равнодушным ко всему этому безобразию? Ведь это же не капризы погоды! Пожалуй, я один знаю, в чем тут дело, кто виноват», — тихая злоба медленно накапливалась и оседала во мне.

И снова, как это случалось каждый день на протяжении этих недель, дождь мгновенно прекратился, ветер утих, и июльское солнце ударило сквозь промытую, как стеклышко, синь немилосердно жгучими лучами. Я глянул на термометр. Синий столбик успел взлететь с восьми до сорока пяти градусов. Духота... Нечем дышать... Пот заливает глаза, приходится все время шевелить лопатками, чтобы отклеить рубашку.

С улицы донесся короткий гудок автомобиля. Я выглянул в окно. Сразу три «Скорые помощи» въезжают в наш двор. Разбежались детишки, которые, на зависть старшим, обливали друг друга из шланга, оставленного дворником.

Ледяной порыв ветра захлопнул мое окно так, что зазвенели стекла. Стало темно. На улице раздались испуганные крики и топот ног. Наискось, подгоняемые

ветром, полетели крупные снежинки, устилая густую зеленую траву и цветы на клумбах.

Мое терпение лопнуло, как слишком туго натянутый канат. Раздраженно шлепая домашними туфлями, я прошел в переднюю, накинул плащ.

На лестничной площадке столкнулся с соседом.

— Срывается пикник! — с досадой сообщил он, как будто меня это интересовало.

— Да что там пикник! — слышался женский голос с лестницы. — Дети попростуживались. То жара, то холод. Такого еще не бывало. Прямо конец света!

«Ничего, сейчас конец превра-

тится в начало», — зло подумал я, представляя его торжествующее лицо, его голос, которым он спросит: «Значит, признаете, что я был прав?»

Когда я спустился во двор, снега уже не было, и только дымящиеся лужицы на асфальте подтверждали, что это не была галлюцинация.

Дворник Аркадий Юрьевич сокрушенно размахивал руками, доказывая каждому встречному, что убирать двор в таких условиях невозможно. Увидев меня, он явно обрадовался еще одному собеседнику:

— Вот вы, ученый человек, скажите, разве такая погода мо-



жет быть сама по себе? Да это же невиданно и неслыханно! История такого не знает! Да что история, когда дед Саня — и тот не помнит!

Его лицо лоснилось от удовольствия: еще бы, он присутствует при событиях, которых не знала история.

— Оно конечно, — продолжал Аркадий Юрьевич, — если всякие атомы разлеплять да автоматические станции заяривать...

Я демонстративно прошелестел плащом мимо него, с ужасом представляя, что бы он говорил, если бы узнал правду.

Ступеньки лестницы гудели под моими ногами. Из-за закрытых дверей квартир то и дело слышались чихи, сморканья, стоны, детский плач. Если закрыть глаза, покажется, что вошел в поликлинику в разгар эпидемии гриппа.

Я остановился перед дверью с номером «8», изо всей силы вдавил кнопку звонка.

— Минуточку! — донесся из глубины квартиры удивленный голос.

Я не снимал руки со звонка.

— Иду, иду! — слышались шаркающие шаги, и дверь открылась. Передо мной стоял он, придерживая левой рукой распахивающийся мохнатый халат. Из халата, словно из черепашьего панциря, высывалась длинная шея, а на узком лице блуждала всегдашняя растерянная и застенчивая улыбка — улыбка неприсутствия. В минуты раздражения мне казалось, что он прикрывает-ся ею, как щитом.

Морщинистое выразительное лицо пришло в движение, толстые губы шевельнулись:

— Вы?

Его глаза смотрели выжидающе, и мне заранее стало горько оттого, что я должен буду сейчас сказать. Идя за ним в комнату, глядя на его тонкие волосатые ноги и коричневые пятки, я чувствовал, что задыхаюсь от негодования. Он опустился в кресло, от которого тянулись провода к аппарату, похожему на стабилизатор, наклонил на голову проволочный шлем. Его руки сами собой легли на выгнутые пластины контактов, и я, сделав над собой усилие, сказал:

— Николай Николаевич, вы должны прекратить это...

Краска радости залила его втянутые, плохо выбритые щеки:

— Значит, вы признаете...

— Да, да, — поспешно сказал я.

— Хотите посмотреть графики и журнал наблюдений? — Он снял одну руку с контактной пластины, и тотчас прокатился раскат грома.

Я с тоской посмотрел на синее безоблачное небо, отвел протянутый мне журнал.

— Скажите лучше, как вам удалось построить усилитель?

Он довольно зачмокал губами.

— Я использовал магнитное поле Земли. По сути дела, оно и служит усилителем. Оставалось лишь построить прибор, который бы передавал данные со снимателя биотоков к усилителю. Вы ведь помните, как удалось выяснить,

что ритмы биотоков мозга точно соответствуют ритмам солнечной деятельности?

— Да, да, — сказал я. — Но...

— Вы и тогда говорили «но», дорогой мой, — с легким укором произнес он. — А помните, какой переполох вызвало в академии мое сообщение о том, что характеристика некробиотического излучения человека точно соответствует характеристикам излучения «сверхновых» звезд? Но что же тут было удивительного? Разве не общеизвестна связь солнечной активности с заболеваниями сердца и мозга, с эпидемиями, с процессами размножения? Разве не было доказано, что ритмы биотоков мозга идентичны ритмам пульсации звезд, что угасание мозга и звезды сопровождается теми же ритмическими характеристиками? И разве не вы сами, не вы все говорили о гармонии природы и человеческого мозга — этого удивительного органа, с помощью которого природа осознает самое себя? Почему же мое утверждение об обратной связи вызвало бурю протеста?

Тяжелые громовые раскаты раздавались один за другим. Тучи заволокли небо, которое еще несколько минут тому назад было безоблачным. Выпуклые наивные глаза Николая Николаевича смотрели на меня удивленно, брови и уши поползли вверх. Это было в его манере — делать неожиданные выводы из общеизвестных положений и удивляться, почему их не понимают другие.

— Прямую связь «звезда —

человек» признают все, — проговорил он, не изменив выражения лица. — Отчего же не согласиться с существованием и обратной связи — «человек — звезда»? Или люди полагают, что, когда они злятся, ненавидят, радуются, ничего во вселенной не меняется? Вспышки на солнце, например, резко меняя погоду, вызывают у нас изменение настроения — подавленность, злобу или, наоборот, радость, бодрость... А вспышки человеческой ненависти или радости ничего не меняют на солнце? И это в мире, где все связано? Достаточно кому-то полюбить — и вот вам еще один вариант мира, в котором на этот раз на одну любовь больше. Ну погодите, когда я представлю сравнительные графики погоды и моих биотоков, спорить об обратной связи не придется!

Солнце растекалось по настольному стеклу... Слабая надежда пришла ко мне, и я с нетерпением спросил:

— Когда же это будет? Когда вы закончите свои опыты?

— Но, голубчик, я их только начал, — мечтательно проговорил он, как бы предвкушая будущие успехи. — Нужно еще проследить влияние процессов тоски, ярости, осмысливания прекрасного, рождения великих мыслей не только на наше солнце, но и на отдаленные звезды и созвездия. Я уже связался с Крымской обсерваторией, с Пулковом...

Я не мог больше сдерживаться.

— А знаете ли вы, что творится на улице, как влияют резкие

перемены погоды на людей? Сколько детишек простудилось в эти дни?!

— Неужели? — встрепенулся он, и за окном промчался порыв ветра. — Ай-я-яй, в эти дни я читал детективы. Нужно перейти на другие литературные жанры.

Он искренне качал головой и огорчался. Он не был ни извергом, ни преступником. Но он экспериментировал — и ему казалось, что вселенная только и существует для его опытов, а до всего остального ему не было никакого дела. И он, на секунду пожалев простуженных детей, тут же забыл об их существовании, чтобы начать новую серию опытов. Я подумал, что, будь на свете бог, он выглядел бы так же.

— Нужно прекратить опыты, — как можно суровее и тверже сказал я.

— Что вы? Что вы? — замал он руками, и вспышки молний слились в нестерпимом блеске. — Шутите... Интересы науки... Я только постараюсь поменьше волноваться, чтобы не было резких перепадов...

Я знал этого человека достаточно хорошо и понимал, насколько бесполезны уговоры. «Необходимо немедленное заседание Президиума академии, — подумал я. — Сегодня же. Сейчас! Полностью согласиться с его гипотезой обратной связи, наметить план исследований...»

— Вы правы во всем, — ска-

зал я, и довольная улыбка расплзлась по его лицу. В ту же минуту стих ветер, последним порывом сдунав с неба облака.

— До свидания, мы проведем экстренное заседание Президиума, — как можно любезнее говорил я. — Выключим проверку вашего предположения в план.

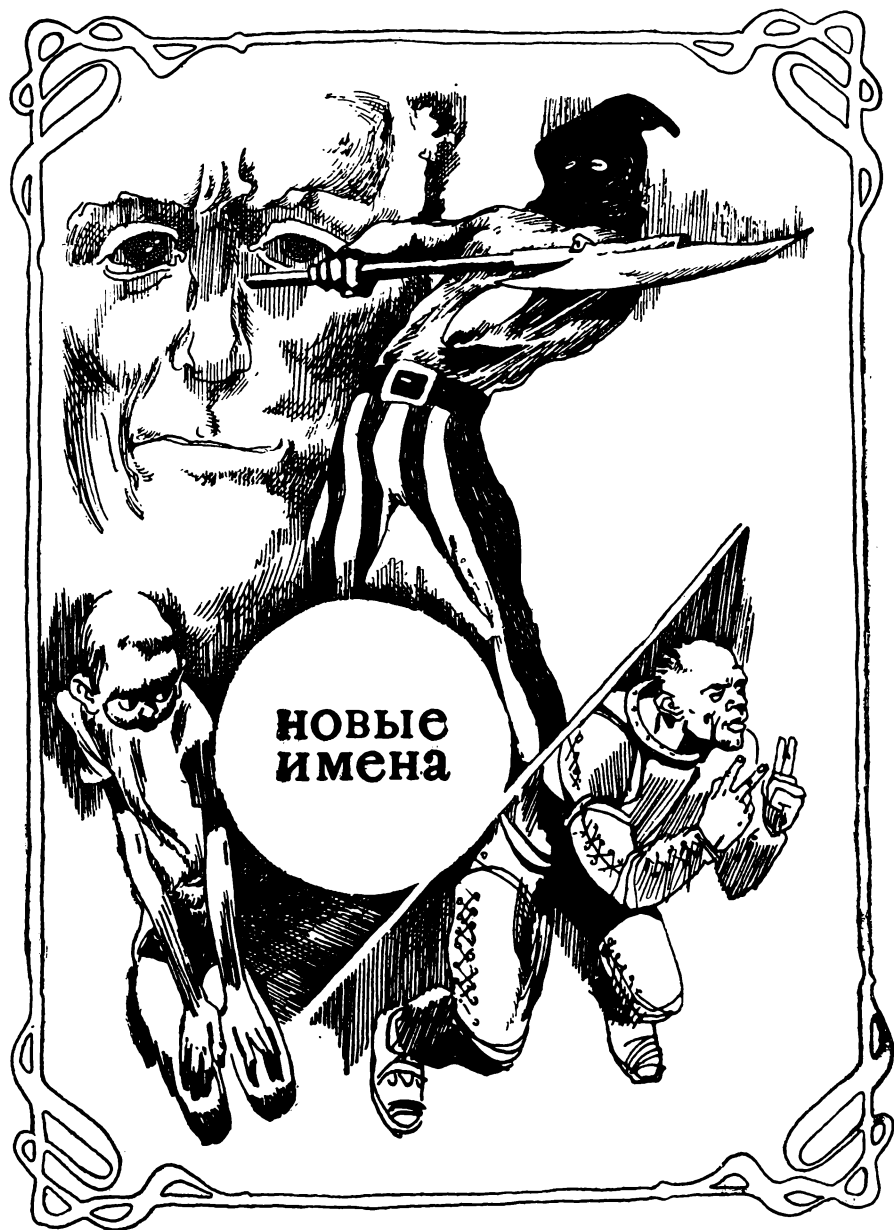
— Очень, очень хорошо, — облегченно вздохнул Николай Николаевич. — Знаете ли, все-таки перегрузки сказываются. В последние дни что-то барахлит давление. А ведь у меня в прошлом году был инсульт...

— Инсульт, — бормочу я, прячась к двери. — Инсульт? Тогда и солнце...

Он понял мой испуг, попытался успокоительно поднять руку, но вовремя вспомнил о контактной пластине.

— Ну, это совершенно не обязательно. Уверен, что успею отключиться от усилителя.

...Люди изумленно оглядываются на меня. Никогда в жизни я не бегал так быстро. Комнатные туфли сбросил — босиком легче. Время от времени подымаю голову, чтобы взглянуть на солнце, шепчу про себя: «Только бы не было инсульта, только бы не было...» и невольно вспоминаю восточную пословицу: «Умирает человек — гаснет звезда...» Недаром говорят, что в каждой пословице есть свой смысл...



0

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Недавно я впервые в жизни обратился к психиатру.

Чувство, охватившее меня при входе в его кабинет, нисколько не напоминало ту щемящую тревогу, которой обычно полны приемные врачей. Наоборот, мне захотелось поскорее окунуться в зеленый свет больших папоротников, что так уютно сомкнулись над глубокими креслами. И сам врач, восседающий в своем светлом тропическом уголке — великий Валентин Вишневский, — казался удивительно «своим парнем». Молодой, с мягкими нервными глазами на худом носатом лице, с нежной и длинной мальчишеской шеей, выступающей из открытого ворота белой рубахи, — неужели ему ведомы шахты человеческой души? Назвать бы его не доктором, а просто Валиком, да пригласить в мою гасенду пить чай на веранде и слушать ночной концерт леса...

АНДРЕЙ ДМИТРУК

наследники

— Здравствуйте, вы, наверное, Иржи Михович?

— Да, доктор.

— Зовите меня просто Валик... Что вы стоите? Хотите лимонаду? Астро-кола?

— Если вы уж так любезны, рюмочку коньяку.

— С удовольствием.

Он поставил на стол две старинные рюмки из хрупкого стекла.

— Двенадцатилетний... Ну, выкладывайте, Иржи. Как говорится, каким ветром вас занесло в мою келью?

Я прекрасно понимал, что вся эта увертюра преследует одну цель: заставить пациента довериться, погасить его болезненную настороженность. Но следует отдать справедливость — увертюру играл мастер. Разве можно передать на бумаге полурадостные, полувиноватые улыбочки Вишневого, его дружеские, ласковые манеры, его чуть звенящий голос, одинаково далекий и от заискивания и от фамильярности?

Однако я и не собирался ничего скрывать.

— Не считите за обиду, Валик, но... я не тот, за кого вы меня приняли. Да, я старший пилот в группе Пятой координаты и потому уже много лет болтаюсь в пустоте. Мы очень редко видим даже станции внешнего пояса, не говоря уже о населенных планетах. Сами знаете, наши опыты... И все-таки я вопреки вашим ожиданиям не гонюсь за космическими призраками, не боюсь одиночества в корабле и спокойно возвращаюсь из самых трудных рейсов. Мне тридцать два года, я идеально здоров, моя генетическая линия чиста, как луч света, — ни одного угнетенного комплекса на двадцать поколений предков. Да... Вы знаете, наверное, эти дальние пращуры оставили мне необъяснимую любовь к лесу. Когда мой корабль опускается на лесистую планету, меня охватывает шальная радость. Лес — самое прекрасное, что создала природа. Горы круты и неприступны. В степях печет солнце, гуляют дожди и грозы. Море

только и ждет, как бы тебя проглотить. А лес... Я невольно говорю сейчас категориями древних. Пытаюсь понять, откуда это во мне, родившемся за пятьдесят парсеков от ближайшего дерева... Извините.

— Ничего, продолжайте.

— Да, конечно, вы суммируете наблюдения... Короче говоря, у меня есть маленький домик на Земле в одном из лесных заповедников Северной Америки. Кругом чудесный сосновый бор... Знаю, что многие мои друзья облюбовали для отдыха атоллы в Тихом океане, пальмовые рощи Инда, прерии Техаса и Гималайские кряжи, но я не мог иначе... Вы когда-нибудь видели сосну?

— Тут у нас есть сосны.

— Очень хорошо. Я назвал свое жилище гасиендой святого Георгия... Сам дом построен из настоящих сосновых досок, сбитых деревянными же клиньями. Недавно я получил отпуск и, разумеется, полетел к себе, в прекрасный сентябрьский Орегон... Вообразите себе: веранда, вечер, мошकारа под колпаком настольной лампы, чашка черного кофе... Наверху, в вершинах, бормочет ветер, а под стволами тихо, тепло, темно. Летучие мыши над домом — раз туда, раз сюда...

Так вот, посидел, попил кофе и отправился спать — такой умиротворенный, на себя не похож. Среди ночи просыпаюсь. Тишина. В комнате ни кванта света. За окном — контуры веток и звёзды. Лежу и думаю: чего проснул-

ся? А на душе тревожно. Голова в огне. Никогда со мною такого не было. Так ясно мне представилось: ведь это же преступление — не спать, рассвет скоро, а тогда... уже и калачиком свернулся, и глаза закрыл прилежно. Но слишком силен был во мне анализ, и я уцепился за свой непонятный страх — что «тогда»? Кругом был холод, Валик, жестокий холод. Вернее, ожидание холода... Хвататься за последние крошки сна, а потом идти, спешить куда-то...

Мне чудился промозглый, невиданно унылый путь, блуждание по мертвому, тесному, разделенному на клетки пространству. Там нет опасности, есть только убийственная монотонность работы, когда хочешь спать — и не можешь. Иначе случится что-то ужасное. День за днем, год за годом, как вечный двигатель... И глаза в темноте комнаты! Я был не один. Кто-то осторожно и тихо следил за мной, боясь обеспокоить — следил по-собачьи, голодными глазами. Жизнь его зависела от меня, только от меня. Я — грязный, отупевший человек-двигатель — был кормильцем, хозяином жизни нескольких еще более слабых существ. Они ждали меня, когда я возвращался вечером, как первобытный охотник из джунглей; они хранили мой короткий сон, боясь кашлянуть в душном воздухе моей конуры... Я чувствовал их запах...

Нет, утром все кончилось. Позже мне удалось узнать... Когда-то на месте моего леса стоял огром-

ный город. Даже сейчас еще археологи находят среди сосен ржавые каркасы домов, обвалившиеся туннели. А в городе жили миллионы людей. Они рождались, росли, растили свою злость: им не хватало кислорода, света, простора. Они грызли себя и других, завидовали, строили иллюзии... И работали, однообразно, ординарно, все, как один, из поколения в поколение — сначала мучились, потом привыкали, тупели, рефлекторно делали заученные операции. Старели, умирали... В эту ночь я стал одним из них...

— Ясно, — сказал Вишневский и встал из-за стола. — Вы не первый и не самый трудный. Дело в том, что у Земли громадное прошлое. Его отголоски лучше всего слышны в пустынных заповедниках. Остаются не только ржавые каркасы — во времени ничего не теряется. Вы здоровы, Иржи. Это просто неизвестный науке вид информации, так сказать, долгосрочная телепатия, записанные непонятным кодом чувства и мысли наших предков.

Он достал из ящика стола большую трехмерную фотографию, подал мне. Я повертел ее в руках. Фотография изображала голову мужчины средних лет. Жилы на его шее были напряжены, как буксирные тросы, волосы ошетинились над сморщенным лбом, зубы закусил нижнюю губу, словно мужчина сдерживал крик боли... Глаза были светлые, бешеные и вместе с тем молящие.

— Это один из моих пациентов. У него вилла на территории бывшей Польши.

— Что же это он так?

— Вы хорошо знаете историю, Иржи?

— Думаю, что неплохо.

Валик положил изображение на стол.

— Лет четыреста назад недалеко отсюда был город. И назывался он Освенцим...



ВЯЧЕСЛАВ МОРОЧКО

**там, где вечно
дремлет тайна...**

На космодроме Гюльсара борт-техник Чингиз узнал, что в одной каюте с ним полетит пассажир. Тот появился на борту грузового лайнера «Байкал» в последние минуты перед стартом. На лайнере пассажира с первого же дня за глаза прозвали Стариком. Он и в самом деле выглядел намного старше всех. Но главной примечательной чертой этого высокого, плотного человека был ужасный шрам, пересекавший наискосок все лицо и выбритую до синевы голову. При появлении Старика в кают-компанию все разговоры как-то сами собой увядали. Возможно, причиной этому был его шрам, на который нельзя было смотреть без содрогания. Однако бритоголовый и не стремился к общению. Он мог часами один неподвижно сидеть у овального иллюминатора, глядя на звездную пустыню. Время от времени борт-техник ловил на себе его пристальный взгляд, и тогда Чингизу начинало казаться, что незнакомца гложет какая-то изнурительная болезнь. Однако лицо Старика, которому шрам придавал каменную неподвижность, всегда оставалось непроницаемым. Вот эта непроницаемость главным образом и уязвляла Чингиза. Иногда бритоголовый совершал неторопливые прогулки по коридорам лайнера. Заложив руки за спину, он прохаживался с таким видом, словно что-то напряженно обдумывал. Его молчаливая сосредоточенность настораживала Чингиза. «От этой подозрительной личности можно ожидать всего, что угод-

но, — думал борттехник. — Кто даст гарантию, что он не замышляет какую-то пакость?»

Это был второй рейс Чингиза по маршруту Земля — Гюльсара — Земля на грузовом лайнере «Байкал», обслуживающем центральные районы обжитой зоны Галактики. Это был вообще его второй самостоятельный рейс в должности борттехника после окончания астротшколы. Чингиз был одним из лучших выпускников, и назначения на внутризонную трассу долго ждать ему не пришлось. Может быть, в жизни ему просто везло. Только он был уверен, что с ним это так и должно быть всегда, и что если бывают люди невезучие, то причина невезения обязательно заключена в них самих — это как болезнь, от которой либо вылечиваются, либо умирают. Больше всего на свете он ценил ясность: ясную конструкцию, ясную теорию, ясную музыку, ясных людей, ясную жизнь — все должно было быть ясным. Если где-то, в чем-то не хватало ясности, отсутствовали связующие звенья, он тут же воссоздавал их для себя сам, при этом не слишком заботясь об истине, потому что главное все-таки — ясность. Это перешло к нему от матери, которую он всегда безгранично любил и которая до сих пор оставалась для него главным авторитетом.

Другое дело отец. Чингиз смутно помнил отца. Этот высокий сильный человек с мечтательным лицом не был похож ни на кого из тех, с кем борттехнику прихо-

дилось встречаться. Отец жил всегда в своем особом мире. Он постоянно рвался куда-то далеко-далеко, мечтая забрать с собой и маму и маленького Чингиза. Но они так никуда и не поехали: мама сказала, что даже слышать не хочет об этой глупой затее. Чингизу нравилось гулять с отцом тихими зимними вечерами, когда небо было усеяно яркими звездами. Эти разбросанные по вселенной крупинки искристого света волновали отца. Он становился веселым, сыпал забавными фантастическими историями из жизни открывателей новых миров. Отец любил читать вслух стихи, но, когда он смотрел на звезды, ему почему-то всегда приходило в голову одно и то же четверостишие:

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, Земля.

Отец декламировал эти стихи с печалью в голосе, но Чингиза они почему-то смешили, особенно последняя строчка: «На горах твоих, Земля». Он и сам не знал, что его тут смешит. Наверно, смешно было потому, что обыкновенные люди так никогда не говорят. Но, догадываясь, как дороги отцу эти четыре строчки, мальчик постарался выучить их наизусть. «Эти стихи очень известного древнего поэта», — говорил отец и называл имя, которое Чингиз так и не смог удержать в памяти.

Чингиз не понимал, из-за чего так часто ссорятся родители, но он видел, что мать плачет, и жа-

лел ее, а отец стоял растерянный, даже не пытаясь оправдываться, и в этом молчании Чингиз видел признание вины.

Смысл стихов оказался вещим. Отец и в самом деле прожил на Земле недолгим гостем. Его звали к себе звезды, и он ушел к ним.

Став постарше, Чингиз узнал от матери, что отец его относился к разряду людей, которых называют исследователями. В то время, как на Земле и в обжитой зоне Галактики восторжествовала процветающая, полная гармонии и комфорта, огороженная почти от всех опасностей жизнь, находились люди, которые по собственной воле устремлялись туда, где на туманных равнинах, в бурлящих потоках, во льдах и песках неведомых миров их подстерегала безвестная смерть. В них жили вечная неудовлетворенность собою и неотвязное стремление все понять, во всем найти смысл, докопаться до истины. Исследователи покидали Землю в составе научных экспедиций, исследовательских групп, разведывательных отрядов. Человечество отдавало справедливую дань уважения этим беспокойным людям. Везде и всюду восхищались мужеством исследователей, прославляли их подвиги.

То были годы, когда вот-вот ждалась встреча в космосе с братьями по разуму и, возможно, по образу мыслей. Ходили слухи, что разведчики иномирцев уже не раз проникали в обжитую зону Галактики. Имелись даже «свидетели», которые якобы собст-

венными глазами видели пришельцев, переодетых для маскировки в земную одежду.

Чингиз не любил прислушиваться ко всякого рода легендам. Мать, которой он безгранично верил, передала сыну свою практичность и любовь к ясности. Слушая, как воздают хвалу исследователям, он всегда вспоминал древнюю поговорку, которую любила повторять мама. Рассказывая Чингизу об отце, улетевшем к далеким звездам, она с печальной усмешкой говорила: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Болезненно, как личную обиду, воспринимал борттехник то, что могло поколебать его веру во всемогущество человека, в незыблемость и устроенность жизненного уклада, который утвердился в обжитой зоне. Именно так он относился к разговорам в кают-компании, которые в последнее время все чаще сводились к одной-единственной теме. Дело в том, что с некоторых пор безопасности внутригалактических транспортных линий стали угрожать неизвестные тела, получившие название астридов. По некоторым сведениям, это были живые существа, сохраняющие жизнеспособность и в открытом пространстве. По другим данным, астриды перемещались в космосе в сверхпрочных яйцевидных капсулах, способных прошить насквозь любой астролет. Такая противоречивость информации объяснялась тем, что корабли, имевшие несчастье встретиться с этими

небесными странниками, успевали передать только самые короткие сообщения, прежде чем связь навсегда прерывалась.

Однако если непосредственное изучение этих объектов было пока невозможно, то астрофизические исследования вскоре позволили обнаруживать скопления астридов, следить за их перемещениями по специфическому излучению. Теперь в большинстве случаев удавалось предотвращать попадание космолетов в зону действия загадочных тел. Но до тех пор, пока сама природа астридов оставалась тайной, вопрос об астридной опасности нельзя было считать решенным. Это подтверждала и недавняя трагическая гибель лайнера «Гром», который обслуживал межпланетную трассу Гюльсара—Сури.

Корабль уже находился неподалеку от планеты Сури, когда связь с ним была внезапно нарушена. Экипаж просто не успел предупредить об астридном облаке, неожиданно возникшем на трассе. Однако «Гром», продолжая следовать заданным курсом, вышел точно на астродром и взорвался уже при соприкосновении с поверхностью планеты. Судя по кинограммам, антенны системы автопосадки лайнера были выведены из строя и взрыв произошел при отчаянной попытке пилота посадить корабль, используя только ручное управление. Сила взрыва была такова, что головную часть лайнера забросило в расположенное неподалеку озеро. Из всех, кого удалось поднять из

воды, только трое подавали еще признаки жизни.

Нет, разговоры о гибели людей в космосе не пугали Чингиза: разве, оставаясь на Земле, не слышишь о несчастных случаях, которые происходили и, видимо, всегда будут происходить, несмотря на всевозможные меры безопасности? Однако сам борттехник всегда думал о смерти с таким чувством, будто у него с ней заключено особое соглашение: нет, совсем он не гонит смерть прочь, пусть только она придет в ту минуту, когда жизнь приблизится к своему естественному завершению. В этом была привычная ясность, исключавшая болезненный ужас при мысли о смерти.

Чингизу не нравились застенчивые, молчаливые и вообще непонятные ему люди. Вот почему он с первого дня невзлюбил человека со шрамом. Нередко в присутствии Чингиза Старик включал полифон и заказывал себе негромкую музыку. По-видимому, это было что-то настолько древнее и сложное, что борттехник, как ни старался, не мог уловить ни мелодии, ни ритма. Это странное изменчивое переплетение звуков не доставляло ему ничего, кроме чувства беспокойства и неудовлетворенности. Но больше всего его бесило то, что рядом с этим пожилым человеком он вдруг начинал чувствовать себя ничтожеством. Это было неприятное ощущение: Чингизу все время казалось, что бритоголовый пристально наблюдает за ним, крити-

чески оценивает каждый его шаг. «Что ему от меня нужно? — спрашивал себя борттехник. — Откуда он взялся? Почему молчит? Что таит в себе?»

Однажды Чингиз проснулся от громкого крика. Ему показалось, что поблизости кто-то плачет. Борттехник зажег свет и увидел, что Старик рядом, по-детски всхлипывая, мечется на своей постели. Из горла его вырывался приглушенный стон, губы кого-то звали. Чингиз поднялся, уже протянул было руку к звонку, чтобы вызвать врача, когда бритоголовый открыл глаза и, увидев склонившегося над ним Чингиза, затих. Чингиз так и не смог понять выражения его лица.

И в этот момент по всему кораблю прозвучал сигнал «Готовность номер один».

Согласно расписанию Чингиз занял место перед контрольным пультом в аппаратном отсеке. Из навигаторской рубки сообщили, что тревога объявлена из-за внезапной потери связи с Землей. Чингиз взглянул на контрольный пульт и остался доволен. Сейчас он чувствовал корабль как свое тело — все механизмы работали отлично. Что касается связи, то она не входила в круг его обязанностей.

Имелся, правда, на лайнере один механизм, за который Чингиз побаивался. Этим механизмом было его собственное операторское кресло. На корабле не было возможности наладить амортиза-

ционное устройство сиденья, смягчающее динамические перегрузки. Кроме того, тормоз вращения кресла работал только тогда, когда сам этого хотел.

Полетело еще несколько минут. Все шло своим чередом. Никаких новых сообщений из навигаторской рубки не поступало, весь экипаж по-прежнему находился на своих местах. Борттехник был уверен, что не пройдет и четверти часа, как связь будет восстановлена и командир лайнера отменит тревогу. Экипаж должен был еще отдохнуть: через шесть часов начинался ответственный участок полета — торможение корабля, входение в атмосферу Земли, выход на аэродром и, наконец, спуск в воронку взлетно-посадочной шахты. Чингиз не боялся посадки, но, знакомый уже с выходками своего кресла, он чувствовал, что все эти последовательные этапы приземления могут снова превратиться для него в цепочку мелких неприятностей.

Глядя на мирно подмигивающие индикаторы контрольного пульта, Чингиз уже начал было подремывать, когда неожиданный сильный удар по корпусу лайнера побудил амортизирующее кресло выстрелить своим сиденьем в потолок. И если бы ни привязные ремни, пришлось бы Чингизу испытать головной прочностью внутренней обшивки корабля. Он никогда не забывал привязаться, зная, что с этими прыгающими креслами шутки плохи.

На пульте вспыхнули лампочки,

сигнализирующие о включении УПК — системы автоматического устранения повреждений корпуса. Борттехник сразу определил, что герметичность корабля нарушена в районе навигаторской рубки. Мелькнула страшная мысль: «Ведь там командир лайнера и пилот! Что с ними?»

Корабельный врач, штурман и еще три человека из команды подоспели к створу навигаторской рубки раньше Чингиза. Автоматы уже заделали пробину, однако в первый момент, войдя в помещение, борттехник не увидел ничего, кроме парящих в воздухе снежно-белых хлопьев, которые, слипаясь, опускались на головы людей спутанными нитями. Сделав несколько шагов, он чуть не упал, наткнувшись на обломки какого-то странного цилиндрического тела, края которого пузырились густой пеной.

В отсеке царил леденящий холод. Чингиз обернулся и застыл, потрясенный: сквозь белую пелену, будто сквозь сон, он увидел, как люди выносили из рубки пилота и командира.

Чингизу показалось вдруг, что стены отсека задвигались, задышали, вздыбившись мягкими переливающимися буграми. «Кажется, я схожу с ума», — подумал он. Борттехник заметил уже, что остался один, но почти не испытывал страха. Все случилось так неожиданно и так напоминало кошмарный сон, что невольно возникало желание выкинуть какое-нибудь коленце, чтобы обалдевшие духи сновидений быстрее

переменили пластинку. Чингиз тряхнул головой, сделал шаг к выходу и замер от неожиданности... Прямо перед ним возникло знакомое лицо, обезображенное злоещим шрамом. Потом показались широкие плечи, тяжелые руки, вся мощная фигура Старика, стремительно рассекающая липкие нити. Теперь в его взгляде не осталось и следа от бывлой каменной неподвижности. Казалось, что он весь пылал, одержимый какой-то дьявольской решимостью. Чингиз удивился: «Что с ним?! Ему-то что здесь надо?» Все накопившееся в нем за последние дни раздражение, вызванное этим непохожим на других человеком, неожиданно прорвалось вспышкой ослепляющей ярости. «Эй ты, стой! Назад!» — крикнул Чингиз и бросился наперерез бритоголовому. Но Старик пронесся мимо, даже не удостоив борттехника взглядом. Он был уже у командирского пульта. Чингиз похолодел, когда увидел, что поворотом белой рукоятки бритоголовый распахнул внутренние створы шлюзовой камеры, расположенной сразу же за навигаторской рубкой. «Вот сейчас этот маньяк повернет красную рукоятку, — подумал борттехник, — тогда раскроются наружные створы и пустота мирового пространства продвется в корабль». Сжав кулаки, Чингиз бросился к пульту. Он был готов ко всему, к самой жестокой схватке, но меньше всего ожидал, что бритоголовый вновь сумеет уклониться от встречи. Не рассчитав силу бро-

ска в слабом гравитационном поле корабля, Чингиз полетел к стене и уткнулся боком в какую-то липкую, упруго колышущуюся массу. В ту же секунду мощный, студнеобразный обруч охватил его грудь. Широко открытыми от ужаса глазами Чингиз видел, как в рубке, уже почти очистившейся от парящих в воздухе хлопьев, зашевелились, зашарахались по углам какие-то мясистые полупрозрачные тела, окруженные вихором стекловидных конечностей. Вскрикнув от омерзения, Чингиз вцепился пальцами в обруч, сдавивший грудь, и сделал отчаянную попытку освободиться. Но в следующую секунду тонкая полупрозрачная лента захлестнула горло, и руки Чингиза безжизненно повисли. Свет в глазах потух. Борттехник словно рухнул в черный провал. И вдруг почти тут же что-то забрезжило в сознании. Какая-то медово-янтарная желчь разлилась вокруг и внутри. В поле зрения появились исходящие пеной останки цилиндрического тела. Откуда-то, как с горы, сшибаясь и накатываясь друг на друга, лавиной посыпались мыслишки: «Как спокойно было там, внутри кокона! Можно было дремать. Только не повернешься — уж очень тесно! Слишком нас много набилось. Теперь надо просунуться скорее. Кажется; мы пробились. Ух, какое шикарное гнездище! Только надо поскорее выпустить наружу этот противный газ. Он сообщает вялость нашим движениям, не дает развернуться. К тому же здесь слишком жарко,

клонит ко сну. А этот шершавый с четырьмя чувствилищами, который так дерзко наскочил на меня, до чего ж он вертляв и противен! Не слишком ли сильно я сдавил его? Кажется, он уже готов. Неужели я упустил случай насладиться его агонией? Падаль паршивая! Кто их знает, возможно, тоже считают себя разумными существами. Впрочем, разве они могут быть разумными? Эти твари слишком сложно устроены, слишком много им надо для жизни. Они копошатся на поверхности своих запеленатых отвратительными газами планетках и, наверно, воображают себя властителями природы. Ничтожные шершавые твари! Они научились выбрасывать в открытое пространство эти коробки, само провидение предназначило их снабжать нас новыми гнездами и обильной пищей. Около населенных ими планет есть чем поживиться. В этом уютном уголке мира всегда вкусно пахнет. Мы добываем пищу в открытом пространстве. Мы купаемся в лучах нашего прекрасного светила. Оно придает ясность нашим поступкам. Оно беспощадно и мудро, как сама жизнь. Нас много. В поясе астероидов уже почти не осталось места для гнезд. Мы слишком быстро плодимся. Эти паршивые планеты с газовой оболочкой не пригодны для жизни. Но нет ничего совершеннее наших чувствилищ, созданных для того, чтобы сделать нас властителями вселенной. Эти шершавые, не находя себе места, бол-

таются с планеты на планету. Мы пожираем их самих, используем их гнезда, чтобы плодиться. У них все слишком сложно. Властвовать может лишь тот, кто прост. Мы — властелины, потому что наши стремления просты.

Здесь нас целая семейка из одного кокона. Мы все сразу попали внутрь. И дед мой тут — давно пора его прикончить! И отец небось по-прежнему думает, что он тут сильнее всех. Не успели вылупиться, а уже хотят жрать, хотят иметь свои гнезда! Ничего, этого гнездышка на всех хватит. Нет, не на всех! Я еще буду плодиться. Мне надо много места — тут без драки не обойтись. Ну ладно, а пока надо действовать вместе. Покончим с шершавыми, тогда посмотрим.

Вот посредине стоит совсем живехонький, еще не тронутый большой и аппетитный шершавый. Его мы прикончим в первую очередь. Когда наступает ответственный момент, решает кто-то один — самый сильный. Я б его с удовольствием сожрал, но он сильнее. Сейчас мы все ему подчиняемся. Инстинкт сильного — самый верный инстинкт, он не ошибается. А если и ошибается, все равно не страшно: ведь он самый сильный. Вот сейчас мы все двинемся за нашим сильнейшим. Вот он уже тронулся куда-то. У него в чувствилцах большой шершавый, тот самый, кого мы кончим первым. Они сцепились. Но видно, это хороший шершавый, сильный. Мы пойдем за ним вместе с нашим

сильнейшим. Сильнейшему он нравится. Раз так надо, мы идем. Он приказывает мне бросить эту падаль, этого тощего шершавого, что затих уже в моих чувствилцах. Я б сожрал и самого сильнейшего, но вынужден подчиниться. Итак, мы двинулись. А этот пусть остается здесь. Жаль бросать добычу, ну да ладно, я еще, может быть, вернусь...»

Чингиз открыл глаза и, сделав над собою усилие, встал. Голова раскалывалась от страшной боли. Ноги подкашивались. Прислонясь к стене, борттехник огляделся. В рубке он был один. На полу по-прежнему валялся разорванный цилиндр. Пена на его краях уже начала опадать. Мелькнула мысль: «Это и есть тот самый кокон!» — и разом вспыхнул в памяти весь кошмар только что пронесшегося над ним урагана чудовищных мыслей, образов и вожделений. Чингиз застал дыхание. Ему казалось — вот-вот он вновь сорвется в эту смрадную пучину, и тогда конец всему.

На стене темнело расплывчатое пятно заплаты, поставленной системой УПК, в том месте, где кокон прошил корпус лайнера. Пошатываясь, борттехник вышел из рубки, но, сделав несколько шагов, застыл на месте: прямо перед ним, за прозрачным внутренним створом шлюзовой камеры, копошились, сцепившись конечностями, знакомые студенистые существа. «Черт возьми, совсем как в аквариуме! — подумал Чингиз. — Что им здесь

надо и как их сюда занесло?» Мелькнула догадка: «Неужели снова бритоголовый? Ну конечно, ведь это он раскрыв внутренние створы камеры! Стало быть, уже тогда он знал, что делает. Действовать так уверенно мог только тот, кому было заранее все известно, кто сам причастен к беде, свалившейся на экипаж корабля. Видимо, он имеет над слизняками какую-то власть. По крайней мере, все говорит об этом. Но если это дело рук бритоголового, зачем ему понадобилось запира́ть их в шлюзовой камере? Впрочем, он ведь не раскрыв наружные створы, не выбросил многоногих в открытое пространство? Выходит, они ему нужны. Но зачем? Не для того ли, чтобы держать в страхе команду? Так... Теперь все ясно: с помощью слизняков Старик рассчитывает завладеть кораблем!»

Борттехник больше не сомневался в намерениях человека со шрамом. Сейчас его мучила одна только мысль: как это он, раньше всех на корабле сумевший разглядеть в бритоголовом врага, не смог заранее отвести беду. Чингиз напряженно искал выхода: «Если внутренние створы закрыты, значит Старик возвращался в рубку. Тогда он не мог меня не заметить. Скорее всего, он решил, что я уже мертв. Сбросил меня со счетов. Какая неосторожность!» Чингиз почувствовал что-то похожее на торжество. «Неужели он думает, я без боя позволю ему осуществить свои гнусные замыслы? Впрочем, он мог за-

крыть створы камеры из аппаратного отсека. Видимо, этот тип знает корабль как свои пять пальцев. Тем он опаснее! Интересно, где его несит теперь? Ладно, это потом. Сейчас нельзя терять ни секунды. Прежде всего как можно скорее избавиться от многоногих!»

Перешагнув останки уже обсохшего кокона. Чингиз вернулся в рубку и, добравшись до пульта, повернул красную рукоятку, открывающую наружные створы шлюзовой камеры. Затем, пошарив глазами, он дотянулся до маленькой панели на стене и, щелкнув тумблером, включил телеэкран наружного обзора корпуса.

Чингиз отвернулся только на миг, и в ту же секунду на красную рукоятку легла чья-то рука и быстрым движением вернула ее в положение «створ закрыт». У командирского пульта стоял человек со шрамом и поверх головы Чингиза пристально вглядывался в экран только что включенного борттехником обзорного устройства.

Чингиз весь сжался. Промелькнули мысли: «Вот оно, ненавистное лицо врага! Так, значит, он снова закрыл наружные створы. Поздно, Старик! Эти твари наверняка уже подошли!»

Чингиз почти торжествовал. Однако бритоголовый, продолжая вглядываться в телеэкран, даже не посмотрел в его сторону. «Ах, вот ты как! — подумал Чингиз. — Тебе угодно делать вид, что я для тебя ничто, мелкая букашка, но-

тору можно не брать в расчет! Здорово же ты ошибаешься!»

Чингиз не мог больше терпеть. Задыхаясь от ярости, не видя уже ничего вокруг, кроме этого ненавистного ему лица, он решительно оттолкнулся от палубы и бросился с кулаками вперед. Удар пришелся в грудь, но бритоголовый даже не пошатнулся. Он только поймал руки Чингиза и крепко сжал их в своих.

— Что с вами, борттехник? — спросил он спокойно.

— Это ты, это все ты, гад! — задыхаясь, кричал Чингиз. — Что тебе здесь надо, предатель? Я знаю, все это — дело твоих рук! Слышишь?!

Слегка оттолкнув от себя Чингиза, Старик отпустил его руки и, кивнув в сторону телеэкрана, тихо сказал:

— Ошибаешься, мальчик. Посмотри лучше, что ты сам натворил.

Специальные телекамеры, расположенные на поверхности и внутри корабля, давали на командирский экран объединенное изображение всей трехсотметровой машины лайнера. Вначале Чингизу показалось, что он видит перед собой пляшущие языки пламени. Однако, приглядевшись внимательнее, он понял вдруг, что этот колышущийся хоровод алых теней не что иное как сборище уже знакомых ему многоногих чудовищ. Сейчас, переменившись в окраске, они грациозно фланировали по блестящей поверхности корабля, только слегка опираясь на кончики чувствилищ и высоко под-

нимая свои гладкие яйцевидные тела. Движения их обрели ту легкость, которая свойственна живым существам, попавшим в родную стихию.

Часть яйцетелых толпилась у наружных створов шлюзовой камеры, откуда сами они только что выбрались. Временами, распластавшись кровавыми лепешками, они прилипали к поверхности корабля. Казалось, многоногие прислушиваются, что делают за герметичной преградой их собратья, не успевшие выскользнуть из камеры за тот миг, пока створы были открыты.

Другая группа алых тел устремилась к кольцу посадочных двигателей. Восемь расходящихся лучами мощных кронштейнов, соединявших гондолы двигателей с корпусом лайнера, были усеяны многоногими существами. Видимо, их привлекало все, что возвышалось над кораблем. «Если им удастся проникнуть чувствилищами в отверстия дюзов, может произойти взрыв!» — внезапно подумал Чингиз. И как бы в ответ на эту мысль из всех восьми двигателей вырвались струи ослепительного пламени. Корабль мелко задрожал: это бритоголовый включил посадочное кольцо, чтобы отогнать яйцетелых. И хотя двигатели заработали на самую малую мощность, сердце Чингиза спокойно заняло: он всегда болезненно переживал, если расходу горючего не были предусмотрены полетным расписанием. Однако эти мысли недолго занимали Чингиза. Клубок топтавшихся у

наружного створа чудовищ озарила яркая вспышка: будто молния вгрызлась в корпус лайнера, прорезав пустоту в самом центре живого круга. Почти тут же послышалось гудение зуммера, а на пульте загорелась лампочка, сигнализирующая о включении УКП — системы автоматического устранения повреждений корпуса. «Опять пробойна!» — подумал Чингиз. Щелкнул тумблер, и на обзорном экране появилось изображение шлюзовой камеры. Несколько десятков не успевших выбраться оттуда полупрозрачных существ толпились у наружной стены, в том месте, где время от времени корпус корабля прошивала ослепительная игла. Очевидно, две группы яйцетелых, разделенные, казалось бы, непроницаемой преградой, составляли вместе систему, рождающую узконаправленный электрический разряд колоссальной пробивной силы. Наружная стена шлюзовой камеры держалась только благодаря непрерывной работе автоматов УПК.

В это время чудовища, отогнанные от кольца посадочных двигателей, устремились в головную часть корабля.

Динамик внутренней связи, дважды пискнув, неожиданно загремел торжествующим голосом бортрадииста:

— Ура! Я слышу Землю! Эй, кто там, в рубке, я слышу Землю! Я получил подтверждение: они нас тоже слышат. Земля подтверждает правильность курса корабля. Они опять вызывают!.. Ни

чего не пойму! Черт побери, вы только послушайте, Земля поздравляет нас! Они называют нас счастливыми, потому что еще ни одному кораблю не удавалось пройти невредимым скопление астрид. Значит, все-таки это астриды? Так я и думал! Слышите? Они передают, что рады за нас! Как можно радоваться — им ведь еще ничего не известно! Ага! Опять вызывают!.. Кажется, что-то случилось? Почему так плохо слышно? Черт побери, они куда-то пропали! Снова молчат! Что такое?!

В динамике раздавались проклятия, но Чингиз уже не слышал радиста, он чувствовал, что ноги его начинают подкашиваться, а к голове одна за другой приливают теплые одуряющие волны. Взгляд его был прикован к носовой части корабля. Там, на площадке антенного поля лайнера, яйцетелые устроили свой шабаш. Они действовали иступленно, в бешеной жажде уничтожения, теряя конечности и разрывая тела об острые грани искореженного металла. На глазах борттехника алые чувствилища сгибали и мяли рефлекторные решетки и рупоры облучателей корабельных антенн. Легко, словно травинки, они рвали гибкие фидеры и яростно набрасывались на питоподобные трубы волноводов, раздирая и скручивая их изогнутые тела. «Итак, больше не будет никакой связи! — подумал борттехник. — Выведена из строя система автопосадки. Все, что возвышалось над корпусом, в считанные секун-

ды превращено в безжизненный лом!»

Рядом с головой Старика Чингиз увидел вдруг бледное лицо штурмана и ощутил подкатывающую к горлу тошноту. Любая мысль доставляла ему сейчас неимоверные страдания. Но не думать совсем он не мог, и от этих дум темнело в глазах. «Так, значит, это астриды! Астриды! Астриды! — стучала в висках кровь. — Ни один корабль после встречи с ними не возвращался в гавань! Ни один! Ну да, только лайнер «Гром» добрался до космодрома Сури, да и тот взлетел на воздух, едва коснувшись поверхности планеты. Еще бы, уже лет сто ни один астролет не приземлялся без системы автопосадки, которая предусматривает телеуправление кораблем со специальных расчетно-следающих станций на космодроме. А ведь мы бы могли еще выпутаться из этой истории, если бы только астриды не вышли наружу и не разрушили антенны, — подумал Чингиз. — Мы были бы тогда первыми, кто их победил, да еще привезли бы с собой в шлюзовую камеру целый выводок многоногих тварей!»

Неожиданно теплые, мутные волны захлестнули мозг. «Да ведь это же я, я их выпустил из лайнера! Я сам! Что же это такое?!» — Чингиз беспомощно всплеснул руками, чувствуя, как палуба уходит из-под ног.

Сознание возвращалось долго и мучительно. Но как только

включилась память, все началось сначала: вновь наплывали горячие волны, погружая Чингиза в мрак беспомысленности. Временами из глубины забытья прорывались мысли-стоны: «Чудовищнее всего, что мне еще хочется жить! А ведь жить-то уже нельзя! Никак нельзя! И ни у кого на «Байкале» нет больше никакой надежды выжить».

Когда наконец Чингиз смог открыть глаза и оглядеться, он увидел, что лежит на кушетке. В полумраке лазарета из овального иллюминатора прямо на него глядели неподвижные звезды. Откуда-то из глубины памяти сами собой всплыли знакомые с детства строчки. Даже тогда, когда Чингиз произносил их сам, в ушах его все равно звучал голос отца:

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля,
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, Земля.

Чингиз поднялся на локте. Рядом за прозрачной перегородкой в охлаждающих камерах со стеклянным верхом покоились бесчувственные тела командира и пилота. «Наш врач надеется, что в состоянии гипотермии они смогут дотянуть до Земли, — подумал Чингиз. — Напрасные надежды! Теперь уже никто из нас до Земли не дотянет. Никто!»

Медленно восстанавливая в памяти встречу с астридами, борттехник не мог не вернуться мыслями к Старику: «Господи, да

кто же такой этот удивительный человек? Ну хорошо, допустим, я ошибался, видя в нем врага, но откуда же он знал, что надо делать с этими яйцетелыми? Каким образом удалось ему заманить их в шлюзовую камеру? Ну, разве это одно уже не могло насторожить? И вообще, почему действия его так уверенны, словно он заранее знал, что должно было произойти...»

— Заранее... Знал заранее... — вслух повторил Чингиз, и тут его поразила неожиданная догадка: «Ну конечно же, знал, черт возьми! Так уверенно действовать мог только тот, кто хоть раз уже сталкивался с астридами. Все ясно! Ведь было же сообщение, что после взрыва лайнера «Гром» вместе с останками корабля из озера извлекли трех членов экипажа. Если бритоголовый с «Грома», тогда легко объяснить и его болезненную молчаливость, и ужасный шрам. У этого человека, видимо, свои счеты с астридами. Однако сейчас даже мысль о том, что ему, кажется, удалось наконец разгадать тайну Старика, не доставляла утешения. «Все летит к чертям! — думал Чингиз. — Да, к чертям! И хотя бритоголовый сделал для спасения лайнера все, что мог, и даже, наверно, больше, чем мог, он все равно не сумел предотвратить катастрофу, потому что не учел, что рядом, на корабле, есть кретин, который благодаря непобедимой прямолинейности своего мышления окажется опаснее любого астрида. Но ведь это же я выпустил их

из шлюзовой камеры. Я убийца, слышите! Это я! Я! Только я!»

Чингиз дернулся всем телом. Это движение, чересчур резкое для слабого гравитационного поля корабля, сбросило его с кушетки. Лежа на полу и вновь погружившись в забытие, борттехник метался и вскрикивал, терзаемый мучительными видениями гибнущего корабля. Затем он почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватили его и осторожно положили на кушетку. Чингиз увидел над собой лицо врача и, потянувшись к нему, цепляясь за его одежду, взмолился: «Это я, я во всем виноват! Слышите, доктор, я больше так не могу!» Врач что-то сказал, но Чингиз не расслышал слов. Прямо перед собой он увидел вдруг лицо человека со шрамом и, упав головой на подушки, сразу обмяк. Он почти не почувствовал боли от укола, но стало как будто легче. Введенное в кровь лекарство действовало быстро. Мысли потекли медленнее. Мучительные видения отодвинулись на задний план. Перед глазами осталось только это лицо со шрамом. Оно то приближалось к Чингизу, то таяло в белом мареве забытия, то возникало вновь, неся на себе отпечаток какой-то скрытой боли и в то же время оставаясь по-прежнему непроницаемым.

— Не смотрите на меня так, — попросил Чингиз. — Я и без того знаю, что виноват.

— Тише, мальчик, спокойнее, — еле слышно ответил бритоголовый.

— Какой я вам мальчик! —

взорвался Чингиз. Фамильярность Старика снова вывела его из равновесия. — Почему я должен молчать? Кого мне бояться? Пусть все знают, что я один во всем виноват!

— Сейчас же прекратите истерику! — неожиданно твердо приказал Старик. И добавил: — Как вам не стыдно, борттехник? Возьмите себя в руки!

Чингиз притих. Он сел на кушетку и, проведя ладонью по лицу, огляделся: за спиной человека со шрамом, прислонясь к стене, неподвижно стоял штурман, за стеклянной перегородкой, у прозрачных охлаждающих ванн молча сутулился врач.

— Зачем я вам еще нужен? — тихо спросил борттехник. — Разве мало вам того, что я уже навтырил? — Бритоголовый молчал; только шрам на его лице заметно побагровел. — За кого вы меня принимаете? — продолжал Чингиз. — Я все обдумал. Перебрал все возможности. Я не вижу никакого выхода... Приземлиться мы не можем. Если даже кто-то со стороны рискнет прийти нам на помощь, чтобы снять с корабля людей, он будет тут же атакован астридами и окажется в такой же мышеловке, как и мы. Если приблизиться к Земле так, чтобы астриды на поверхности лайнера сгорели при трении о воздух, то у нас уже не останется горячего, чтобы вновь преодолеть земное притяжение или хотя бы выйти на орбиту спутника. Если же все оставить, как есть, и ничего не предпринимать, то мы все равно

погибнем намного раньше, чем кончатся запасы продовольствия. Система УПК не сможет долго противодействовать астридам. В конце концов иссякнет материал восстановления корпуса, и они проникнут сначала в шлюзовую камеру, а потом, соединившись с теми, кто остался внутри, шаг за шагом, нарушая герметизацию, завладеют всем кораблем...

— Хватит! Я вас выслушал! — перебил Чингиза Старик. — Хорошо, что вы сами все понимаете. У меня к вам, борттехник, только один вопрос: готовы ли вы сейчас вернуться к исполнению своих обязанностей?

Чингиз встал пошатываясь. Голова еще кружилась, но он уже почувствовал, какая спасительная сила заключена в этих обращенных к нему словах.

— Чингиз, мы идем к Земле... — не поднимая головы, тихо произнес штурман.

— К Земле? Но ведь это же самоубийство! — прервал было его Чингиз и тут же осекся.

— Ну так как? — спросил бритоголовый, и в голосе его послышалось раздражение. — Вы готовы вернуться к своим обязанностям? Да или нет?

— Да! — в тон ему ответил Чингиз.

Борттехник занял свое рабочее место у контрольного пульта в аппаратном отсеке. Если бритоголовый сел на пилотское место, стало быть в кораблевождении он тоже что-то смыслит. Во всяком

случае, направить лайнер к Земле он сумеет, а большего от него и не требуется.

Борттехник внимательно следил за работой всех энергетических систем корабля, стараясь ни о чем больше не думать, с механической точностью выполняя команды, поступавшие из навигаторской рубки. Закончилась коррекция курса. Появилось мучительное желание включить на полную мощность все двигатели, нарушить коррекцию, чтобы унести подальше от Земли и тем самым хоть ненадолго отсрочить неминуемую гибель. Но он продолжал послушно выполнять команды. По крайней мере, в них была какая-то определенность, мешающая прорваться отчаянию.

Неожиданно перед глазами его что-то блеснуло. В один миг тугие обручи плотно прижали борттехника к креслу и перехватили горло. Мелькнула мысль: «Астрид! Только его еще здесь не хватало! Мало мне этого кресла! Вот гады, двое на одного!» Все вокруг поплыло куда-то, исчезая за сплетением радужных колец, и тут же из провала сознания вырвалось торжество: «Это моя добыча! Этот шершавый будет моим! Пусть знают все наши, что я тут не зеваю! Те, кто внутри, вот-вот соединятся с теми, кто успел выбраться наружу. Там уже все в порядке! Шершавые еще пускают пламя из всех дыр. Но скоро эта скорлупа остынет, и тогда мы здесь хозяева! Меня не загнали, как всех, в темную камеру. За мной гнались, меня искали, но

я их всех перехитрил. А этот шершавый — моя добыча! Я давно уже подстерегаю его. Он мой! Мой! Его уже нет, ведь он — это я! Мы все одинаковы. Когда мы добываем гнезда, мы все, как единое целое, связаны едиными мыслями, ощущениями и волей. Как это прекрасно сознавать, что мы все одинаковы, а поэтому — вечны! Того, кто слабеет, кто перестает воспринимать нашу общность, мы возвращаем в строй лишь одним волевым прикосновением чувствилища. Эй, вы там, снаружи, чувствуете мое торжество? Выпускайте же отсюда поскорее этот мерзкий газ, чтобы и мне можно было подняться во весь рост! Так хочется вытянуться, встать на кончики чувствилищ! Эй, вы там, слышите? Я уже с добычей! Я подержу его, пока вы прорветесь. А потом, когда уйдет газ, он будет мой! Да, мы вечны, потому что одинаковы, это я знаю, так всегда говорят сильнейшие, но только пусть жрут других. Вы все поддались воле большого шершавого, и вас загнали в черную дыру. Вас надули, а я устоял! Значит, я хитрее всех. Значит, и мое потомство будет хитрее. Значит, оно вместе со мной будет пожирать ваше потомство. Давайте, давайте прорывайтесь быстрее, я хочу есть! Слышите? А когда нажрется, то еще покажу вам, чье это будет гнездо. Оно предназначено только для моего потомства. Ох, как горячо! Эй, снаружи, что там с вами творится?! Цепляйтесь, цепляйтесь же крепче! С чего это вы вдруг

так почернели? Куда вы? Куда вы? Какое пламя! А-а-а!»

Чингиз открыл глаза. В голове шумело. Страшно хотелось пить. Но, повернув голову, он содрогнулся от омерзения: на коленях его, сжимаясь и разжимаясь, шевелились знакомые щупальца астрида. Само тело этого существа пряталось где-то за креслом. Борттехник хотел встать, чтобы отстранить от себя эту пакость. Но щупальца задвигались быстрее, выказывая желание вновь захлестнуть его тугим обручем. Превозможная отвращение, Чингиз поймал руками ближайшее к себе чувствилище и, собрав силы, быстрым движением согнул его пополам, так, что астрид, издав неприятный писк, метнулся под самое кресло. Но борттехник не выпустил из рук неожиданно задрожавшую мелкой дрожью упругую конечность чудовища. Постепенно приходя в себя, он чувствовал, как корабль медленно меняет ориентацию в пространстве, как вступают в действие двигатели торможения. Тело сдавила тяжесть, связанная с появлением отрицательного ускорения. Для Чингиза это была привычная нагрузка, к тому же еще ослабленная искусственным буферным полем. Лайнер входил в земную атмосферу. Представив себе пламя, бушующее сейчас вокруг корабля, Чингиз почти с сочувствием подумал о тех астридах, которые остались снаружи. Однако все внимание он сосредоточил на контрольном пульте.

При первом же взгляде на него борттехнику стало ясно, что глав-

ные двигатели по команде из рубки переведены на самую малую мощность. Резанула по сердцу мысль: «Мы падаем!» И в ту же секунду он сначала увидел на пульте, а затем и почувствовал сам, как снова включились посадочные двигатели.

Спуск лайнера резко замедлился. «Что это даст? — подумал Чингиз. — Если бритоголовый с лайнера «Гром», он должен знать, что без системы автопосадки нельзя ввести трехсотметровую сигару корабля в жерло взлетно-посадочной шахты. Это все равно, что с завязанными глазами вдеть нитку в иглу, при условии, что дается всего лишь одна попытка. Чертовы астриды! — неожиданно выругался Чингиз. — И здесь успели нашкодить!» Только сейчас он заметил, что один из восьми посадочных двигателей, опоясывающих корпус лайнера, не включился вовсе. Было ясно, что при такой асимметрии тяги корабль неминуемо даст крен. И хотя Чингиз понимал: будет или не будет крена — от этого все равно уже ничего не изменится, он все же пожалел сейчас, что обе руки его заняты чувствилищем астрида. Разразившись проклятиями, он еще сильнее сжал сложенную вдвое упругую конечность и подумал: «Если бы только освободить руки, можно было бы выпрямить лайнер. Для этого достаточно выключить двигатель, симметричный неработающему».

И тут произошло такое, чего борттехник никак не ожидал: откуда-то сбоку, из-за подлокотника

кресла, извиваясь и трепеща, выползло чувствилище астрида. Как замороженный следил Чингиз за маневрами этой подвижной серебряной ленты. Со свистом рассекая воздух, она несколько раз прошла перед лицом борттехника и вдруг устремилась к пульту, в ту точку, куда только что был обращен его взгляд. Еще миг, и легким движением астрид выключил тот самый двигатель, о котором подумал Чингиз. Симметрия тяги была восстановлена.

После всего, что произошло, Чингиз уже не был способен удивляться: память сопоставила факты, мыслительный аппарат объяснил, дал оценку, мгновенно переводя вновь случившееся в разряд освоенных явлений.

Вывравшись из объятий первого астрида, Чингиз уже тогда принял его образное понятие щупальца как чувствилища. Охваченная чувствилищем жертва астрида утрачивала собственное «я», становясь фактически безвольным придатком астрида. Однако явление это, видимо, было обратимо. Только благодаря этому бритоголовый смог завладеть волею сильнейшего астрида и увлечь за собой в шлюзовую камеру всю его яйцетелую компанию. «Стало быть, пока этот слизняк в моей власти, — подумал Чингиз, — он будет делать все, что я мысленно прикажу, но стоит мне выпустить из рук чувствилище, как он попытается сразу же изменить положение в свою пользу».

По команде из рубки попеременно включались и выключались

то одни, то другие посадочные двигатели. Чингиз почувствовал, как лайнер, все быстрее проваливаясь вниз, задержался, заплесал в воздухе. Когда из рубки поступала команда включить или выключить вышедший из строя двигатель, Чингиз включал или выключал системы, расположенные справа и слева от поврежденной. Точнее, делал это теперь уже не он сам, а щупальце астрида, направляемое его волей и обострившейся до предела мыслью.

Горячее было на исходе. Слишком много его ушло на то, чтобы отогнать от двигателей астрид. Чингиз уже знал, какой из посадочных двигателей остановится первым. Он сам выключил этот двигатель в последнюю секунду и вместе с ним другой, симметричный ему по кольцу, чтобы избежать крена. В навигаторской рубке, видимо, поняли маневр Чингиза: теперь лайнер снижался на четырех двигателях из восьми. Эти четыре за счет остальных могли работать уже чуть дольше.

Корабль сохранял равновесие, опираясь на четыре реактивные струи. Однако теперь спуск заметно ускорился. Вдруг произошло что-то совсем непонятное: борттехник внезапно почувствовал, как лайнер резко накренился, из командирской рубки выключили еще один двигатель. «Что он, рехнулся, что ли?» — подумал Чингиз и, ни секунды не медля, вернул двигатель в рабочее состояние. Корабль закачался, но почти тотчас по команде из рубки двига-

тель был опять выключен, и лайнер снова дал крен.

«Все! Это конец!» — Чингиз отбросил от себя чувствилище астрида и весь сжался, вцепившись руками в подлокотники кресла. Не видя перед собой ничего, кроме контрольного пульта и гладких стен, борттехник почти физически ощущал неотвратно надвигающуюся поверхность Земли.

Прошло еще мгновение, и раздался чудовищный скрежет.казалось, весь трехсотметровый лайнер разламывается пополам. И сейчас же у борттехника возникло ощущение, будто он раскачивается в своем кресле, как на качелях. Ему не сразу пришло в голову, что это раскачивается весь корабль. Он инстинктивно протянул руку к выключателю энергоснабжения лайнера, но его опередили из рубки. Свет погас. Чингиз будто нырнул в глубокий беспросветный колодезь. Скрежет нарастал и в полном мраке становился еще более злобещим. Борттехнику казалось, что он уже слышит треск расползающейся обшивки корабля. Сидя в темном мешке, сотрясаемом чудовищными толчками, он оцепенело ждал, когда до него доберется грохочущая смерть. Вскоре скрежет перешел в визг, а затем в оглушительный свист. Потом где-то далеко внизу, в корме корабля, раздался звук, напоминающий приглушенный взрыв, и кресло Чингиза, выведенное из себя резким перепадом ускорения, поспешило выместить

на борттехнике сразу все свои обиды.

«Чингиз, что с тобой? Ну, очнись! Слышишь, все в порядке! Да очнись же ты!» — услышал Чингиз знакомый голос штурмана и открыл глаза. Через овал раздраенного иллюминатора внутрь корабля заглядывала полная луна.

— Видно, здорово тебя потрянуло! — сказал штурман, помогая Чингизу отстегивать привязные ремни. — Ты смотрел кресло? Наверно, амортизаторы не в порядке?

Борттехник ничего не ответил. Осторожно ступая одревеневшими ногами, он приблизился к иллюминатору. Только теперь до него дошло, что лайнер сидит надежно в гнезде взлетно-посадочной шахты.

— Но ведь этого же никак не могло быть! Это немыслимо!

Чингиз был настолько оглушен, настолько готов к концу, что в первый момент даже не ощутил радости спасения.

— Ты знаешь, там уже прикартаили биологи, — говорил штурман. — Рады до помешательства! Сейчас шаманят со своими контейнерами около шлюзовой камеры. Подумай только, какой подарок мы им привезли!

Чингиз просунул в иллюминатор голову. Ветерок, напоенный родными земными запахами, приятно охлаждал лицо. Где-то внизу чернел провал взлетно-посадочной шахты, над которой возвышалась только головная часть лайнера.

На площадке космодрома в свете прожекторов суетились машины и люди — все было, как всегда.

— Ничего не понимаю! — сказал Чингиз, повернувшись к штурману. — Ты можешь мне объяснить, как же это, черт возьми, нас все-таки угораздило сесть?!

— Не все ли тебе равно, как это случилось, — ответил штурман. — Мы сели, Чингиз, и это главное! — Лицо штурмана утонуло в тени, голос его звучал теперь неуверенно. — Ты извини, конечно, что я так говорю, но сейчас мне самому дико вспоминать, как все было. Во всяком случае, тут моей заслуги нет. Я делал все, что приказывал Старик. Вот это, я скажу тебе, человек! Представляешь, Чингиз, мы вышли точно на космодром. Под нами горели зеленые огни посадочной шахты. А вокруг, на освещенном прожекторами поле космодрома, ни души, даже машины спрятаны в бункера. Все ждали взрыва, и ни один человек внизу уже ничем не мог нам помочь.

Мы падали прямо на бетонную площадку. Я видел, что зеленое ожерелье шахты осталось в стро-не.

А мы падали! Падали! Вдруг я заметил, что руки Старика на миг выжидающе замерли, а в следующую секунду он уже быстрым движением выключил еще один из посадочных двигателей. Я закрыл глаза. И тут произошло невероятное: либо у Старика имеется договор с сатаной, либо он сам дьявол. Понимаешь, мне показав-

лось, что он специально подстергал это мгновенье: неожиданно вздрогнув, лайнер резко накренился, и свершилось чудо: сделав в воздухе реверанс, корабль достал кормою раструб шахты. Все произошло за какие-то доли секунды: Старик переключил двигатели, и лайнер, закачавшись над краем провала, выпрямился. Нас потянуло вниз, в ствол шахты. Горючее как раз кончалось, поэтому скорость падения была очень велика, но мы теперь находились в шахте и знали: здесь уже ничего плохого с нами случиться не может. Вот так мы сели, Чингиз.

Как только штурман умолк, они оба услышали какие-то странные звуки. Казалось, что в глубине отсека кто-то сердито фырчал, тархтел и поскрипывал. Лицо штурмана вытянулось от изумления: там, в серебристом овале лунного света, происходило настоящее сражение. Позеленевший от ярости астрид пытался оплести чувствилищами своего нервно подпрыгивающего и крутившегося волчком противника. «Да ведь это же мое кресло! — догадался борттехник. — Наконец-то эти двое нашли друг друга!»

— Как тебе нравится мой зверинец? — спросил он штурмана.

Только теперь окончательно Чингиз поверил в свое спасение. Сейчас лишь одна мысль не давала ему покоя, мешала радоваться возвращению к жизни. Его опять мучил все тот же проклятый вопрос: «Кто же этот Старик?» Последнее предположение, что

бритоголовый — пилот с погибшего лайнера «Гром», казалось ему теперь детским лепетом. Впервые, об этом наверняка знали бы все на корабле. Но главное: разве кто-нибудь из землян мог совершить то, что удалось человеку со шрамом? «Полно, да человек ли он, в самом деле», — подумал Чингиз, поймав себя на том, что мысленно повторил сомнение, только что промелькнувшее в рассказе штурмана. Как-то сами собой вспомнились таинственные слухи, которым он никогда раньше не придавал значения. Теперь, после всего, что произошло, Чингиз мог уже допустить любое, самое фантастическое предположение: «А что, если этот необыкновенный старик и есть один из тех пришельцев, о которых так много говорят, — думал борттехник. — Что, если бритоголовый и в самом деле разведчик, проникший в обжитую зону из еще не обследованных районов Галактики, — гуманоид, усвоивший земной язык? А шрам на его лице — всего лишь искусная маскировка!»

— Я совсем забыл сказать, — нарушил молчание штурман, — Старик хотел тебя видеть.

— Меня?! — удивился Чингиз. — Зачем я ему понадобился?

— Не знаю, — ответил штурман. — После приземления ему вдруг стало плохо — что-то с сердцем. Я вызвал врача. Теперь Старик в лазарете, и ему вроде бы лучше. Сходи к нему. Он ждет!

При появлении Чингиза в лазарете на изуродованном лице больного промелькнуло что-то похожее на улыбку. Но, возможно, это была просто гримаса боли.

Некоторое время они оба молчали, и борттехник поймал себя на том, что не в силах оторвать взгляда от лица, обезображенного страшным шрамом. Словно прочтя его мысли, Старик тихо сказал:

— Это украшение — подарок от гребнезубого щерца. Я встретил его на Коралловом Клыкe... Очень милое создание... Просто мы не сошлись характерами, это бывает. У нас такие пердряги в порядке вещей...

«Он сказал «у нас»! Так я и думал, это не землянин! Сейчас он проговорится...» — Сердце Чингиза торжествующе забилося.

— То, что вы совершили, настоящее чудо! — неожиданно выпалил он, и ему самому стало противно от этих умильных слов: но он должен был заставить бритоголового разговариваться.

— Какое там чудо, — ответил Старик, — обыкновенная работа.

Но Чингиз не мог больше продолжать игру:

— Все так отвечают, когда их благодарят или хвалят. Для этого существует стандартная формула скромности под шифром из первых букв ЛНМПТ, что означает — любой на моем месте поступил бы так же. Конечно, откуда же вам это знать!

— Ну и злой же ты, — улыбнулся бритоголовый. — Впрочем, это хорошо... Плохо то, что вы здесь, на Земле, как мне нажмет-

ся, утратили вкус к решительным действиям...

— Так я и знал! — вырвалось у Чингиза. — Вы победили благодаря каким-то своим особым качествам! Все правильно, вы даже не похожи на человека Земли!

— Зато вы все очень похожи друг на друга, — проворчал Старик, дотронувшись пальцами до шрама.

— Простите, я совсем не имел в виду внешнее сходство, — смутился Чингиз.

— И я тоже, — сказал бритоголовый, — но от этого нам не легче. За кого, собственно, ты меня принимаешь? — Этот вопрос сбил Чингиза с толку.

— Не знаю, — ответил он. — Просто вы чем-то от нас отличаетесь. Я это чувствую, потому что все люди должны быть одинаковыми...

— Такими же одинаковыми, как астриды? — спросил бритоголовый и, сморщась, прижал руку к сердцу.

— Нет, вы не поняли, — оправдывался Чингиз. — Я только хотел сказать, что лучшее качество человека — это его простота. Да, да, простота! А вы для меня совсем непонятны!

— Жаль, меньше всего хотелось мне быть непонятным, — вздохнул Старик и, немного помолчав, добавил: — Но и слыть простаком тоже не желаю — уж

больно это подозрительное дело. Простой человек может оказаться и простофилей, и бесцеремонным нахалом, и даже вопиствующим, скорым на расправу невежей!

Кровь бросилась в лицо Чингизу. Он ощутил какую-то неведомую опасность, направленную только против него одного, которая исходила от этого беспомощно распростертого в кресле человека. В тембре его голоса, в строе речи, в интонациях заключалось что-то бесконечно волнующее. Охваченный смятением, уже почти механически, борттехник спросил:

— А какими, по-вашему, должны быть люди?

— По-нашему? — В глазах бритоголового вспыхнули лукавые искорки. — Трудно сказать. Я думаю, прежде всего человек должен быть неповторим...

— Как это неповторим?

— Очевидно, каждый по-своему, — ответил Старик. — Ну, возможно, так же, как неповторимы вот эти стихи...

И, прикрыв ладонью глаза, он негромко декламировал:

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, Земля *.

«Отец!» — хотел крикнуть Чингиз, но не услышал своего голоса.

* Стихотворение С. Есенина «Там, где вечно дремлет тайна».



1. МЕХАНИК «ЭЛЛИПСА»

— Слушай, приятель! Я тебя где-то видел. Присядь, выпьем по рюмке.

Он крепко держал меня за рукав пиджака. Дернул же черт пройти мимо этого стола, как будто нельзя было направиться прямо к выходу. Дома я ему быстро дал бы понять, что он не встречал меня раньше. Я приехал в этот городишко только ночью. Единственное место, где меня могли увидеть местные жители, — это третья страница утреннего выпуска «Космических новостей». Но тот, кто на рассвете успел порядком набраться, вряд ли читает скучнейшую газету, предназначенную для специалистов.

Как мне хотелось стукнуть его чем-нибудь, но этого нельзя было делать. Слишком много бесед и напутствий пришлось перенести перед отъездом. Мне советовали не высказываться против частных компаний, не интересоваться техническими деталями системы запуска и самого космолета, ходить только по маршрутам, выработанным для журналистов, не забираться далеко в горы... Пожалуй, проще было бы перечислить, что я имел право делать. Список получился бы куда короче. Конечно, никому не пришлось в голову запретить мне скандалы с посетителями кафе и ресторанов, и похоже было, что этого не избежать.

— Извините, — елеинным голосом пропел я так, что самому стало тошно, — вы никак не

ЛЕВ ЭДЖУБОВ

срок жизни

Дети до 16 лет не допускаются.
(Из объявления в кинотеатре)

Принимаются лица не старше
35 лет.
(Из инструкции о приеме
в высшие учебные заведения)

$35 - 16 = 19$.
(Из учебника арифметики
для начальной школы)

могли меня видеть. Отпустите, пожалуйста, рукав.

— Брось, братец! Может, нас друг другу и не представляли. Но я тебя все равно где-то видел.

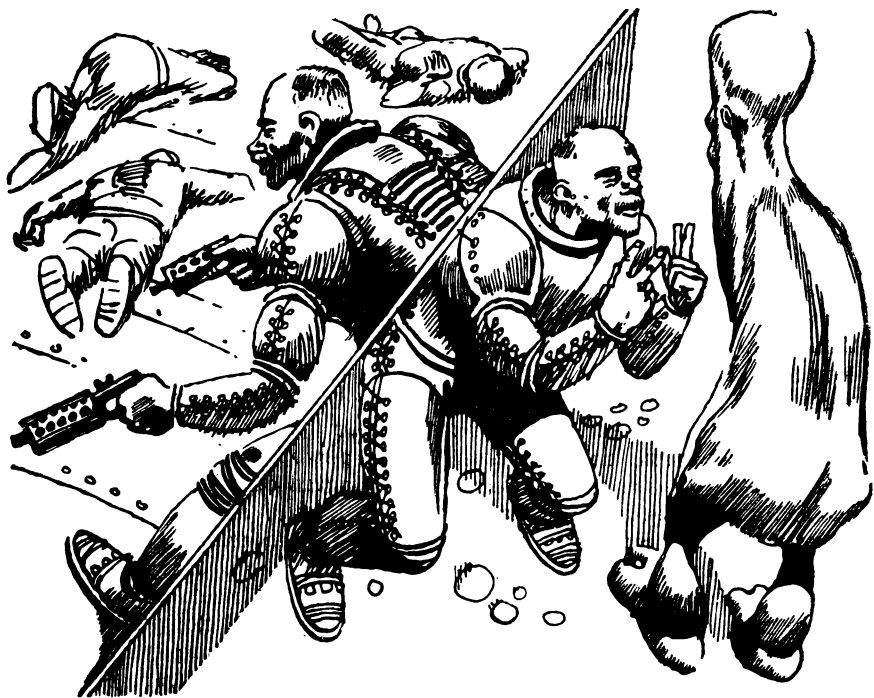
— Да я только ночью приехал и первый раз вышел из гостиницы позавтракать. — Я уже еле сдерживался. — А ну, уберни руку!

— Ха-ха-ха! — радостно загоготал пьяный. — А ведь верно. Вспомнил. Это я в «Космических новостях» видел твой портрет.

И вдруг он сразу осекся, стал серьезным и почему-то показался уже не пьяным, а больным.

— Да, конечно, — сказал он, отпуская мой рукав. — Журналист оттуда. Прибыл на церемонию старта «Саранды». Так сказать, на торжество. По журналисту от страны. И портретик каждого, чтобы никто не спутал. А может, вы все же выпьете со мной? Все равно ведь сейчас некуда идти.

Это становилось интересным. Было чему удивляться: первый попавшийся на глаза пьяница успевает между рюмками русской водки, да еще после первых петухов, просмотреть газеты и даже запомнить лицо незнакомого журналиста. Но я колебался.



— Да вы садитесь. А то потом пожалеете, что не сели.

— Это почему же? — спросил я, усаживаясь.

— Потому, — сообщил он, наполняя свою рюмку, — что сейчас рано и никого нет. А через час со мной не поговоришь.

Я не понял, какое отношение к нашей беседе имеет отсутствие посетителей, но наполовину опорожненная бутылка на столе подтверждала, что через некоторое время с ним действительно не поговоришь.

— Журналистам сегодня предстоит напряженный день, — он пощелкал пальцем по бутылке. — Вы, конечно, эту жидкость с утра глотать не станете. Сейчас попросим что-нибудь помягче.

Он повернулся всем туловищем к проходу между столами, некоторое время сосредоточенно молчал, как бы соображая, что выбрать из плохо знакомых ему слабых напитков, и наконец крикнул:

— Катрин, баночку пива!

Катрин, стоявшая за стойкой, неторопливо направилась к нам. Стройная, длинноногая, она как будто не шла, а просто уменьшала расстояние между собой и нашим столиком. И по мере того как она приближалась, все тоскливее становились глаза моего соседа, все явственнее проступала какая-то болезненность в его лице. Катрин остановилась совсем близко, поставила банку пива на стол, прошествовала обратно к стойке и что-то сказала плюгавому, некрасивому мужчине, выглядывавшему

из-за громоздкого кофейного агрегата.

— Ее муж, — как бы угадав мой вопрос, глухо сообщил сосед. Потом он повернулся ко мне, наклонился всем телом к столу и продолжал: — Вот ты видел многих людей. Пишешь о них. Изучаешь. А скажи, почему вот таким уродам достаются красивые жены? Молчишь! А я могу тебе сказать, почему.

Он перевел взгляд к стойке, с отвращением взглянул на хозяина ресторана, который полировал металлический бок агрегата, и отвернулся.

— Все в этой проклятой жизни просто. Некрасивым мужикам приходится бороться за любую бабу. Что за плохую, что за хорошую. А красивые женщины любят, когда за них лбы расширяют.

Оказывается, этот тип имеет склонность не только к спиртным напиткам, но и к философским обобщениям.

— А может быть, она вышла за него по любви или потому, что этот красавец владеет рестораном?

— Чудак ты, журналист. По любви! — И он снова весело загоготал. — А что касается дрянного рестораника — такая могла продать себя и подороже.

— И что, нашлись бы покупатели? — спросил я.

— Отчего же! Например, я. — И, увидев на моем лице недоверчивую усмешку, он продолжал: — Трудно, правда, поверить, что я богат. Тот, кто делает деньги, не

напивается с утра пораньше. Так любой в трубу вылетит. А я деньги трачу, а не делаю. И мог бы Катрин за одну ночь заплатить больше, чем этот плюгавый зарабатывает за целый месяц.

— А можно узнать, что вы за птица такая?

— Можно. Отчего же нельзя. Только ты держи глаза, а то на лоб вылезут.

Он помолчал немного, отхлебнул глоток водки и только тогда посмотрел на меня спокойно и, как мне показалось, насмешливо:

— Я Барк Томсон, механик с «Эллипса».

Наверное, ни один свод законов за всю историю человечества не содержал такого количества бесполезных правил, как инструкции Международной космической ассоциации. Каждый шаг любого члена экипажа даже самой маленькой космической посудины был строго регламентирован. Конечно, когда дело касалось околоземных пространств. За их пределами и командиры и команда, да и пассажиры тоже чаще всего руководствовались обстоятельствами, а не пухлыми томами инструкций.

Пункт 487 «в» «Инструкции о посадке космолетов большого тоннажа» был принят из-за штурмана Девра и никогда не применялся.

Девр летал на громадном космолете. Раньше такие не всегда благополучно опускались в посадочные озера. В последнем полете Девр получил серьезную травму

при аварийном торможении. Когда подлетали к Земле, он бросил рубку, ворвался к главному штурману и стал колотить кулачищами по приборам. Решил, что приборы врут и посадка идет неверно. Когда он понял, что отводить космолет на дополнительный расчетный виток не собираются, он стал вопить от страха и требовать, чтобы ему разрешили индивидуальную посадку. Конечно, ни командир, ни главный не могли разрешить такого, так как в инструкции ничего на этот счет не говорилось. Ну, а на Земле, сразу же после посадки, Девра связали и отправили в больницу.

Вышел он оттуда через два месяца здоровым, посмеивался над своей историей, хотя о полетах ему пришлось забыть. Но в результате на свет появился пункт 487 «в» «Инструкции о посадке космолетов большого тоннажа». Согласно этому пункту командир корабля имел право разрешить индивидуальную посадку на Землю любому члену экипажа, если возникнет реальная опасность психического расстройства из-за страха разбиться при последних маневрах космолета. Конечно, что и говорить, у многих тряслись поджилки в момент посадки. Даже у самых храбрых. Полетай годик-другой, хлебни всех этих опасностей, которые сваливаются всегда неожиданно и не с той стороны, с какой их ждешь, а потом попробуй садиться спокойно.

И все же за девятнадцать лет

существования пункта 487 «в» ни один космонавт ни разу не воспользовался своим правом. О нем уже начали забывать, о пункте 487 «в». Как вдруг случилась эта история с «Эллипсом».

Роб Айленд, дежурный по космопорту частной компании «Джеральди», не мог сказать точно, в какой момент от «Эллипса» отделилась капсула, хотя прямо перед его носом был громадный экран для наблюдения за посадкой.

Надо же было случиться, что в момент посадки «Эллипса» в диспетчерский пункт космопорта вошла Бетти. Она молча уселась рядом с Робом и начала внимательно изучать свое изображение в мятой полированной крышке видеодатчика. «Эллипс» хорошо держался в центре экрана, и пока все шло нормально. До приведения оставалось добрых двадцать пять минут, и Роб решил рискнуть, хотя знал, что запись изображения будет автоматически включена только на последней пятиминутке.

— Слушайте, Бетт, я хочу сделать вам маленький сюрприз, — сказал Роб Айленд, не поворачивая головы от экрана. — Надеюсь, вы не станете потешаться надо мной.

— Ну, что вы опять придумали? Снова экскурсия в расщепленные пещеры с эскалатором и канализацией, как на прошлой неделе?

— Нет, значительно хуже, — Роб потянулся к краю щита и

передвинул изображение «Эллипса» правее. — Я написал стихотворение, посвященное вам.

— О Роб, я в восторге! Женщины обязаны любить стихи. Во всяком случае, должны млеть от восхищения, когда стихи посвящаются им. — Бетти оторвалась ненадолго от своего занятия и взглянула на Айленда с улыбкой. — Расскажите, Роб, как мужчинам приходит в голову мысль писать стихи и как они это делают.

— Опять вы за свое, — огорченно проговорил Роб и вернул изображение «Эллипса» к центру. — Давайте я сперва прочту стихотворение, а потом можете вволю смеяться.

— Ну, что ж, валийте.

Роб устоял на экран и минуту сосредоточенно молчал. «Эллипс» казался совершенно неподвижным, хотя и мчался по дуге с громадной скоростью. Приборы наблюдения, расположенные далеко от космопорта, держали изображение корабля точно в центре экрана.

С «Эллипсом» было не все ясно. Он появился на три с половиной года раньше, чем его ждали. Но пока все шло как обычно. Посадка как посадка. Теперь уже ничего не может произойти. Да и с корабля не подавали никаких сигналов бедствия.

— SOS! — сказал Роб Айленд.

— SOS? — выпрямившись, спросила Бетти, и глаза ее тревожно забегали по экрану и щиту наблюдения за посадкой.

— Стихотворение называется «SOS», — сказал Роб, не поворачивая головы.

Бетти метнула на него сердитый взгляд, но потом успокоилась и стала снова разглядывать свое изображение на блестящей поверхности крышки.

SOS! SOS! SOS!
Спасите меня, хорошая,
Я, как бездомный матрос,
Жизнью безжалостно брошен
В безбрежное море ненужных людей.
Я у тоски во власти
На долготе одиноких ночей
И широте беспредельной страсти,
Жизнью безжалостно брошен
Я, как бездомный матрос,
Спасите меня, хорошая,
SOS! SOS! SOS!

— Ну как? — не поворачивая головы, спросил Роб.

— Пожалуй, поэт из вас не получится, — ответила Бетти, улыбаясь. — Но эти строчки начесть долготы и широты довольно сносные. Как они звучат?

Вот здесь-то Роб и не выдержал, отвел взгляд от экрана и повернулся к Бетти. Сперва он невольно пробежал взглядом по согнутой над щитом фигуре, а потом, глядя Бетти в глаза, медленно повторил:

...на долготе одиноких ночей
И широте беспредельной страсти,

На второй день Роб рассчитал время. Оказалось, он смотрел на Бетти каких-нибудь семь или восемь секунд. Но, когда он перевел взгляд на экран, в борту «Эллипса» зияло отверстие торпедного отсека, а к краю экрана

медленно уходила индивидуальная посадочная капсула. Если бы Роб знал, как важно сейчас проследить, начнет ли задринаться торпедный отсек, он не шелохнулся бы. Ведь отсек остается открытым только в одном случае: когда корабль покидает последний член экипажа, чтобы можно было вернуться на космолет. Но Роб растерялся и еще раз взглянул на Бетти, как бы призывая ее в свидетели происходящего. Когда он повернул голову, Бетти метнулась к щиту и включила запись изображения посадки и сигнал тревоги. Это тоже была ошибка, так как и Бетти в этот момент не видела экрана, а запись все равно была включена поздно.

Когда они оба взглянули на экран, индивидуальная посадочная капсула ушла за край, а вместо «Эллипса» мчались острые языки пламени и разлетались осколки космолета, которым теперь суждено было сгореть в атмосфере. «Эллипс» взорвался, не долетев до Земли каких-нибудь несколько сот километров.

А через полчаса посадочную капсулу подтянули к причалу, подцепили тросом, подняли и посадили в гнездо. И только тогда люк сделал четверть оборота, откинулся и из капсулы вылез Барк Томсон, механик «Эллипса», единственный член экипажа, который вернулся на Землю.

2. ПЛАНЕТА

— Так вас «Джеральди» все эти годы прятала здесь? — спро-

сил я, когда опомнился от изумления.

— В наше время никто не может спрятать человека, тем более «Джеральди». По вашей милости частных космических фирм осталось раз-два — и обчелся. На традициях держатся. Все теперь у Международной космической ассоциации. Даже капитанов кораблей она назначает. Эти частные компании давно разогнать пора. Никто связываться не хочет. — Барк угрюмо усмехнулся. — Так что я сам сидел здесь. Конечно, не совсем по своей охоте. До взлета следующего корабля я должен был подчиниться. Фирма требовала. А потом тут понаехали разные международные комиссии. Так что пришлось. Иначе плакали мои денешки. А я их так заработал, что не дай бог другому. Чего же артачиться? Жить и здесь можно.

— А чего вы испугались при посадке? Нервишки или на корабле было что-нибудь неладно? Какая случайность вас спасла?

— Никакая не случайность. — Он откинулся на стуле и посмотрел на меня с тревогой. — Все было по закону.

— По закону-то по закону, — прервал я его, — но ведь вы могли и не испугаться посадки и остаться на корабле.

— Никан не мог, — спокойно сказал Барк, и опять в его глазах загорелась насмешка. — Я же ничего не пугался. Я ведь знал, что корабль при посадке может разбиться.

— То есть как это вы знали?

— Да так. Думаешь, я один

знал? Я им предлагал оставить корабль на орбите и посадку совершить в капсулах. Не поверили. И вот я сижу здесь, а они где?

Он помрачнел и отвернулся. Долго смотрел на Катрин, которая вертелась около стойки, потом взглянул на меня.

— Ладно, время еще есть. Я тебе все по порядку выложу, как было. А то на меня здесь наговаривают некоторые. Хватит. Три года молчал.

Барк ткнул вилкой кубик обжаренного сыра, отправил его в рот и долго жевал, уставившись в стол. Потом он поднял голову и заговорил:

— Вот ты смотришь на меня и, наверное, думаешь, как же это вот такой, как я, — и на «Эллипсе». Когда на кораблях одни космолетки и ученые. Я сам не верил сначала, когда предложили. Я на сборке работал. Работа временная. Но у них там авария произошла. Вот из-за нее-то все и случилось.

Только после второго или третьего оборота ключа Армандо сообщил, что гайка вращается слишком свободно, а резьба стяжки вылезла дальше, чем полагалось. Очевидно, он что-то смял внутри.

Когда он увидел, что натворил, у него похолодело в груди. Металлическая балка просела и развела надвое центральный стержень ревертира. Однако испуг тут же прошел: Армандо разглядел, что защитные планки убраны и болтаются на магнитных присосках. Значит, за поломку придется отвечать кому-то другому. Ведь ему

не сообщили, что стержень ревенира остался оголенным.

Через четверть часа сборка в космосе была приостановлена, и все собрались в диспетчерской. Члены команды «Эллипса», которые по инструкции обязаны были принимать участие во всех этапах сборки, сидели в стороне. Они выполняли только вспомогательные работы и почти всегда при аварийных событиях были зрителями, к тому же не очень внимательными и серьезными. Они тихо переговаривались между собой, пока сборщики препирались, выявляя виновного.

— Да, натворили. — Главный сборщик огорченно махнул рукой. — Поломка-то пустяковая. Стержень можно свести. Но ведь это нужно сделать с точностью до микрона, а у нас одно сборочное оборудование. Грузовой космолет поднимется сюда только через неделю. Значит, надо менять план сборки, чтоб время не уходило попусту.

— А зачем? — раздался вдруг спокойный голос. — Можно обойтись и без аппаратуры.

Рассмеялись только в той стороне диспетчерской, где сидела команда «Эллипса». Но и у главного выступление Барка Томсона не вызвало энтузиазма.

— Да ты понимаешь, что такое микрон? — проговорил он, досадливо поморщившись.

— Слышал вроде, — не унился Барк. — А почему не попытаться счастья? Не получится, тогда и сообщим на Землю.

Четыре часа Барк возился с

центральным стержнем ревенира. В тесной секции сгрудились сборщики и часть команды «Эллипса». План Барка оказался прост: для предварительной установки стержня он использовал защитные планки, но окончательную установку проводил вручную. Он гладил стержень грубыми мозолистыми пальцами, проводил по его краям толстыми желтыми ногтями и, сопя, тихонько постукивал по гладкой металлической поверхности у разлома то ребром ладони, то мизинцем. Зрителям стержень ревенира казался неподвижным, зажатым защитными планками. Но Барк то и дело огорченно ахал, что-то бормотал, начинал снова гладить стержень и постукивать его с другой стороны. Все это множество раз повторялось и длилось утомительно долго. Наконец Барк застыл и только медленно кивнул головой. Один из сборщиков повернул рычаг фиксатора, и Барк устало опустил руки. Через минуту к участку разлома подвели измеритель. Стрелка поползла вверх и остановилась на делении 0,7 микрона — стержень ревенира был установлен точнее, чем полагалось по нормам!

Когда все разошлись по местам, в диспетчерскую ворвался космолетчик Родерик Дэвис, откинул щиток скафандра и подошел к командире «Эллипса».

— Вот это работенка! — зарокотал он. — Ну и силен мужик. Без аппаратуры — и 0,7 микрона. Потеха! И чего таскать за собой тонны инструментов, когда одного Барка было бы достаточно.

— Да, руки у него отменные, — ответил командир, — просто удивительно.

— А это верно, — неожиданно спросил Дэвис, — что Зомер отказался лететь и одно место в команде свободно?

— Уж не собираешься ли ты на это место предложить Барка Томсона? — спросил командир.

— А почему бы нет? — Дэвис усмехнулся. — Видишь ли, мне не хочется оставаться там и не вернуться на Землю из-за какой-нибудь глупой поломки. А они наверняка будут.

— Но ведь ты знаешь, по какому принципу комплектуются команды испытательных кораблей. Что твой Барк будет делать между редкими ремонтными работами?

— Пусть ничего не делает, — спокойно отпарировал Дэвис. — Мы все сделаем за него, но зато мы будем спокойны.

— Ты, как представитель «Джеральди», можешь брать в экипаж кого угодно, — сказал командир, — но я предпочел бы иметь в команде человека, умеющего работать не только руками, но и головой.

— Голов у тебя будет достаточно, а вот таких рук, к сожалению, нет. И ни один ученый не сможет сделать того, что сделал сегодня Барк. Принцип совмещения профессий! Он хорош для ближних трасс, когда по сигналу бедствия к кораблю могут ринуться десятки спасателей. А что будем делать мы, когда окажемся даже без связи с Землей?

Дэвис снова взглянул на командира.

— Никто из нас не умеет хорошо готовить. Но мы будем готовить и невкусную еду. Все мы хорошо знаем электронику. И если даже разобрать всю аппаратуру до последнего элемента, мы сумеем наладить и пустить в ход то, что нам понадобится. Но ведь корабль, кроме того, состоит из металла. А где металл, там должен обязательно быть рабочий. Слесарь, токарь, механик — кто угодно. Пусть не ученый, но обязательно с такими руками, как у Барка. Одними учеными и космолетчиками не обойдешься.

— Ты мог бы придумать более веские аргументы. — Капитан внимательно поглядел на Дэвиса. — Почему ты непременно хочешь, чтобы Барк был в экипаже? Создается впечатление, что ты стараешься загладить какую-то вину перед ним.

— Какую вину? — вспыхнул Дэвис.

— Слышал я, еще много лет назад вас оказалось двое на последнее вакантное место в школу космолетчиков-испытателей. Но ведь Барк не прошел по многим показателям.

— Ну, если ты это знаешь... Барк считал, что у него незначительное отклонение от нормы. Он очень просил меня уйти. Забрать заявление. Я этого не сделал, хотя и мог бы. И Барк стал сборщиком. Понимаешь, наш полет — последний шанс для него. Больше такого не будет.

Дэвис отошел к стойке и стал

растегивать скафандр. Он долго возился с застежками. Потом повернулся и хмуро сказал:

— Все это чепуха, капитан. Не это определяет мое решение. Барк нужен на корабле, и я готов нести за него полную ответственность.

— Поступай как знаешь, — ответил капитан, пожав плечами. — Наверно, для престижа вашей фирмы нужно, чтобы хоть один член экипажа был навязан капитану, которого прислала космическая ассоциация.

— Вот так я и попал на «Эллипс». — Барк откинулся на спинку стула. — Хотел я на кораблях полетать, а когда увидел договор, понял: такое раз в жизни бывает. И согласился. Месяца два сидели на ближних трассах. Ну, а потом и отправились в путь. Тогда же все с ума посходили. Ста лет от первого полета в космос не прошло. Недавно только в около-солнечном пространстве болтались. А тут подавай сразу сверхдальние трассы. И все из-за новой технологии полета вашего ученого. Эти русские фамилии — язык поломаешь. Ну, а фирма чем хуже. И она испытания вела. Полет рассчитан был года на четыре. Не вышло все гораздо быстрее. Всего полгода летели.

Когда перешли на полет без ускорения и огляделись вокруг, радости было много. Получилось, что все рассчитано правильно. Ну, позаписали все эти новые звезды, всякие исследования провели и

уже должны были идти в обратный путь. И в этот момент наткнулись на планету, чтоб ей ни дна, ни покрывки. Она нам все планы спутала.

После посадки на планету Дэвис утверждал, что прекрасно справился бы и один. Но когда на его дежурстве приборы сообщали, что луч неизвестно откуда взявшегося локатора ощущает их корабль, он обрадовался, что командир сидел рядом и, так же как и сам Дэвис, изумленно таращил глаза на шкалу прибора.

— Что за чертовщина? — пробормотал командир. — Здесь не должно быть никаких космолетов поблизости.

Потом в течение нескольких минут они напряженно работали и, когда на модельной карте две тонкие линии сошлись далеко по курсу корабля и перечеркнули одну из планет небольшой звездной системы, командир побледнел, а у Дэвиса задрожали руки.

— Дать ответный сигнал? — спросил Дэвис.

— Ни в коем случае, — остановил его командир. — Включай только анализаторы и оптические наблюдатели. Не надо выдавать себя.

— Но ведь они все равно обнаружили нас.

— Вряд ли на таком расстоянии можно различить контур корабля. Скорее всего это локатор какой-нибудь метеоритной станции.

Некоторое время командир смотрел на приборы, потом включил сигнал аварийного вызова команды.

Они входили в рубку один за другим и становились за креслами командира и Дэвиса. Может быть, так получилось потому, что первым появился Остин и сразу устался на модельную карту. Он участвовал в сборке командной рубки, и ему ничего не надо было объяснять. Остин так и не отошел к столу, и остальные тоже застыли за спиной командира, сгрудившись тесной группой. Тонкие светлые ниточки дрожали в прозрачной глубине модельной карты, пересекаясь на светлом шарнире планеты.

Первым нарушил молчание Остин.

— Да, техника у них не надежная, — сказал он, продолжая изучать показания приборов.

— А может быть, важнее отметить, что это все же техника, пусть даже слабая. — От группы космонавтов отделился биолог Фаулер. — Ты всегда начинаешь с недостатков, Остин.

— А достоинства мне пока неизвестны. Да они меня сейчас и не интересуют.

— И все же Фаулер прав, — командир повернул кресло и оглядел собравшихся. — Для нас сейчас самое главное, что это техника, и она, к сожалению, сработала. В этом участке нет густых метеоритных потоков. Однако нас засекли на очень большом расстоянии. Одно наличие службы дальнего космического обнаружения уже говорит о многом.

— Что ты хочешь этим сказать? — Остин перевел взгляд от

приборов и с тревогой взглянул на командира.

— Я хочу сказать, что на планете могут опасаться не только метеоритов.

— Можно подумать, — Остин усмехнулся, — на планете ждут не дождутся встречи с пришельцами из космоса.

— А почему бы и нет? Весь вопрос в том, что припасли к встрече с пришельцами. Возможно, этот слабый и плохонький локатор — все, чем располагает планета. А может быть, это только уловка, чтобы скрыть истинный уровень техники.

В рубке наступило молчание. Командир сидел, опустив голову. Никто не двинулся с места.

И вдруг в тишине раздался удивленный голос Фаулера.

— Слушайте, о чем вы говорите? — он подошел вплотную к командиру. — Ведь это цивилизация! Разумные существа! Нам повезло. А вы! Я считаю...

Остин резко перебил его:

— Я знаю, что ты считаешь. Сейчас начнешь ахать. Ах, неизведанная форма жизни, ах, новый строй мышления, ах, невиданный способ передачи генетической информации. Ах! Ах! А я вот считаю, что мы не должны соваться на планету.

— Это наш долг, — твердо сказал Фаулер.

— Долг? — Остина затрясло от возмущения. — Наш долг — вернуться на Землю. Мы ведем испытания и не имеем права глупо рисковать. Сейчас важно показать, что расчет полета верен.

— Но ведь планета... — начал было Фаулер, но Остин снова перебил его:

— А что планета? Никуда она не денется. Так и будет крутиться возле своей звезды. — Остин почувствовал, что Фаулер сдается, и стал говорить спокойнее. — Мы ее обнаружили, твою планету. Зафиксировали координаты. После нашего возвращения на Землю сюда можно направить новую экспедицию. А посадка на неизвестную цивилизованную планету связана с риском.

— Если все так скверно складывается, — проговорил Фаулер с какой-то примирительной интонацией в голосе. — И если вы все такие осторожные! — вдруг почти выкрикнул он с досадой. — Так к чему весь этот разговор? Через десять часов мы должны были начать поворот для возвращения.

— Наконец я слышу разумную речь, — Остин подошел к Фаулеру и похлопал его по плечу. — Главное сделано — цивилизация обнаружена. А детали — кто населяет планету, каков уровень развития, какова форма жизни — выяснятся потом.

— Беда заключается в том, — Фаулер так же снисходительно похлопал Остина по плечу, — что для биолога все перечисленные детали и составляют предмет исследования.

Теперь, когда спор был улажен, напряжение спало, и космонавты тихо переговаривались, усаживаясь.

— А может быть, нам начать

маневр поворота сейчас? — Остин выжидательно посмотрел на командира. — Незачем подходить к планете близко.

Командир долго не отвечал, о чем-то думая и глядя на карту. Потом он повернулся к Остину и спросил с неожиданной насмешкой в голосе:

— А ты, Остин, часто встречал метеориты, которые, не долетев до планеты, поворачивают и начинают двигаться в противоположном направлении?

И снова в рубке стало тихо.

— Как только мы сойдем с нынешнего режима полета и начнем поворот, — командир пересел к столу и обвел взглядом собравшихся, — на планете сразу поймут, что имеют дело с космолетом, который к тому же намеревается удрать. Это может показаться подозрительным и привести к желанию задержать или даже уничтожить корабль. К сожалению, мы летим почти прямо на планету и проскочить ее незаметно не удастся. Примерно через неделю они нас опознают.

— Ты предлагаешь все же совершить посадку? — спросил Дэвис.

— Не предлагаю, — ответил командир, — а приказываю. Конечно, если будут разумные предложения, я готов изменить приказ. Но боюсь, что другого выхода нет. Я тоже не хочу лезть туда, но придется. Мало того, мы должны заранее сообщить о себе и будем подходить к планете на малой скорости. Пусть у них будет достаточно времени для

подготовки. Только так мы будем гарантированы от неожиданного применения оружия. Сейчас всем надеть аварийные скафандры и быть на местах! Первый сигнал с космолета будет подан через срок пять минут.

Командир поднялся и подошел к Дэвису. Когда рубка опустела, он еще раз внимательно осмотрел пульт управления, проверил показания приборов и, откинувшись в кресле, сказал:

— Приготовь автоматическую передачу сигналов на частоте их локатора, но мощнее.

— А что передавать? — спросил Дэвис.

— Для начала два коротких сигнала и паузу, снова два коротких и паузу, потом четыре коротких и длинную паузу. Затем все сначала.

— Дважды два — четыре? — улыбаясь, спросил Дэвис.

— Да, — ответил командир, — это, видимо, одна из немногих истин, понятных любой цивилизации.

Командир с Дэвисом стояли на краю посадочной плиты, а напротив, в четырех шагах от них, оставились двое с планеты. Некоторое время молча изучали друг друга. Собственно, ничего нового это не давало. Командир много раз выходил на связь с планетой по телевизионному каналу. Планетяне только однажды изволили показаться на экране, но изображение было записано и изучено досконально.

Командир первым шагнул вперед и назвал себя. Дэвис сделал то же самое, но планетяне стояли неподвижно.

— Мы рады передать привет с Земли, — хмуро сказал командир, — и готовы строго соблюдать порядки, существующие на планете.

Эта фраза действовала на одного из планетян. Он протянул вперед обе руки, как бы показывая, что в них ничего нет, и из его рта неожиданно полился невнятный скрип, смешанный со звуками, напоминающими трель. Когда первый замолк, второй планетянин тоже протянул вперед обе руки, сперва тихонько пискнул, а потом вдруг заговорил, очень четко произнося звуки:

— Приветствуем вас на нашей планете. Ждем исполнения просьбы Комитета встречи.

— Просьба Комитета выражена в несколько непривычной для нас форме, — ответил командир. — На Земле такая просьба называется приказом. Но мы собрали все необходимое и готовы выгрузить контейнер в любое место, которое вы укажете.

Планетяне начали скрипеть и чирикать, слегка покачивая головами. Все это делалось неторопливо, пожалуй, даже медленно. Потом второй, вероятно переводчик, повернулся к командиру и сказал:

— Выгрузите контейнер на площадку. Его перевезет в Комитет один из космопланов.

На космолете открылся грузовой люк, и на тросе опустили небольшой контейнер. Здесь были

сведения о Земле. В микрозаписях, видеофильмах, даже книгах было много из того, что можно рассказать о людях, строении человеческого организма, об истории, политическом строе различных государств, промышленности, науке, искусстве, литературе. Не было только координат Земли. Командир отказался дать их до ознакомления с планетой. Слишком жесткими и подозрительными были условия, продиктованные Комитетом встречи.

Даже подход космолета к планете больше напоминал принудительную посадку, чем гостеприимную встречу. Еще далеко от планеты два космоплана пристроились вплотную к корпусу корабля и повели его к месту посадки на высоком горном плато.

Корабль навис над круглой плитой, похожей на бетонную площадку, и начал плавно опускаться на нее под конвоем космопланов. Как только высота упала до семи тысяч метров, на пульте управления щелкнуло реле разрядника и взвыли сирены автоматов защиты.

— Садиться будет мягко, — сообщил Дэвис, — под этой бетонной площадкой два атомных заряда.

— Будем рассматривать это как меру предосторожности, — спокойно сказал командир. — Уничтожить нас они могли бы и раньше. Времени у них было достаточно.

Весь месяц, пока корабль двигался к цели, хозяева планеты изучали язык, символы, понятия, которыми пользовались земляне.

Все попытки получить аналогичную информацию о планете кончались неудачей. Мало того, за несколько дней до конца полета последовала просьба специально созданного Комитета встречи подготовить все сведения о планете Земля и ее обитателях и передать их немедленно после посадки.

Когда прозрачный пластиковый контейнер опустился на площадку, первый планетянин подошел к нему и начал внимательно изучать его устройство и содержимое. Переводчик остался возле командира и Дэвиса. Некоторое время он молча смотрел на них, потом неожиданно заговорил.

— Вы не волнуйтесь, — очень тихо сказал он. — Все будет хорошо. Такая встреча — дань осторожности.

Командир и Дэвис не шевельнулись.

— Мы ничего не боимся. Ведь мы не несем никакой опасности.

— Я в этом убежден, — сказал переводчик, — но не все разделяют эту мою убежденность. Некоторые в своих подозрениях зашли очень далеко...

— Знаем, — перебил его Дэвис. — Но почему вы нам сообщаете об этом?

— Я был против некоторых мер предосторожности.

— Как же вы оказались здесь? — спросил командир. — Ведь могли вместо вас пригласить другого.

— Нет, не могли. Я один сумел так быстро освоить вашу речь...

Первый планетянин окончил

осмотр контейнера и подошел к переводчику. Последовало короткое объяснение. Наконец переводчик обернулся к командиру.

— Нам придется изучить большой материал. Поэтому понадобится некоторый срок. Мы считаем, что это можно сделать...

Переводчик ненадолго замолчал, закрыл глаза и стал беззвучно шевелить губами, видимо переводя намеченный срок на земное время. Потом он посмотрел на командира и Дэвиса и закончил:

— ...примерно за два года.

— Может быть, вы хотите сказать — за два месяца? — спросил командир.

— Два месяца — это шестьдесят дней? — уточнил переводчик и, получив утвердительный ответ, сказал: — Нет, зачем такая торопливость? Именно за два года.

Командир и Дэвис некоторое время не могли ничего сказать. Потом Дэвис выпалил:

— Да вы что! Два года торчать на вашей планете и ждать, пока вы соизволите прокрутить кассеты и прочитать книжки?

— Ничего не понимаю. Два года — это же ничтожно малый срок для такой работы.

— Если вы намерены задерживать нас на планете на длительное время, — резко сказал командир, — это вызовет осложнения. Мы не позволим держать нас в плену.

— Ничего не могу понять! — Переводчик с удивлением глядел на командира. — Почему длительное время? Всего два года! Каких-нибудь два года!

И вдруг переводчик замолчал. В глазах его мелькнуло что-то похожее на любопытство. Он подошел к командиру и тихо спросил:

— Сколько же лет живет человек, если два года для вас много? Какой срок жизни отпущен вам природой?

— В среднем, — ответил командир хмуро, — человек живет восемьдесят лет.

Переводчик отшатнулся, пораженный. Потом он схватил за руку первого планетянина, оттащил его в сторону и принялся с жаром что-то объяснять. По тому, как планетянин взмахнул руками, стало ясно, что новость потрясла и его. Когда они вернулись, командиру и Дэвису показалось, что на них смотрят с состраданием, как на обреченных, доживающих последние часы.

— Мы постараемся изучить все материалы за десять-пятнадцать дней, — сказал переводчик. — Конечно, два года — это для вас очень большая часть жизни. Очень большая!

— Сколько же живут обитатели вашей планеты? — спросил командир.

— В среднем?

— Да, в среднем.

— Две тысячи лет, — ответил переводчик медленно, как будто ему трудно было признаться в этом людям с Земли.

3. СРОК ЖИЗНИ

— Вот так прямо и сообщил, — продолжал свой рассказ Барк, —

две тысячи лет, говорит. В среднем. Ты, конечно, думаешь, что мы, как слышали такое, сразу от удивления попадали. Какое там! Тогда нам было начхать, сколько лет они живут на этой планете. Хоть пять тысяч! Мы все прислушивались и соображали, что они с нами делать собираются. Обойдется все по-мирному или нет.

Барк замолчал, покосился на бутылку, протянул было к ней руку, но почему-то раздумал.

— Так что поначалу мы не сообразили, куда прилетели и как все это обернется. Да и на слова этого типа про две тысячи лет не обратили особого внимания. А когда начали идти дни, сперва кто-то раз это число назвал, потом два, а потом уже и счет потеряли. Как начинается какой-нибудь разговор, сначала все идет нормально, а смотришь, опять на две тысячи лет сворачивает. Сперва, значит, говорили: вот бы, дескать, космонавтам — для дальних рейсов восемьдесят лет вроде маловато. Две тысячи как будто лучше. А Остин про жену свою заговорил, а она лет на двадцать моложе его. Опять, значит, получается, что, живи он дольше, мог бы жену хоть на пятьсот лет моложе взять. Еще про вашего ученого говорили, который всю жизнь потратил на расчет нашего полета. А Дэвис и заявил: «Подумаешь, тоже жизнь, каких-нибудь восемьдесят лет». Дальше — больше. И, знаешь, обидно как-то становилось. Ведь получается, что нам, людям, в общем-то не повезло, а им вот подфартило. Это всегда

так. К одним счастье само приходит. А к другим не идет.

Барк повернулся к стойке и долго смотрел в глубину зала, в полутьму.

— Вот возьми Катрин, — продолжал Барк. — Что она сделала для того, чтобы быть красивой? Ничего. Природа подарила — и все... А этот ее плюгавый... Он чем виноват, что таким уродился? Обошла его судьба, обидела. И так везде. Одним задарма, а другим — хоть разорвись, не получишь. Ты, конечно, скажешь: человек себе хозяин и своей судьбе тоже. Оно верно, да не везде. Ты хоть зубами грызи землю, а с мордой будешь ходить, которую тебе природа дала. Вот и срок жизни тоже. Меньше хочешь сделать — это можно. Кури, пей, гуляй — это ты сам хозяин. А вот две тысячи лет — тут, брат, ничего не поделаешь.

Барк развел руками и зло усмехнулся.

— Тут, на Земле, мы говорим: этот счастливый, а этот нет. Умеем сравнивать. Ну, а если спросить, какие мы, человеки, если нас сравнить с теми или еще с кем на других планетах? Счастливые или нет? Достались нам задарма подарочки или обделенные мы? А? Этим вот задарма досталось. Живут тысячи лет. А мы что? Войны вон сколько нет, за большой монетой только такие дураки, как я, бегают. Везде кричат: равенство, свобода того, свобода другого! А толку-то? Человек, он как жил мало, так мало и живет.

— Ну, и что же было дальше? — не выдержал я.

— А ничего дальше. Ни черта они за десять дней не сделали. Больше месяца нас морили. Видать, не привыкли к большой скорости. Но этот переводчик, Хет его звали, повадился к нам ходить. Почти что жил на корабле. Они его нарочно вместо шпика приставили. Но парень он был терпимый. Только говорил, как на уроке. Как будто старался получить слова произнести. Он все больше заставлял о Земле рассказывать. Приборы смотрел и щупал. Удивлялся. Получалось, что у нас техника, может, ненамного, но получше. Кое-чего он вообще не понимал.

— А может быть, он не был специалистом в технике? — спросил я.

— Какой черт! — обозлился вдруг Барк. — С такой-то жизнью! Да они там лет тридцать, а то и сорок учатся в разных школах и институтах. Чего им спешить. По-нашему если, так их человек в соплях ходит, пока не изучит математику, физику, медицину, биологию и еще прихватывает всякие стишки, романчики и должен знать историю. И только тогда он себе начинает профессию выбирать по душе. Потом поработает лет сто — сто пятьдесят, надоест, он за другую работу принимается.

— Значит, Хет рассказывал и о своей планете?

— Сперва дней десять ничего не говорил. Только про самую планету, Стинбу по-ихнему. Ну, о размере, о горах, океанах. Почти

все как у нас. А дней через десять вдруг заговорил о другом. Они, видать, поняли, что мы ничего им плохого не желаем. Так вот, дней через десять развалился Хет в кают-компании. В кресле любил сидеть — страсть. Часами мог лупить глаза на нас и на разные вещички. Никто и не думал его трогать или чего просить. Решили, раз уселся, значит, можно на него и внимания не обращать. Каждый своим делом занимался. И вдруг Хет говорит: «Хотите, я расскажу об истории нашей планеты?» Ну, мы, конечно, в один голос — давай, дескать, а то, пока про нас вспомнят, от скуки помремь. А Хет уставился на нас и молчал добрых пять минут. Потом полез за пазуху и достал какую-то кругляшку, вроде тарелки. А на ней три физиономии, три стина — так они называли жителей своей планеты. «Вот, — говорит, — про эту тарелку я вам и расскажу».

Хет обвел взглядом собравшихся и некоторое время молчал, держа над головой небольшой круглый медальон с цветным изображением троих стинов. Они шли друг за другом, и каждый передавал переднему что-то напоминающее эстафетную палочку.

— Историю планеты, — начал Хет, — можно поведать, рассказывая о событиях. Но можно говорить и о великих стинах, или великих людях, как вы их называете у себя на Земле, хотя не только великие пишут страницы истории.

Эти трое никогда не видели друг друга, никогда не шли рядом, не сказали друг другу ни слова. Но они передали друг другу Мысль. И каждый воспользовался ею по-своему. Поэтому на Стинбе чтят этих троих, хотя и они, великие, ошибались.

Когда-то, очень давно, стины не знали, что природа дала им громадный срок жизни.

В ваших глазах я вижу удивление и недоверие. «Может ли разумное существо не знать срока своей жизни?» — думаете вы. И ошибаетесь. Долгоживущий, если он долго не стареет, может этого не знать.

Срок жизни определен не только строением ткани, но и устройством жизни.

В те далекие времена вся Стинба была похожа на поле брани. Одни государства исчезали. Другие вырастали до гигантских размеров, чтобы разлететься на части. Да и внутри каждой страны не утихали битвы за власть, за еду, за дом, за пашню, за женщин. Культ смерти царил повсюду. Умереть за короля, за даму сердца, ради глупого спора на дуэли или турнире было высшей честью. Героем считался лишь тот, кто погиб или рисковал жизнью. Жизнь была так коротка, и стины торопились урвать свой кусок.

— Но были же, наверно, и сильные стины, — перебил рассказчика Фаулер, — сильные физически. Почему они не выжили?

Хет молчал несколько минут.

Как и все стины, он никогда не торопился с ответом даже на самый простой вопрос. Потом Хет посмотрел на Фаулера и закивал головой.

— Да, их было очень много, сильных стингов. Они редко гибли в сражениях и на турнирах. Но они, как и слабые, были беззащитны от ударов в спину. А предательские удары в спину — такой хороший способ для тех, кто спешит. И им на Стинбе пользовались часто. Стины были жестоки. В сражениях они должны были обязательно убить противника. Раненый стин быстро поправляется. Вы это называете высокой способностью к регенерации. Беспощадно расправлялись с пленными, даже с женщинами и детьми. А сколько было жестоких обычаев и традиций, которые тоже вели к смерти! И многие из них были направлены против женщин. Мужчины гибли в бою с противником, а женщин убивали близкие из-за ревности. За непослушание. Очень часто убивали вдов, чтобы они не порочили доброе имя погибшего воина.

Стина на каждом шагу поджидала смерть. Средний возраст был тридцать-сорок лет. Некоторые доживали до семидесяти. Их презирали, считая трусами. Храбрый и преданный не живет долго! И гибли до отпущенного срока, так как не старели и продолжали оставаться воинами.

Первого, изображенного на этой медали, звали Церн. За те немногие годы, что ему удалось прожить, он стал крупным ученым.

Изучал болезни животных и находил способы лечения.

Однажды Церна заинтересовала таинственная болезнь редкого на Стинбе животного. Это были звереныши, чем-то напоминающие стинов. Жили они в глубоких пещерах и только ночью выходили на поверхность полакомиться фруктами и поохотиться. Они были проворны и хитры. Быстро бегали и еще лучше лазали по деревьям. Поэтому изловить их было очень трудно, и каждый, кому это удавалось, гордился своим пленником и берег его. Но звереныши плохо переносили неволю и погибали от странной болезни. Она приходила через десять-двенадцать лет. Животное становилось вялым, теряло аппетит. Тускнели глаза, начинали выпадать волосы — иногда они выпадали клочками. Кожа как будто растягивалась, и появлялись морщины. А потом наступала смерть. Никто не знал ни одного случая выздоровления от этой болезни. И Церн решил победить ее.

Он скупал больных животных. Долго и упорно шел от одной неудачи к другой и через много лет неожиданно для себя пришел к выводу, в который сперва даже не поверил. Церн не нашел возбудителя болезни, он открыл старость.

Может быть, вы никогда не поймете значения этого открытия, ведь вы у себя на Земле встречаете старость на каждом шагу. Но в течение тысячелетий уклад нашей жизни не давал и не мог дать нам ни одного примера ста-

рости животного. А эти звереныши, которыми заинтересовался Церн, были слишком редки. На Земле вы привыкли к краткочетью. Весь уклад вашей жизни, вся философия, обычаи — все подогнано под привычный срок жизни.

То же было и на Стинбе. Только у нас все приспособилось к недолгой жизни, но без старости. Поэтому понять, что старость наступает не только вещи, но и живое, было невозможно. Церн это понял первым на Стинбе. Но, разобравшись в причине гибели звереньшей, он не мог не задуматься о сроке жизни стинов. Снова начались исследования. В напряженной работе летели последние годы. Церна уже поджидала гибель во время извержения вулкана, у подножья которого раскинулся его родной город. Но он успел рассчитать, что стины должны жить две тысячи лет. Это скорее была гениальная догадка. Многие выводы, как выяснилось потом, были недостоверными. Церн исследовал клетки, а ответ лежал глубже. На молекулярном уровне. Но срок жизни стинов Церн рассчитал правильно.

Открытие Церна стало известно ученым, а потом и всем на планете. Но ничего не изменилось. Для того чтобы понять великое, нужны многие годы.

А потом на планете появился Изор. Вот он на медальоне, идет за Церном. О нем очень мало известно. Ведь он был простым стинном и много лет ничем не отличался от других. Но один посту-

пок привел его на казнь и вместе с тем сделал его великим. Он был первым, кто бросил меч и отказался воевать. Нет, такие случаи бывали и раньше. Одни бросали оружие из трусости, другие — чтобы сбежать к любимой, третьи покидали поле боя, чтобы уйти домой. Изор это сделал по другой причине, и его слова были услышаны на Стинбе. Даже перед казнью он не отказался от своих слов, потому что был храбр и не боялся смерти. О нем сложено много легенд. Возможно, и слова эти рождены легендой, но рассказывают, что, когда Изор стоял перед судьями, он произнес: «Бог дал мне тысячелетнюю жизнь. Почему же я должен погибнуть за короля, которого убьют через несколько лет приближенные?»

И тогда пришел третий — Анвит. У вас он назывался бы философом и политиком. Он по-новому прочел легенду об Изоре и сказал, что Изор был прав, бросив меч.

Да, люди должны бороться, говорил Анвит, но только за те идеи, срок жизни которых больше срока жизни борца. Когда мы жили тридцать-сорок лет, можно было сложить голову за чужую землю, за чужое счастье. Но живущие тысячи лет рано или поздно поймут, что умирать надо только за то, что живет вечно.

Он был казнен, как и Изор. Казнен за слова, которые говорил во весь голос. И многие из тех, кто шел за ним, не прожили даже тридцати лет. Долго еще лилась кровь на Стинбе, но пред-

сказанное Анвитом сбылось даже раньше, чем он думал. Может быть, произошло это потому, что нам было легче, чем вам на Земле. Стины боролись за те же идеи, что и люди. Нам помогало то, что очень сильным оказалось желание прожить полностью срок своей жизни.

Барк пододвинул стул ближе ко мне, рукой отвел бутылку в сторону и только собрался продолжить свой рассказ, как лицо его побледнело и глаза тревожно уставились поверх моей головы. Я невольно обернулся и увидел за своей спиной молодого человека в спортивном костюме. Он смотрел на Барка, сжав челюсти, так что на скулах выпирали желваки.

— Разболтался, — сказа. он зло. Трудно было понять, констатирует он факт или задает Барку вопрос. — А следовало бы помолчать.

— Намолчался, — Барк начал приходить в себя. — Уж и поговорить нельзя. Ну, поболтал. А что ты мне сделаешь?

— Моя б воля... — начал было молодой человек и шагнул к Барку, сжав кулаки. Но тут же остановился, повернулся ко мне и проговорил таким же злым голосом, как будто продолжал говорить с Барком: — Придется прервать интересную беседу — меня при-слали за вами. — Он слегка поклонился и назвал себя: — Пит Тэтчер, информатор фирмы «Джеральди».

Я неохотно поднялся, попрощался с Барком, и мы вышли из кафе. Утро было превосходное. Мы шли по дорожке, которая вилась рядом с широким шоссе.

— Тут минут пятнадцать, не больше, — сказал Пит, — может быть, пешком?

Я молча зашагал вперед. Пит искоса поглядывал на меня, потом неожиданно улыбнулся и тронул меня за рукав.

— Вы уж извините. Терпеть не могу этого Барка.

— За что же вы его так?

— За что? — Пит снова помрачнел. — Как вспомню, какие ребята погибли из-за этого типа, руки чешутся.

— Почему из-за него? — удивился я.

— Вообще, это только предположение. Но я убежден, что эта скотина виновата в гибели «Эллипса».

— Трудно в это поверить, — сказал я. — Впрочем, имеет ли смысл затрагивать тему, о которой фирма «Джеральди» не желала говорить столько лет?

Пит усмехнулся и похлопал меня по плечу.

— Бросьте осторожничать. Сегодня все это уже не тайна. Ведь «Саранда» — корабль Международной космической ассоциации. Слишком важным стал полет для человечества, чтоб его позволили осуществить частной компании. Фирма только выторговала условие, что полет начнется с нашего космодрома и что до этого момента не будут публиковаться материалы расследования причины

взрыва «Эллипса». Официальные документы Международной комиссии вы получите через час. Там есть все, что рассказывал вам Барк, и даже больше. Есть подробный анализ двух версий.

— Значит, причины гибели так и не удалось установить?

— К сожалению, пока нет. Этому типу повезло. Он уверяет, что Хет, переводчик со Стинбы, перед взлетом предупреждал экипаж, что «Эллипс» взорвется при посадке.

— Кому это понадобилось?

— По рассказу Хета, на Стинбе разгорелся спор из-за «Эллипса». Большинство стояло за связь с Землей. Но некоторые считали, что возвращение космолета сопряжено с опасностью для стинбов. На беду, в числе этих немногих оказался какой-то ученый — конструктор космопланов. На корабле этот ученый побывал незадолго до взлета «Эллипса» с планеты. Во время особенно бурных дебатов Хет слышал, как он сказал, что вся эта возня бесполезна, так как корабль уже обречен. Он свой долг якобы выполнил.

— Разве у этого ученого были какие-нибудь основания для опасений?

— Нет, — ответил Пит, — он это мог сделать просто из осторожности. Представляете, на планету прилетает чужой космолет с существами из другого мира. Пожалуй, можно и струсить.

Когда мы разбирали встречу «Эллипса» на Стинбе, возникло предположение, что стины чрезмерно осторожны и всеми силами

цепляются за жизнь. Шутка ли умереть, например, в пятьдесят-шестьдесят лет, когда впереди остаются тысячи! Кстати, по логике вещей Барк должен был ухватиться за эту мысль и утверждать, что все без исключения стины трусливы. Но он выбрал другой путь. Оказывается, был разговор с Хетом и на эту тему. Да, они очень осторожны, когда дело касается, скажем, транспорта или техники безопасности на производстве. Ведь выжить две тысячи лет тоже надо уметь. Но в остальном большинство стинов мало чем отличаются от людей. Так же ползают по горам, спасают тонущих и переплывают океаны на утлых суденышках и даже плотях.

Но, к сожалению, не все одинаковы. Есть и такие, которые живут осторожно. «Жизнь так длинна, — говорят они, — стоит ли рисковать ею». Но ведь и на Земле мы часто слышим, что мы живем только раз и жизнь так коротка, что незачем лезть на рожон. Оказывается, оправданием трусости может быть любой срок жизни.

Так вот этот ученый—конструктор космопланов и мог быть одним из таких осторожных стинов. Не исключено, что во время осмотра «Эллипса» он незаметно повредил аппаратуру, регулирующую посадку.

— Но как он мог это сделать? Ведь наверняка экскурсантов не выпускали из поля зрения.

— Да, так было всегда во время экскурсий. К тому же стинам

не показывали некоторых узких отсеков космолета. Но в тот день капитан был на планете, и экскурсантов провели по всему кораблю.

— Кто же допустил такую оплошность? — спросил я.

— Космолетчик Родерик Дэвис!

Они стояли возле люка в узком соединительном коридоре, и Дэвис зло смотрел на Барка. Он не любил, когда ему перешили.

— Не делай глупости, Барк, — спокойно сказал Дэвис, хотя ему хотелось повысить голос. — Ты ведь понимаешь, как важно сейчас показать, что мы им доверяем.

— А ты должен знать, что к этой части корабля не подключена автоматика защиты и теленаблюдатели стоят только в двух точках.

— Корабль не так просто вывести из строя, даже если найдется на Стинбе ненормальный, который захочет это сделать.

— Не просто, говоришь? — Барк покачал головой. — Когда-нибудь я тебе растолкую, как легко это делается и как трудно обнаружить повреждение. А сейчас сведи-ка ты лучше эту ораву в кают-компанию, покажи им рубку, кубрики...

— Не болтай, Барк. Сегодня пришли ученые и хотят осмотреть весь корабль. — Дэвис начал выходить из себя. — Ну, тебе говорят?

Барк спокойно посмотрел на Дэвиса и отошел от люка.

— Что ж, ве́ди, если тебе так хочется. Ты сегодня за главного. Мое дело подчиниться.

— Я уже обещал им, понимаешь? — В голосе Дэвиса слышались просительные нотки. — Отказаться теперь — значит вызвать подозрение. Сейчас Хет приведет их сюда. А потом, чего ты боишься? Ведь это разумные существа.

— А толку-то! Разумные, да не люди. Мы тоже для них разумные, да не стины.

Дэвис, который уже собирался пойти навстречу экскурсантам, вернулся и с усмешкой поглядел на Барка.

— Не уловил смысла. Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? — улыбаясь, спросил Дэвис.

— Могу объяснить, — Барк приблизился к нему. — Вот возьму я, перебью десяток стинов и уведу корабль в космос. Вернемся мы на Землю, я там и скажу: дескать, показалось мне, что стины корабль решили взорвать. Понимаешь, показалось. Ну, и что мне будет на Земле? Как ты думаешь?

— Сам знаешь. — Дэвис перестал улыбаться. — Скажут, что дурак, и запретят участвовать в полетах.

— Вот видишь как. Скажут, дурак, и запретят! — Барк усмехнулся. — А судить-то не будут. Не за что судить. Законы наши земные людей запрещают убивать. А если ты хочешь прикончить разумное существо — пожалуйста. Это не запрещается. Потому что человек — это человек. А ра-

зумное существо — другое. А человеку вовсе и не обязательно быть разумным.

— Ну и что из этого следует?

— А то, что мы для них тоже разумные существа, а не стины. И если у них хоть один такой дурак найдется, который захочет с нами расправиться, он своего может добиться. По их законам его тоже судить не будут. Скажут, ошибся, перестарался. А я из-за этой ошибки шкуры должен лишиться.

Барк пошел по коридору и только возле двери обернулся.

— Если бы за капитана кто другой остался, не пустил бы. А с тобой связываться неохота. Не могу.

— Подожди, Барк, — Дэвис шагнул к двери. — Конечно, нужно время, чтобы все вошло в колею и отношения наладились. Другая цивилизация. Нет общего языка, и многое неясно. Но ты понимаешь, как они нам нужны. Почему они похожи на нас, а живут так долго? Надо это разгадать, изучить. С ними нужно обязательно договориться.

— Может, ты и прав, — Барк прислушался, и в глазах его загорелись тревожные огоньки. — Вон топают твои. На душе что-то беспокойно. Не уследишь ты за всеми в этом отсеке. Ну, да ладно, тебе видней.

— Как видите, — сказал Пит, — первая версия заключается в том, что «Эллипс» побывал на Стинбе и его взорвали тамошние жители. Попробуй проверить

эту версию, когда от корабля осталась только индивидуальная посадочная капсула и, конечно, такая ценность, как Барк Томсон.

— Но ведь специалисты могут проанализировать подробно его рассказ и выявить в нем противоречия, если они есть.

— Барк не так глуп. Это хитрая бестия и космос знает отлично, не говоря уже о кораблях. Наверное, у вас из него сделали бы хорошего пилота. Но беда заключается в том, что у этого человека минимальная общая культура. Когда-то это помешало ему стать космонавтом, а сейчас, возможно, он этим ловко пользуется. Барк утверждает, что в экспедицию в глубь планеты его не брали. Он только слышал рассказы о ней. Все, что он напел, анализировали десятки специалистов и даже использовали логические машины. Но точные выводы сделать трудно. В его рассказе множество нелепостей, но ложь это или заблуждение невежды — трудно сказать. А иногда появляются такие детали, которых сам он придумать не мог.

Ну вот, например, — продолжал Пит, — мы спросили Барка, каким образом на Стинбе нет перенаселения, если живут там по две тысячи лет и, судя по рассказам, вечно остаются молодыми душой и телом. Если бы Барк хитрил, он, наверное, сказал бы что-нибудь вроде: «А пес его знает» — или ляпнул бы какую-нибудь пошлость. Так нет. И на это у него нашлось объяснение. Оказывается, пара стино-

в может иметь не больше четверых-пятерых детей за все две тысячи лет. У них сложная физиологическая организация полов. Женщина может стать матерью только один раз примерно в чetyреста — чetyреста пятьдесят дней. Те же сроки действуют и у мужчин. Причем эти сроки распределены случайно и угадать их невозможно. Простенький расчет показывает, что в среднем совпадение сроков у мужчин и женщин может быть не больше чetyрех-пяти раз в две тысячи лет.

— Слушайте, Пит, — сказал я, — ведь здесь Барк и попался. Если бы размножение шло у них по такому сложному принципу и дети рождались редко, стины вымерли бы в периоды, когда они жили по тридцать-сорок лет.

— Да, мы тоже обрадовались, — огорченно продолжал Пит, — и поставили Барку ловушку, задав ему именно этот самый вопрос.

— И что же?

— Он даже бровью не повел и объяснил все, не задумавшись ни на секунду. Оказывается, природа все предусмотрела. Прежде всего в возрасте до двадцати-тридцати лет вероятность рождения ребенка несколько выше. Но не это главное. Дело в том, что в периоды, когда стин испытывает длительные и сильные нервные потрясения, эта вероятность возрастает в тысячи раз — защитная реакция. И в годы бесконечных сражений, голода, лишений организм бросал все силы на то, чтобы выжил род. За тридцать-со-

рок лет стины успевали наплодить по пятеро-шестеро детей и благополучно дожили до того уровня цивилизации, когда нервное напряжение редко перерастает критическую черту.

Мы пересекли дорогу и пошли мимо редкого кустарника по узкой тропинке.

— Ну, а вторая версия, Пит? — спросил я, когда тропинка расширилась и мы пошли рядом.

— Вторая версия заключается в том, что Барк завладел кораблем, расправился с командой и вернулся на Землю раньше срока.

— Версия плохо придумана, — усомнился я. — Каким образом один человек может справиться с целой командой, пусть даже небольшой?

— Этого я не берусь объяснить. Однако известно немало случаев, когда хитрый мужик оказывался сильнее целой кучи наивных умников. А потом, знаете, фирма перед этим полетом допустила одну важную тактическую ошибку. Обычно мы устанавливаем премию для каждого космонавта-испытателя. На этот раз премия была общей для всего экипажа. Решили, что так лучше, ведь полет был опасным. Премию должны были разделить между теми, кто вернется. А вернулся один Барк.

— Знаете, Пит, вы мне окончательно заморочили голову. Теперь я тоже ничего не могу понять. Ведь то, что рассказал Барк о Стинбе, похоже на правду, и вместе с тем сам он не мог этого придумать. Даже если его биоло-

гические рассказы — бред, все равно этого он не мог сочинить самостоятельно.

— Верно. Но на «Эллипсе» было два биолога и врач.

— Сомнительно, чтобы они неожиданно начали разрабатывать воображаемую систему физиологического размножения для существ, живущих две тысячи лет. — Я рассмеялся. — Слишком много совпадений.

— К сожалению, это не так, — ответил Пит. — Вы не учитываете, что в команде «Эллипса» был Дэвис. А он мог в полете заинтересовать биологов проблемой долголетия и с их помощью развивать свои идеи.

— Какое отношение космолетчик Дэвис имеет к биологии?

— Дэвис был экстравагантным малым, хотя все его шуточки не выходили за рамки дозволенного. — Пит укоризненно покачал головой. — Вы, как журналист, должны помнить одну из таких выходов Дэвиса — его выступление на конгрессе геронтологов за месяц до отлета «Эллипса».

Я остановился как вкопанный. А ведь действительно, как это я мог забыть о выступлении Дэвиса — ведь об этом в свое время немало писали.

В зале бушевали аплодисменты, а от трибуны к своему месту в президиуме, твердо ступая на тонких ногах и высоко поднимая седую голову, шел Назим Азнауров ста восьмидесяти четырех лет — самый старый человек на

Земле. За ним, слегка прихрамывая, двигался Сартов. Он принял эстафету от своего отца, тоже врача, и последние сорок лет наблюдал за Азнарковым. Каждый год обобщение годовых данных, каждые десять лет — десятилетних. И вот сегодня он сообщил результаты за девяносто лет.

После Сартова выступал сам Азнарков. Конечно, пчеловод не собирался делать доклад. Несколько слов приветствия и благодарности, острая кавказская шутка, — это было все, что необходимо слушателям. Сартов хотел, чтобы члены конгресса убедились в ясности ума Азнаркова. И вот они идут к столу президиума — самый старый человек и просто старый. Председательствующий поднялся, заглянул в список и уже собрался было назвать фамилию очередного оратора, как услышал непонятный шум и хлопки в зале. Он поднял глаза и увидел, как на сцену по лесенке легко взбежал коренастый мужчина и спокойно направился к трибуне. Когда нарушитель порядка взошел на трибуну и лицо его осветил мягкий свет прожектора, председательствующий узнал его. Это был космолетчик Родерик Дэвис.

В зале затихли. Дэвиса хорошо знали по двум испытательным полетам, нашумевшим на весь мир. Знали и о предстоящем полете «Эллипса».

— Обычно космолетчики-испытатели, — начал Дэвис, — используют на различных конгрессах для приветственных слов. Никто не знает, зачем это нужно, но

такова традиция. Я позволяю себе нарушить ее и, злоупотребляя уважением, которым окружены люди моей профессии, предложить вам выслушать речь о геронтологии.

Для начала заверяю, что меня привело сюда не уважение к этой науке, а скорее скептицизм.

Вы решаете необыкновенно важную для человечества задачу, но, по-моему, делаете это плохо.

Прежде всего вы мелочны. Посмотрите, чем вы хвалитесь и что выдаете за крупные научные достижения. За последние десятилетия удалось поднять среднюю продолжительность жизни на семь лет. Трудно сказать, ваша ли это заслуга, но даже если это так, не слишком ли ничтожен успех?

Человек создал вокруг себя мир сверхнадежных вещей. Вы когда-нибудь спрашивали себя, сколько лет может служить холодильник, который вы отправляете на свалку из-за того, что он вышел из моды? Знаете ли вы, что наушники, которые я вижу в ваших ушах, могут безотказно работать шестьсот-семьсот лет? Пластиковые кресла, машины, бритвы, которыми вы пользуетесь, дороги, по которым ездите, — все это остается работоспособным многие столетия.

Таким образом, мы живем в сверхнадежном и сверхстабильном мире. Но в этом мире есть совершенно ненадежный и совершенно нестабильный элемент — это сам человек, создатель этого мира. И разве его надежность существенно увеличилась оттого,

что человек рядом с вечными вещами стал жить всего на семь лет дольше?

Человек должен стать надежным элементом в надежном мире. А для этого он должен жить не восемьдесят, не сто восемьдесят, а тысячи лет. Ну, на худой конец — две тысячи лет. Живет же кит несколько сот, а секвойя — три-пять тысяч лет! Это же земные существа! Значит, природа умеет из земного материала создавать долгожителей.

И еще одно обвинение в адрес геронтологов. Здесь говорили о продлении жизни. А о каком продлении вы ведете речь? Ведь, если называть вещи своими именами, получится, что вы стараетесь продлить старость.

Здесь о старости говорились много теплых слов. Указывали даже на особое наслаждение, которое приносит старикам мудрость. Дескать, мудрость — родная сестра старости. А где доказательство, что это соответствует действительности? Утверждаю, что мудрость связана не со старостью, а с количеством прожитых лет. Остановите физиологическое развитие двадцатилетнего юноши, и через сто лет он будет мудр, как Соломон. Он будет мудрее любого старика, так как мы увидим в нем необыкновенное сочетание — мудрость разума и мудрость необузданных юношеских чувств.

Человек — нестабильное устройство. От рождения до старости он меняется быстро и непрерывно. Ребенок растет на глазах. А взрослые? Каждые десять лет

приносят резкие и необратимые изменения. Десятилетний мальчик, двадцатилетний юноша, тридцатилетний молодой мужчина, сорокалетний зрелый мужчина, пятидесятилетний пожилой мужчина и шестидесятилетний старик! Каждый проживший на этой грешной земле достаточно долго на своей шкуре испытал, сколько неудобств и горя несет такая быстрая смена состояний. Человек не успевает привыкнуть к одному состоянию, освоиться с ним, как переходит в другое, хотя психологически он к нему не подготовлен. Вчера еще тебя не пускали на фильмы для взрослых и ругали за позднее возвращение домой или крошки табака в кармане — а сегодня уже не берут в школу космонавтов или в аспирантуру, не рекомендуют злоупотреблять спортом, не советуют есть жирной пищи. Если посчитать, сколько лет живет человек в состоянии, когда ему все можно, потому что он уже не ребенок и еще не начал стареть, получится смехотворно мало. Каких-нибудь двадцать лет, не больше.

Но наконец человеку стукнуло шестьдесят. Тут и наступает та самая стабильность, которой ему не хватало в молодости. Мы видели врача Сартова и пчеловода Азнарова. Шестьдесят пять лет и сто восемьдесят четыре года! А большая ли между ними разница? Да никакой! Два одинаково симпатичных старика.

Старики бывают разные: бодрые и хилые, веселые и флегматичные, умные и разбитные, здо-

ровые и хитрые. Есть даже такие, которые благополучно женятся на молоденьких. Но это все равно старики. И любой человек, как бы долго он ни жил, стариком становится в шестьдесят — шестьдесят пять лет. Смерть не всегда приходит вовремя, она часто запаздывает. Но старость никогда не задерживается, она пунктуальна и работает по точному графику.

Сегодня мы видели многих, которые, как изволили здесь выразиться, «обманули смерть». А можете вы показать мне человека, который смог бы обмануть старость? Хотя одного, к которому старость пришла всего на двадцать-тридцать лет позже? Ну, скажем, шестидесятилетнего старика, который выглядел бы тридцатилетним. Или сорокалетнего мужчину, похожего на двадцатилетнего юношу.

Создается впечатление, что все возрастные изменения, включая и старость, жестоко запрограммированы природой. Как будто в человеке идут неумолимые биологические часы с заводом на шестьдесят лет. Они строго отмеряют время от детства до старости, и ничто не может их остановить. А потом, в шестьдесят лет, они выходят из строя, и дальше все зависит от организма человека. Протянет пяток лет — хорошо, пятьдесят — еще лучше, а можно еще сто, пока наконец не износится. Природу будто и не интересует постаревший человек. Он был нужен для продления рода, свое дело сделал и может жить или умереть.

Так вот, надо найти эти проклятые часы и научиться останавливать их на том времени, когда человек может все. Наверное, где-нибудь на двадцати пяти—тридцати годах. И такой человек, именно такой, должен жить тысячелетия полнокровной жизнью! В наше время это стало производственной необходимостью. Слишком усложнилась жизнь, углубились знания, увеличился объем информации. За свою недолгую жизнь человек многого не успевает сделать.

Есть и еще одна причина, заставляющая бороться за настоящее долголетие. Может быть, она, эта причина, не столь важна с точки зрения эволюции рода человеческого или с точки зрения развития общества в целом. Но она все же важна сама по себе.

Дэвис замолк, некоторое время задумчиво смотрел в зал и, уже сходя с массивной трибуны, тихо сказал:

— Просто хочется жить подольше.

Мы поднялись на холм и увидели «Саранду». Она стояла в широкой долине, расчерченной цветными плитами. Острая, как игла, со странными наростами на боках, покрытых блестящими на солнце обтекателями.

— Только «Саранда» может принести ответ. Она должна повторить полет «Эллипса», — сказал Пит Тэтчер. — Сейчас на нее вся надежда. Нам известны режим и расчетная трасса прежнего полета. Но нужно еще чертовское ве-

жение, чтобы все совпало. Малейшее отклонение в курсе или скорости уведет «Саранду» далеко от Стинбы.

— Слушайте, Пит, а если Барк говорит правду? Трудно поверить, что в наше время из-за денег можно совершить такое. Вдруг планета действительно существует?

— Да, меня и самого порой берет сомнение, — ответил Пит. — Уж очень хочется, чтобы стины были реальностью. Да, так хочется, что иногда тоска берет.

К «Саранде» по ровному, как стол, полю с двух сторон медленно подплывали буксирные ракеты. Они должны были на малой скорости вывести ее из плотных слоев атмосферы. А дальше лежали кос-

мические просторы. Беспредельные просторы. И в этой бесконечности только одна ниточка вела к Стинбе. Достаточно немного отойти в сторону — и нить оборвется. Очень нужная человечеству нить.

Когда мы думаем о контакте с другими мирами, в голову почему-то всегда приходят мысли об обмене техническими достижениями. Если уровень техники на обнаруженной планете низок, мы окажем помощь братьям по разуму. Если выше — мы сами станем учениками. Оказывается, все это не так важно. Стинба могла дать землянам гораздо более ценное — возможность жить тысячелетия.



Забыть, как в жару пахнет от сосен смолой, хвоей, чтобы и не вспомнить никогда. Нельзя помнить. Не помнить лучше. Жара. Сосны. Сладость? Сладость? Сладость?.. Пстой!..

И он приходит в себя. Очнулся после контузии. Он лежит на хвое под соснами. Пахнет смолой и хвоей. Сладость. И сам себя просят, баюкает, утешает: не помни! Забыл и потерял сознание.

Через десять лет как-то на даче в Бузланове, когда сидел на хвое под соснами, снова... И не так уж жарко, ветерок над прудом. Прошумели сосны, пахнуло смолой.

Зачем забывать? Что? Не госпиталь, не взрывы в лесу, да и не сама война. Сосны. И вот это сознание, что нельзя вспоминать. Но теперь он вспомнит, он знал, что вспомнит, почему был запрет и что запрещено.

Сладкий запах смолы, а на языке тоже сладость, ощущение сладости, от которой стиралось, исчезало из памяти... что исчезало?

Он вспомнит, не выходя из полудремы, уравновешенности, вот здесь, на берегу пруда под соснами, в Бузланове. Вспомнит о тех, других, соснах, которые начинались за буграми кирпичного завода. Когда-то завод обжигал кирпич, потом печи закопали — получились бугры наполовину из глины, наполовину из горелого битого кирпича, золы, шлака. Хоть полдень, а они цветом слов-

ДМИТРИЙ ШАШУРИН

зачем вспоминать сосны?

но краснеют на заходе в сумерках. За буграми сосны. Там солнце, тишина и таинственность. Это еще можно вспоминать.

Каждый раз, когда они вдвоем с Горкой пробирались за бугры, останавливались, чтобы привыкнуть к ослеплению. Бугры, лес, они вдвоем с Горкой на опушке — всегда было в памяти и без труда возникало явственно, когда он только хотел, думая о детстве, о деревне, лесах, которые тянулись, как говорили, без конца. Но сейчас он чувствовал, что вспомнит другое, то, что затемнено в памяти нарочно, может быть, насильно.

Он медлил, сравнивал с отаптыванием площадки в снегу, чтобы можно было вернуться, чтобы опереться, когда провалишься на нехоженом. Ведь очевидно же, они с Горкой охотнее сидели бы на речке в жару. А приходили к соснам будто не на своих ногах и не знали зачем. Шли не сговариваясь, брели, но остерегались, не увязался бы кто из сверстников. Если б увязался, значит, повернули бы, не пошли к соснам. Это он понял только теперь, остановив воспоминания, словно ленту фильма на одном кадре.

Может быть, еще пахло и можжевельником, даже наверняка, потому что аромат можжевельника куда слаще, чем аромат сосновой смолы. Ну да, там было полно кустов можжевельника, осыпанных словно заиндевевшими ягодами. Его ветки охепками приносили в избы, где были покойники, и на поминках всегда пахло мож-

жевельником и ладаном. От этого и в лесу тоже чудился ладан, и становилось жутно. Так просто испугаться гадюки, которую увидеть еще проще; принять сучок за гадюку и засверкать пятками к буграм, через бугры, и потом щупать друг у друга и сравнивать, у кого как колотится сердце и как гадюка свернулась клубком и помчалась вслед. Так просто!

Но они с Горкой уходят под сосны, глубже в лес.

Мох на кочках пересох, щекочет ступни, ломается. Потрескивая, отлупливаются чешуйки коры на соснах. Горка оглядывается, высматривает. Конечно, теперь понятно, это заданность, заданность поведения. Он сейчас вспомнит, вот-вот отдернется занавес. Но занавес не открывается, а становится прозрачным. За ним просвечивает сруб. Сосны стоят колоннами, бревна сруба пересекают их поперек.

И все-таки он сорвался или, если придерживаться сравнения со снегом, провалился в неведение, как в сугроб.

Вот они подошли к срубам. Сруб погружен нижним венцом в мох. Стоит не на бревнах-подставках по углам, как обычно, а просто на мху. Или уходит как колодец глубоко под землю? Сруб без единого проема во всех стенках — «Без окон, без дверей, полна горница людей»... Здесь и произошел срыв, провал. Кадры замелькали слишком быстро, беспорядочно, туманно.

...Они с Горкой внутри, и это не сруб, а комната,

и не комната — аптека.

Вот они опять в лесу и, друг перед другом хвастая, сосут по конфете. Сладость. Предметы в той аптеке блестят вроде самовара или трубы до потолка шириной с бочку. Пузырь как из льда. Полки, дощечки с черточками, значками. И есть часы, хотя они не часы. Еще что-то, не понять. Он разговаривает, но не с Горкой. Стараются отвечать. А Горка за стенкой из стекла крутит ручку вроде веялки. В тумане, в неопределенности. Было или не было?

Догадки навязывают памяти, чтобы привиделось, как догадывается. Но он вырывается, и ему удается остановить ленту, чтобы опять отоптаться.

Теперь он начинает с деревни. Железная дорога далеко, там и район. Только там, в районе, больница и аптека, а не в деревне, не в лесу. Лес. Речка из леса да в лес. Под склоном. Никаких экспедиций, научных станций, лабораторий...

Ага, лабораторий! Немедленно подсказались всякие лаборатории: в санчасти, в поликлинике, заводские. Вместо неизвестно чего — стеллаж, вместо не то трубы, не то самовара — центрифуга. Пожалуйста! Просто! Разумно! Логично! Он зажмурился. Привычное раздрало, крошило, переключивало, сбивало с дороги. И уже дулось, что так и было. Но тре-

вога предоткровения не оставляла его даже тогда, когда он проваливался. Кажется, она смыкалась тогда над ним и вокруг.

Почему-то в лесу, там, за буграми, всегда тишина. Ни кукушек, ни дятлов, ни хотя бы синиц. Птицы-то им чем помешали? Им? Кому им?!

Ведь мог же вот так вспомниться сон? И лучше и проще, если сон. Или похоже, как во сне вспоминаешь другой сон. Конечно, они с Горкой сосали конфеты. Даже сейчас ощущается та сладость. Он проглатывает слюну. И чувство, что они освободились, отработали и теперь можно на реку. Но ведь они не говорили об этом никогда. Нет, не сон!

Начинать с деревни... Из деревни быстро пришел ответ.

«Нащёт как вы интересуетесь сообщая Егор Васильевич с фронта не вернулся и похоронной по ём не было. Ихний дом заколоченный с самого начала войны. Предположительно, Егор может окажется живет где ни есть по стране а рыба ловица, на кольцо и лещи и язи; когда заходит сазан. Или судак больше по перекатам только кирпичный завод обратно не работает».

Начинать с деревни. Но что даст поездка? Ну, уйду за бугры. А как узнать, сон или не сон? Было или не было?

Он поехал.

Горка залезал на стеллажи. Горка и в деревне везде лазал. Треснулся с верхней пере-

кладины качелей на пасху. Никто не останавливал Горку, когда он лазил по стеллажам в аптеке в лаборатории. Горка и он. Кто же тогда давал им конфеты? Каждый раз, чтобы забывали обо всем. И сейчас, когда он воображал, что сосет конфету, воспоминания путались, теряли очертания, накладывались на другие, и его одолевала лень, пассивность, недовольство.

В поезде сквозь дремоту настойчиво представлялось, как на голове у Горки между раздутых волос стоит блестящий луч и, похоже, погружается Горке в черепили сам по себе делается короче. И пока добирался до деревни на попутных грузовиках, он все старался представить яснее, извлечь из тумана — и не мог. Только один раз увидел — и то скорее мелькнуло, что не луч, а стержень с проводами.

Как он и ожидал, Дерьяныч мельтешил и сводил все разговоры к рыбалке. И даже хуже, чем ожидал. Никак нельзя было вырваться от Дерьяныча и пойти в лес. И про Горку Дерьяныч не рассказывал, тоже вопреки ожиданиям.

— Егор те, кто его знает, — тянул Дерьяныч, отводя глаза.

Резиновые сапоги обладают свойством зачерпывать воду как раз, когда холодно. И уж потом солнце взойдет, а никак не отогреешься, бьет дождь... Он зачерп-

нул в сапог, садясь в лодку. В тумане, в холоде, на рассвете.

Озлился и восстал. Потребовал, чтобы Дерьяныч один выгребал к камышам, а сам назад, в хату.

— Переобуюсь, я те свистну.

Переобуюлся так, будто расправлялся с сапогом, портянкой, с ногой за их проступки, им и еще кому-то назло. И пошел не к реке, а задами к лесу. Через бугры не полез, обошел стороной. У первых сосен присел на пенек и, закрыв глаза, вдыхал аромат смолы, хвои.

Сначала он был уверен, что вскоре встал с пня, углубился в лес, нашел сруб, вошел, и его ошеломил блеск и необычный вид оборудования, потом стал сомневаться, выходило вроде, что он не открывал даже глаза, так и просидел на пне.

Еще несколько мгновений спустя он уже удивлялся, зачем его понесло в лес, когда так хотел порыбачить, да и Дерьяныч ждет. Надо ж, приехал на рыбалку, а потащился в лес...

— Эй, фью! Давай!

Он стоял у реки, и к берегу подгребал Дерьяныч.

Они ловили язей. Забрасывали камышей на течение, где струя слегка закручивалась, образуя завихрения. Как только поплавок утягивало на всю длину лески, он вздрагивал и тонул в глубине. «Подсекай, хреновина», — шипел Дерьяныч. Удилище гнуло, и к поверхности, сопротивляясь, краснея перьями, желтея чешуей, выходил язь.

С каждым проплывом все даль-

ше уходил поплавок, прежде чем утонуть, и им изо всех сил приходилось вытягивать руки с удилами, чтобы поймать еще язя и еще.

К вечерней заре они прикрутили к удилам по метровой палке и жалели, что нет у них городских снастей с соединительными трубками.

На следующий день язи не брали, и они в поисках клевого места избородили все заводи. Дерьяныч ухмылялся и поглядывал хитро.

— Слышь, а я думал, ты пойдешь сразу в лес да заблудишься, как Егор, бывало. С утра и аж до ночи! — Дерьяныч опять подмигивал ему.

Он не понимал намеков, и уже не всплывало у него никаких воспоминаний. Да и были ли воспоминания?

Дерьяныч рассказал, что Егора считали в деревне вроде рехнувшимся. Егор, подвыпив, всегда пускался в психические разговоры, будто у него в голове вставлена и работает машина, наподобие приемника. Все думали, что Егора от этого не возьмут в ар-

мию. Но в войну не разбирали, все годились.

— А Егор-то, слышь, — и про тебя называл, будто и у тебя тожеть машинка-то, — Дерьяныч постучал себя по темени. — Вот я и мечтал, что ты будешь блукать по лесу. Значит — вдали. Ну ведь и слава богу!

Он слушал Дерьяныча незаинтересованно, будто и не слышал, как-то сразу пропадал смысл сказанного вначале, и звучащие слова не присоединялись ни к чему и от этого, в свою очередь, теряли смысл. Если б он вслушался, вник, он бы понял, конечно, но и тогда счел бы все пустой болтовней, лишенной основания.

И разве могло быть иначе! Ведь операция, которой он подвергся давеча в лесной лаборатории, у пришельцев, устранила неполадки в датчике и восстановила нормальные функции его мозга.

Теперь он всем советует заниматься рыбалкой.

— Я, — говорит, — вылечил контузию рыбалкой. А врачи определили, что ничего не поделаешь. На всю жизнь!



АЛЕКСАНДР СИЛЕЦКИЙ

твое право

— Что, и вам не спится?

Рядом со мной на борт облокотился высокий мужчина.

— Да, — отозвался я, — славная погода. Звезды, тишина и все такое. Настраивает на поэтический лад.

— Вот-вот, — охотно подхватил незнакомец, — ни грязи тебе городской, ни суеты... Плынешь себе по реке и любишься.

— Вы до Астрахани и обратно? — полюбопытствовал я.

— Нет, я скоро сойду. К утру будет остановка — прелестнейшее местечко! Я там которое лето отдыхаю.

— А мне через пятнадцать дней опять в Москву...

— Не завидую. Летом — и в городе... Фу!

Мы замолчали. Мне захотелось курить, но я вспомнил, что сигареты забыл в каюте. Однако, словно угадав мои мысли, мужчина достал из кармана пачку и протянул ее мне.

— Хотите?

Я взял сигарету и долго не мог зажечь спичку. Маленький язычок пламени на секунду вспыхивал и тотчас, затрепетав на ветру, угасал.

И я с сожалением вспомнил, какая прекрасная зажигалка была у меня прежде — один из друзей подарил мне ее как-то на день рождения. Потом я поссорился с этим человеком, даже не помню, из-за чего, помню только, что вышло тогда все глупо и несправедливо, по моей вине, а зажигалки вскоре у меня тоже не стало, наверное, где-нибудь обронил.

Увлечшись воспоминаниями, я не сразу заметил, как мужчина протянул мне свою зажженную сигарету, чтобы я прикурил.

— Ах да, спасибо, — сказал я наконец. — До сих пор не научился зажигать спички на ветру.

— А вы не жалейте о своей зажигалке, — неожиданно сказал мужчина. — Если хотите, я подарю вам свою — я почти не курю, мне зажигалка не нужна, а хлопот с ней много: кремни, газовые баллончики надо доставать...

— В самом деле? — рассеянно сказал я. — Отдадите мне зажигалку? Весьма благодарен. Но...

Погодите. Откуда вы о ней узнали?

— Ага, клюнули! Вам ее подарил ваш друг, точнее, бывший друг, не так ли? Вы с ним поссорились...

— Господи, да откуда вам все это известно? — ахнул я, а в голове проплыло: «Чудак какой-то».

— И вас мучит совесть, да? Вам хотелось бы получить его прощение, но ваша гордость не позволяет идти к нему с повинной...

— Ну, это уж слишком! Я вас не знаю, не видел никогда, могу поклясться. Это чертовщина какая-то...

— Только, пожалуйста, не вда-



вайтесь в мистику, — мужчина резко выпрямился. — Терпеть этого не могу. Мне никто ничего не говорил. Я узнал все сейчас, стоя рядом с вами. Просто я могу угадывать чужие мысли, чужие желания — только и всего.

— Вы? — я невольно сделал шаг в сторону.

— А что тут такого? Если кто-то не обладает даром, то это еще не значит, что такого дара нет вообще.

Я недоверчиво посмотрел на незнакомца, сисясь разглядеть в темноте выражение его лица. Такие чудачки мне нравятся, решил я наконец.

— Если хотите, загадайте что-нибудь. Дабы не было сомнений.

Я загадал, и он сказал, сказал все, что я подумал.

— Ну, убедились теперь? — проговорил он несколько самодовольно. — Да, совсем забыл о зажигалке... Возьмите. Не гаснет на ветру и под дождем. Проверено.

— Спасибо, — я растерялся окончательно, но зажигалку взял.

— Ну вот, контакт налажен, — весело сказал мужчина. — Вы мне подарили свои воспоминания, а я вам — эту маленькую хранильницу огня. Так сказать, произошел духовно-натурный обмен.

— И вы удовлетворены?

— Как вам сказать... Я бы еще хотел просить вас об одной услуге... Вы любите кино?

— Что за вопрос? Только хорошие фильмы, разумеется.

— Ну, мне пока что трудно

судить о качестве... Это дело времени... Что вы можете сказать об эффекте присутствия?

— Во время киносеанса? Это было бы просто великолепно. А что? Вы собираетесь показать мне такой фильм?

— Да, что-то вроде этого. Полное слияние личности зрителя и киногероя.

— Черт возьми, заманчиво. Вы режиссер?

— Нет, я изобретатель. Занимаюсь эффектом присутствия — крепкий орешек, надо сказать. Но за лето хочу все кончить. И сейчас нужна проверка — вдруг что-нибудь окажется не так...

— Вы раньше кому-либо показывали?

— Да. Но это было давно. Нужен новый эксперимент. Аппаратура все время совершенствуется и — сами понимаете... Словом, у меня в каюте все необходимые приборы...

— Но в чем принцип, суть эффекта?

— Этого я пока не могу вам сказать. Пока дело не завершено... Впрочем, если вас что-то пугает..

— Нет, нет, — возразил я.

— Весьма благодарен вам, — тихо, но с чувством сказал мужчина и крепко пожал мою руку.

— Ах, господи, какие пустяки, — пожал я плечами. — Все равно мне делать сегодня нечего.

Внезапно меня поразил страшный шум. По каменным ступеням

крутой лестницы бежали десятки ног. Десятки людей что-то кричали, громко и угрожающе, и гулкое эхо, заикаясь, отзывалось из темных закоулков.

Я знал — за мной пришли. Сейчас меня выведут на площадь и там перед орущей толпой отсекут голову. Потом мой труп сожгут на костре.

Все тело ныло после бесчисленных пыток. Палачи хотели, чтобы я сознался в своей связи с дьяволом.

На мое несчастье у меня с раннего детства развился необычайный дар: я мог отгадывать мысли людей с такой легкостью, словно эти мысли были написаны у каждого на лбу. Поначалу об этом никто, кроме меня, не знал. Но затем, став старше, я был вынужден однажды открыто заявить о своей способности, и это решило мою судьбу.

Все началось с того, что некий граф Марколло неожиданно начал ухаживать за моей матерью. Отец мой умер за несколько лет до этого, оставив нам довольно значительное состояние. После первого визита графа я уже знал цель его ухаживаний. Ему попросту нужны были наши деньги. Он крупно проигрался в карты, но своих денег ему не хватило, и он решил пожить за наш счет. Однако вывело меня из себя другое. Придя в следующий раз, граф страстно поцеловал мамину руку. «Красивый бюст, но до чего глупа», — отчетливо услышал я. Этого стерпеть я уже не мог. Я сказал ему все, что ду-

мал о нем, сказал все, что знал о нем из его собственных мыслей, я открыто заявил, что могу читать мысли его и других людей, я обличил его в гнусном обмане, мне казалось, я стер его с лица земли, растоптал, и вечное и всеобщее осмеяние будет теперь тяготеть над его головой и всем его родом. Разгневанная, мать выгнала его из нашего дома. А несколькими днями позже я узнал, что граф подкупил людей, чтобы те донесли на меня Святой инквизиции. Затем он явился туда сам и, будто ничего не зная, также обвинил меня в связи с дьяволом. Для меня это означало одно — верную смерть на костре. Узнав про все это, я ночью подстерег графа и убил его. На следующее утро меня забрали. Меня пытали, но я молчал.

Я был приговорен к отсечению головы. Конечно, как колдуна меня должны были бы сжечь. Но меня спасло убийство графа. Я стал обычным преступником, а преступник должен быть обезглавлен. Правда, потом мой труп все равно сожгут на костре, а толпа будет улюлюкать и швырять в костер камнями. Но меня это уже не тревожило. Один взмах, удар топором — и я мертв. И на том спасибо!..

Я подошел к окну, случайной зарешеченной дыре в двухметровой стене. Я видел немного — лишь кусок площади перед тюрьмой и эшафот посреди нее, и огромного, в красном переднике палача, он точил топор, и ослепительно улыбался, и пел песни:

вероятно, он был очень рад, что выдался такой ясный день и сияло такое теплое солнце. Он был палачом и, убивая людей, очищал их души от земных грехов. Он был спасителем человеческих душ и гордился этим.

Раздался звук отодвигаемого засова, сколько раз уж я слышал его, когда меня вызывали на допрос, тяжелая железная дверь со скрежетом отворилась, и на пороге появился стражник с факелом в руке. Из-за его спины выглядывали хмурые, злые лица незнакомых мне людей.

— Идем, — сказал стражник и потянул за цепь, сковывающую мои руки.

Мы вышли. Нас окружили люди, и мы зашагали вниз по крутой стертой лестнице. Мне показалось, что этот путь не кончится никогда. Мы все время будем идти вниз и вниз, неизвестно куда, неизвестно зачем, вечно будем спускаться, тяжело ступая со ступени на ступень, и будет греметь и тянуть эта проклятая цепь, будет гореть, содрогаясь, факел и где-то в душе, в самом дальнем ее уголке, будет жить, и корчиться, и нестерпимо жалить затаенный, неистребимый ужас, вечный страх. Но лестница кончилась, и солнце брызнуло нам в глаза пригоршней золотого света. У меня закружилась голова, синее небо, чистый воздух, шум тысяч людей — все вдруг навалилось на меня, я зажмурился, забыл, куда и зачем иду, я просто шел, шагал по теплой земле и улыбался — нет, не людям, самому себе, и

все было таким простым и нестрашным.

Я представил себе, что я великий художник, нет, лучше полководец, я вступаю в город, народ бежит навстречу и плачет от радости, играет музыка, и люди кричат: «Ура, ура, слава ему!» — и еще что-то кричат, что-то странное, но тоже восторженное.

— Смерть! Смерть ему!

Вот что они кричат. Но почему же...

Ах да, город знает все... Сбежались все, от мала до велика, страшно интересно глядеть, как убивают человека!

Мы дошли до эшафота. Мы поднялись на него, и я увидел красный фартук палача, его ослепительную улыбку — весна, весна, что делать, господа! — его сверкающий топор и понял: вот и конец.

Внизу, у эшафота, стояли мои друзья; я видел их, и они видели меня, но опускали глаза, боясь встретиться со мной взглядом, будто были в чем-то виноваты, и я чувствовал себя одиноким, отгороженным от мира невидимой стеной.

Меня раздели до пояса. Палач добродушно похлопал меня по плечу и сильной рукой пригнул к плахе. Добрый малый, он даже как-то пытался утешить меня... Он не сказал мне грубого слова, не дернул со злостью за звенящую цепь. Сколько уж таких, как я, отправил он на тот свет, но он не оскорбил никого, потому что понимал: каждому немножко

жаль покидать этот мир. Славный малый...

Мне протянули белую тряпку и хотели завязать глаза. Я отказался. Зачем? Ведь все будет длиться одну лишь секунду, мгновение одно... Блеснет на солнце топор, затаит дыхание толпа. Вот, я уже слышу, как ветер шумит под топором. Сейчас...

В какие было темно. Я даже не сообразил сначала, как очутился здесь. Я еще слышал свист рассекаемого воздуха.

Я встал с кресла, сбросил опутывающие меня провода, пробрался к стене, нашарил выключатель и зажег свет.

Давид (так назвался мне изобретатель) сидел в углу, закрыв лицо руками, и раскачивался из стороны в сторону.

— Что с вами? — я подошел к нему. Он отдернул руки и взглянул на меня испуганно и зло. — Вам плохо? — спросил я.

— Нет, нет, ничего, — он встал. — Все нормально. Просто очередная неудача. Понимаете, — вдруг закричал он, — замещение в дальних эпохах неосуществимо!.. Во всяком случае, на моем аппарате.

— О чем вы говорите? — не понял я. — Какое замещение?

— Да, все это, конечно, выглядит немножко диким, — вздохнул Давид. — Кажется бредом. Впрочем, не только вам, но и мне, признаться, иногда тоже.

— Но, погодите, что это было такое? Что я видел?

— Сейчас объясню. Все, что вы видели, пережил я. В действительности. Просто в самую последнюю секунду, в какую-то долю ее, вероятно, как-то исказился ход времени, прогнулось пространство, и меня перебросило сюда, в вашу эпоху, за много миль от моего дома. Почему, как — этого я не знаю. Самое интересное то, что, очутившись у вас, я как бы стал вашим современником во всех отношениях, но память моя сохранила и все прежнее. И тот ужасный миг тоже остался со мной. Сначала я даже было обрадовался столь чудесному спасению, но потом нашел в библиотеке хроники моей страны и моего времени, и тут, увы, меня ждало разочарование: я все-таки был казнен. Значит, я исчез из своего времени лишь на какую-то долю секунды, не замеченную никем. Я живу в вашей эпохе годы, а там все еще истекает эта доля секунды. Когда она истечет, когда я вернусь — неизвестно. Но я не хотел умирать, я хотел жить и потому начал действовать. Я построил машину времени. Чтобы жить в будущем, я должен был уничтожить свою смерть в прошлом, попросту заменить себя кем-то другим. И я заменял. Я боялся, что не успею, я спешил, но, понимаете, мой аппарат слаб. В решающий момент все возвращается на прежние места. Я даже не знаю, почему...

Он опустил голову и замолчал. Вид у него был жалкий и совершенно убитый.

— Значит, вы хотели пожертвовать мной, чтобы спасти себя? — дошло наконец до меня. — И вся болтовня о фильме, об эффекте присутствия служила лишь одному — возбудить во мне интерес, любопытство, чтобы я, не ведая ничего дурного, отдался во власть вашего аппарата?! Но ведь это же подло, это преступление, в конце концов!

— Ах, — вздохнул Давид, — теперь ничего не изменить. Конечно, вы вправе считать меня негодяем, подлецом, кем угодно, но поймите: каждый имеет право на жизнь, не только вы, но и я тоже! Я читаю мысли людей, я знаю, все они думают прежде всего о себе... Пойдемте, сейчас остановка. Мне сходить.

Он спрятал приборы в объемистый чемодан, молча взвалил на плечо рюкзак и вышел из каюты. У трапа он остановился и вдруг схватил меня за руку.

— Послушайте, — с жаром прошептал он, — будьте снисходительны. Вы ведь мне не верите до конца, я знаю. Вы думаете, хотите думать, что это был всего лишь фокус, трюк — вас это успокаивает. Но, честное слово... Я виноват, каюсь. Можете донести на меня — только вам никто не поверит... Все получилось нелепо. Но знаете что? Вы сегодня много вытерпели из-за меня. Я в долгу у вас. Ну, хотите, я доставлю вам какую-нибудь радость, верну вам чью-либо утраченную жизнь? У вас умерли недавно родители — я мог бы их оживить. Да! На небольших участках времени моя

машина действует безотказно. Маленькая замена, кто-то незаметно исчезнет — зато сколько у вас будет радости! Ну? Что вам до других?

Тусклый фонарь возле трапа раскачивало ветром, и черные тени то набегали на лицо Давида, то отступали, обнажая два горящих, умоляющих глаза.

— Не думайте, я люблю людей, — бормотал Давид. — Но я хочу жить, понимаете, жить! Вот мой адрес, — он вытащил авто ручку и клочок бумаги и поспешно набросал несколько слов. — Возьмите. Если вы думаете... Словом, я вам помогу, ручаюсь. Никто ничего не будет знать. Прощайте.

Он махнул мне рукой, сбежал по трапу и исчез в темноте.

Я стоял не шевелясь. Я сжимал в кулаке клочок бумаги, клочок, что, быть может, сумеет вернуть мне близких людей, и тупо глядел вслед Давиду. Все казалось диким и нереальным. Машина времени, странные замещения, сам Давид... Голова шла кругом от всего этого.

Адрес жег ладонь. Всего несколько слов — и ко мне вернутся мои близкие. А от кого-то уйдут.

Ты читаешь мысли, Давид. Но думать можно по-всякому. Поступать надо по-человечески. Люди лучше их мыслей.

Кулак разжался, и маленький бумажный комочек белой искрой метнулся вниз и погас.

«Вот так, — подумал я. — Это мое право. Право человеческой чести».

ВИКТОР КОЛУПАЕВ

волевое усилие

— Нанни, — сказал руководитель Совета, — сейчас придут директор Института и еще... из комитета по внутригалактическим проблемам. Вызови двух специалистов по середине двадцатого века.

Нанни, начальник отдела в Институте Времени, не стал спрашивать, что случилось. Очевидно, случилось что-то страшное, если они все — сюда. Он перебрал в уме своих сотрудников. Что ж, пожалуй, Сантис. Ну, Александр Тихонович Самойлов. И его друг Эрд.

— Желательно, чтобы ты, Нанни, понимал их без слов и чтобы они так же понимали друг друга. Здесь важен общий образ мышления.

Нанни живнул. В комнату вошли еще трое. Кроме своего директора, Нанни никого не знал. Он хотел было встать из-за стола, но руководитель Совета остановил его:

— Решим, тогда будем знакомиться. Дело в следующем. Время — 1970 год. Вот город. Название организации. Нужно выполнить их план. Точнее — план одного отдела.

— Вы знаете, что это такое — вторжение в чужое время? Что это может за собой повлечь? Ведь у нас все в стадии эксперимента.

— Знаем. Туда нужно послать человека, разбирающегося в радиоэлектронике двадцатого века. А здесь оставить человека, знакомого с нашей аппаратурой.

В дверях появились Сантис и Эрд.

— Начнем сейчас же, — сказал руководитель Совета. — Поэтому я и пришел сюда сам. В дальней звездной системе потерпел аварию корабль «Вызов», вылетевший с Земли сто лет назад...

Засунув руки в карманы осеннего пальто, Самойлов шел на работу. Каким образом его оформили на должность старшего инженера, ему самому так и осталось неизвестным. Поднялся на третий этаж инженерного корпуса.

— Ха! Новенький явился! — Таков был первый возглас в ответ на его негромкое приветствие.

— Где работал? Что кончал? Что новенького? — Вопросы градом сыпались на слегка растерявшегося Самойлова.

— Здравствуй, Александр Тихонович! — галантно раскланялся начальник отдела. — Верещагин... Верещагин Юрий Юрьевич.

Самойлов промывчал в ответ что-то нечленораздельное.

Начальник лаборатории, в которой предстояло работать Александру, запросто похлопал его по сутуловатой спине, причем для этого ему пришлось слегка приподняться на цыпочки.

Остальные, гурьбой обступив новичка, вразнобой называли свои имена и фамилии. Александр смущенно кивал головой.

Постепенно все отошли от Самойлова, но шум не умолкал. Техник Свидерский ни с того, ни с сего начал рассказывать грустную историю из собственной уди-

вительно невезучей двадцатилетней жизни. Его излияния перебились довольно бесцеремонно. Ведущий инженер Вырубакин заявил, что «Пахтакор» все-таки войдет в десятку сильнейших. Ему возражали — горячо и со знанием дела. Нашлись и союзники. Через минуту спорил весь отдел.

Самойлов не знал, что он должен делать, и не имел ни малейшего представления о турнирном положении «Пахтакора». Он отошел к окну и посмотрел вниз. У проходной несколько человек с воплями и улюлюканьем гонялись за опоздавшим. Тот никак не давался им в руки и все время закрывал лицо шляпой.

Оторвавшись от увлекательного зрелища, Александр увидел, что весь отдел коллективно решает легендарный этюд Куббеля. Соблазн был слишком велик, и новичок тоже погрузился в многоходовые лабиринты шахматной мысли.

Потом, когда подтянутый и опрятный Стрижев блестяще решил этот этюд, разговор перекинулся на местные темы: погоду, природу, охоту, рыбалку.

Коллективная беседа шла легко и непринужденно, часто прерываясь бурными вспышками смеха.

Паяльники бурно чадили расплавленной канифолью. Синие, красные, зеленые глазки вольтметров, осциллографов и генераторов весело подмигивали друг другу. Клубы табачного дыма застилали потолок. Начальник отдела Верещагин уныло ходил в дальнем углу помещения. Ему

очень хотелось принять участие в задушевном разговоре своих подчиненных. Да и интересных историй он знал немало. Но... не позволяло служебное положение. Наконец Верецагин не выдержал... и пошел поговорить в конструкторский отдел.

Время до обеда прошло быстро и незаметно.

После обеда успевшие остыть паяльники и приборы были включены вновь. Самойлов навел порядок на выделенном ему столе и осмотрелся. Часть инженеров листала технические журналы, часть возилась с настройкой макетов, но без заметного энтузиазма. Самойлов не мог понять, почему в отделе такое затишье.

— Опытных образцов нет, — пояснил Верецагин. И по выражению его лица стало ясно, что очередной срыв работ начался уже давно и закончится неизвестно когда. — Сидим. Баклушибьем! А потом ночевать здесь будем. Планировали, планировали — и все зря.

Самойлов сел за свой стол и стал просматривать бумаги. «В чем заключается моя функция?» — с тоской подумал он. — Ничего толком не объяснили. «Нужно только твое присутствие». А если я сейчас кулаком трахну? Что тогда будет?»

— Парни, — раздался голос, — у меня что-то с головой. Ничего не соображаю. Усилитель возбуждается. Посмотрите кто-нибудь, — вскакивая со стула и взлохмачивая густую черную ше-

велюру, просительно проговорил инженер Гутарин.

Это заурядное событие сразу всколыхнуло отдел. Посыпались вопросы и советы. Самойлов тоже подошел поближе и через чье-то плечо попытался посмотреть на экран осциллографа.

На столе лежала плата с кое-как припаянными конденсаторами, сопротивлениями и транзисторами. Рядом валялась схема. Самойлов мельком взглянул на нее. Схема была довольно проста. Прикинув в уме, он подумал, что такой усилитель, пожалуй, не должен возбуждаться.

— Сорвалось! Возбуждение сорвалось! — радостно закричал Гутарин. — И ничего не делал. Само сорвалось.

— Ну, а чего же ты паникуводишь, — все стали нехотя расходиться.

«А-а, — подумал Самойлов. — Возможно, дело в том, что обратная связь была слишком глубокая».

— Опять возбуждается, — понишим голосом сообщил Гутарин. — Кто здесь колдует? Сознавайтесь!

— Это я, — прошептал Самойлов. — Сейчас я скажу: «Усилитель возбуждается». Ну что? Возбуждается? А теперь колебания сорвутся. Правильно? — Лицо Самойлова слегка осунулось. Он был напуган своими сверхъестественными способностями.

Техники, инженеры и начальники, нервно переговариваясь, окружили стол Самойлова. Верецагин осторожно задал вопрос:

— А еще что-нибудь умеешь делать?

— Не знаю. Не пробовал никогда.

— А что ты чувствуешь при этом?

— Ничего особенного. Небольшое волевое усилие. Я мысленно представляю себе, что усилитель работает нормально.

— А ты можешь сейф поднять? — робко спросила Любочка.

— Нет, не могу, — немного помедлив, ответил Александр. — Я не могу себе этого представить.

— Подумаешь, — заиграл мускулами старший инженер Палицин. Подойдя к сейфу, он шутя приподнял его, покрутил в воздухе и снова поставил на место.

— Что ты делаешь! — заорал Сергушин. — Там же спирт!

— А говорил, что спирт кончился, — сердито засопел Гутарин.

Разинув рты, все ошеломленно смотрели то на Самойлова, то на Виктора Палицина.

— А второй раз не поднимешь, — спокойно сказал Александр.

— Я таких два подниму, — с достоинством ответил Виктор, но сейф приподнять не смог. Лицо его покраснело от натуги и покрылось каплями пота.

— Брось. Все равно не поднимешь. Это я сделал волевое усилие.

— Но ты же не можешь мысленно приподнять сейф, — удивилась Любочка. — Как же так?

— Не могу, — согласился Са-

мойлов. — Но зато я очень образно представляю, как я не могу поднять его.

— Это что-то сверхъестественное. Мистика. Должно же быть какое-то объяснение? — сказал Сергушин.

Самойлов недоуменно пожал плечами.

— Сделай еще что-нибудь! — просили его.

— У меня триггер не запускается, — радостно заявил инженер Кулебякин. — Может быть, попробуем? А?

Самойлов осмотрел монтаж, некоторое время молча изучал принципиальную схему. Отметил про себя, что не мешало бы изменить параметры дифференцирующей цепочки и номиналы запоминающих емкостей, и произнес вслух:

— Готово.

Кулебякин щелкнул тумблером. Триггер работал нормально.

— Вот это здорово!

— И теперь он всегда, этот триггер, будет работать нормально? — осторожно спросил Кулебякин.

— Ничего я не знаю! Честное слово, ничего не знаю!

До конца рабочего дня весь отдел гурьбой ходил от стола к столу за Самойловым и с восторгом отмечал, как начинают генерировать генераторы, запускаются триггеры, устойчиво работают усилители. У всех было возбужденное состояние. Перед самым уходом с работы начальник отвел Александра в сторону и три раза повторил, чтобы тот

берег себя и не переходил улицу в непопложенном месте.

Самойлов обещал вести себя осторожно.

Перед самым общежитием его остановила толпа ребятишек и потребовала, чтобы он показал фокусы. «Откуда они могли узнать?» — удивился Александр, но отказать не смог. Он слабо разбирался в этом древнем искусстве и сначала показал фокусы, вызывавшие у несовершеннолетних зрителей лишь слабую презрительную улыбку. Но потом фантазия его разыгралась, и ребятишки хохотали от души. Наиболее экспансивные сорванцы бегали вокруг него и кричали:

— Цирк приехал! Цирк приехал!

Из окон стоявшего напротив общежития дома выглядывали удивленные жильцы. Запустив напоследок разноцветного воздушного змея и тем самым усыпив бдительность ребятишек, Самойлов поспешно ретировался.

В комнате общежития он встретил Кулебякина и Гутарина, собиравшихся в столовую, и решил составить им компанию. Но тут в дверь настойчиво постучали. Александр открыл. На лестничной клетке стояла делегация жильцов соседнего дома.

— Кхы, кхы, — откашлялся председатель домового комитета. — Мы, собственно, по делу. Вы, Александр Тихонович, не могли бы нам столбики поставить?

— Какие столбики? — удивился Александр.

— Да белые во дворе негде вешать.

— И столики со скамейками, — вставил председатель спортивной комиссии домового комитета. — Блиц в домино проводим, а играть негде.

— Гм... Пошли... — ответил Самойлов и про себя чертыхнулся: «Уже все узнали. Здорово здесь поставлена служба информации».

Вкапывание столбов проходило при огромном стечении народа. Самойлов взмок. То ямы получались мелкими, то столбы слишком толстыми. Наибольшее количество советов давали возбужденные происходящим женщины. Мужчины вначале подходили, опасливо оглядываясь: как бы и их не заставили копать ямы. Потом, осмелев, начали помогать женщинам.

Самойлов уже окрашивал усилием воли последний столб, когда сквозь заслон уставших зрителей прорвался Гутарин, схватил Александра за рукав и потащил в столовую.

— У тебя для чего такие способности? Столбы им вкапывать?

— А веревки кто будет натягивать? — несло им вслед.

— От работы уваливает! Ишь ты, феномен!

— На черта ты связался с ними? Для этого, что ли, у тебя волевое усилие? Сейчас интересное придумаем.

— Подожди, — остановил его Самойлов. — Как ты сказал?

Гутарин удивленно остановился.

— Для чего у меня волевое усилие? — закричал Самойлов.

И только сейчас он понял все.

— Наконец-то, — устало выдохнул Нанни. — Я уже начинал отчаиваться. — Его седые волосы слиплись и серыми сосульками упали на лоб. Глаза глубоко запали. На лице явственно проступали сотни морщинок. Ему нужно было поспать, только никак не удавалось. Мысли его текли ровно и спокойно, но будто стороной.

«Те двое с «Вызова» послали одно-единственное сообщение. Его принял автомат — прокалыватель пространства. За один рабочий цикл автомат обходит около полутора тысяч звезд, неся аварийную патрульную службу и записывая электромагнитные сигналы, если в них есть информация. На планете около одной из этих полутора тысяч звезд сейчас дожидаются спасения или смерти два пилота. Автомат не записал шифра ни звезды, ни планеты. Значит, на нчх не были еще установлены радиобуи. Автомат принес только сообщение... Но откуда? Если бы вместо него был человек! Автоматы не программируются на исчезающе малые по вероятности процессы и события. Кто мог знать?»

— Нанни, почему Сантису ничего не сказали? Ни цели, ни методов? — спросил Эрд, почувствовав, что старик не спит.

— Все должно быть очень естественным. Ненаигранным. А он плохой артист. Ему нужно было войти туда без всякого всплеска. А потом он создаст целый

водоворот... бурю. Но это уже ни для кого не покажется странным. Странное явление удивило — и все. Его последствия кажутся логичными.

«Сейчас десяток перехватчиков шарит по окрестностям тысяч планет. Но это поиск вслепую. На всякий случай. А вдруг повезет. Никто не верит в благоприятный исход этих поисков, потому что второго сообщения с «Вызова» не будет. Нет энергии, чтобы запустить громадину аварийного передатчика. А портативный передатчик на «Вызове» не установили, потому что какое-то маленькое СКБ не успело их сделать. Не выполнило план. И все же поиск ведется. Может быть, для очистки совести? Чьей? Тех, кто жил столет назад? Их уже нет. Своей? Но мы ни в чем не виноваты. Просто это один шанс из тысячи. И Сантис должен повисить эту вероятность ровно в тысячу раз».

Напряженная тишина взорвалась шквалом вопросов, когда утром Самойлов переступил порог отдела. Он не слышал отдельных фраз, не понимал, что ему говорят. Начальника отдела вытеснили на периферию, и он никак не мог пробиться к Александру.

Толпа напирала и требовала. Неуверенно улыбаясь, Самойлов подошел к стене и волевым усилием вбил в нее гвоздь по самую шляпку. Шум на мгновение стих, а потом еще более усилился. Пришлось вбить второй гвоздь. А через десять минут на стене красовался контур цветка, какие

обычно рисуют в детских садах, выбитый гвоздями. Потрясенные зрители несколько успокоились. Теперь Верещагин довольно легко смог пробиться в центр толпы.

— Самойлов, ты не устал? — озабоченно спросил он.

— Чуть-чуть, совсем немного, — ответил Александр.

— Дело есть. Поговорить надо. — Очевидно, начальник отдела тоже немало передумал за ночь. — План работ сорван ко всем чертям.

— А что нужно сделать?

— Двадцать пять образцов нужно настроить в этом месяце. Вот ты и помоги их выдать из макетной мастерской.

— А по плану? — сдавленным голосом спросил Самойлов.

— По плану пятьдесят, — всхлипнул Верещагин и, вытирая уголки глаз платочком, добавил: — Хоть бы двадцать пять. А?

— Нет, — твердо сказал Самойлов.

— То есть как нет?

— Пятьдесят.

— Двадцать пять.

— Пятьдесят — и точка. Это мое последнее слово, — заключил Самойлов.

— Ну хорошо, — устало согласился Верещагин. — Так уж. Из дружеских чувств. Согласен на все пятьдесят.

Руководство отдела электроники искало начальника макетной мастерской Пендрина Иммануила Гавриловича. Искало на токарном, слесарном, фрезерном и прочих участках, в отделах, секторах, группах и в приемной. Пенд-

рин был неуловим. Самойлов уже слышал о странном начальнике макетной мастерской и теперь окончательно убедился: рассказы о том, что Иммануил Гаврилович может становиться невидимым, имеют под собой реальную почву. Запыхавшись от бесплодных поисков, руководство отдела электроники и Самойлов вернулись на слесарный участок. Веселые слесари делали скребки для копки картофеля и тем самым выполняли план по валу. Немногочисленные детали будущих портативных радиопередатчиков сиротливо лежали в ячейках металлического стеллажа.

— Придется самим, — с досадой сказал начальник отдела, обращаясь к Самойлову. — Ну, начинай, Саня. Сейчас на помощь ведущих конструктор придет.

— С богом! — поддакнули начальники двух лабораторий. — Начинай!

— Я сейчас, — ответил Самойлов и полез разбираться в чертежи.

Через несколько минут пришел конструктор Сомов. Он схватил чертежи и забормотал: «Ерунда все это. Здесь не так, а здесь вот так».

Механический карандаш летал над чертежами. Самойлов старательно следил за действиями ведущего конструктора, стараясь вникнуть в их смысл.

Через два часа на верстанке уже стояли два опытных образца, изготовленных усилием воли. Они, конечно, были не люкс, горбатые, с ободранной краской и к тому

же имели мало общего с чертежами. Самойлов с удивлением смотрел на печальные результаты своего труда. Начальники тоже приуныли. Слесари делали ехидные замечания. И только ведущий конструктор, ласково поглаживая бока приборов, умиленно охал:

— Ах! Это чудо природы! Как это тебе удалось все втиснуть в такие габариты? И нигде не заедает. По какому классу точности делал? Сделаем новые чертежи по этим образцам.

— Вы находите, что образцы на уровне? — спросил Верещагин, удивленно вытаращив глаза.

— Чудо! Чудо! Только поверхности отриховать надо. И вот здесь немного переделать.

Из душного пыльного воздуха неожиданно материализовался начальник макетной мастерской Пендрин Иммануил Гаврилович. Кивнув присутствующим головой и громогласно заявив: «Я же говорил! Макетная никогда не подведет!» — он снова растворился в воздухе, не оставив никакого материального следа.

Самойлов и Сомов корректировали чертежи. Остальные присутствующие, окружив работников отдела плотным кольцом, загораживали свет, без передышки курили и давали чрезвычайно стоящие советы. К обеду два образца в металле были отработаны до предела.

— На уровне мировых стандартов! — заявил ведущий конструктор Сомов и пошел к проходной.

— Здорово это у тебя получилось! Ничего не скажешь. Только

уж очень медленно, — грустно сказал Верещагин.

— Понятно, это же в первый раз.

— Завтра надо сделать половину образцов. Отдадим в монтаж и начнем настраивать. Впрочем, монтаж тоже сделаешь ты.

Сразу же после обеда в макетную мастерскую началось паломничество сотрудников других отделов. Все хотели увидеть Самойлова. А увидев, все, как один, просили забить гвоздь в стену с помощью волевого усилия. Самойлову никого не хотелось обижать, и он исколотил гвоздями целую стену.

Через двадцать минут паломничество прекратилось. Кончилось время, отведенное для нелегального послеобеденного перерыва.

Отдел электроники получил экстренный приказ — подготовиться к настройке опытных образцов.

Производительность труда после обеда была гораздо выше. Изредка появлялся начальник макетной мастерской, чтобы тут же растаять в воздухе. Работники макетной побросали свою работу и, выбрав удобные позиции, с некоторым удивлением и умеренным негодованием взирали на работу Самойлова. Причина негодования заключалась в том, что их якобы никто не учил таким совершенным и производительным приемам труда.

А Самойлов творил. Взглянув на чертеж детали, он мысленно представлял себе, как она должна выглядеть, учитывал соосность отверстий, параллельность

плоскостей, чистоту обработки и класс точности. Там, где знаний явно не хватало, он действовал по интуиции.

Отчетливо представив себе деталь, Самойлов делал волевое усилие, небольшое или значительное в зависимости от сложности детали, и деталь появлялась на столе. Александр не сидел на месте и не делал глубокомысленный вид. Он бегал около верстака, заглядывал в чертежи, что-то лепил и строгал из воздуха, на секунду задумывался, бормотал, разочарованно качал головой и весело смеялся. Словом, вел себя крайне удивительно и непонятно. К вечеру еще пять собранных образцов красовались на верстаке.

Руководство отдела электроники осторожно перетаскивало опытные образцы в помещение отдела. Самойлов пытался им помочь, но его вежливо оттерли. Эту наиболее ответственную часть работы начальники не могли доверить никому.

К концу второй смены Самойлов закончил монтаж. Семь образцов были готовы к настройке.

На улице заметно похолодало. Александр поднял воротник пальто и засунул руки в карманы. Голова понемногу светлела. «Интересно узнать, — думал он, — кто виноват в том, что план трещит по швам? Верещагин ведь говорил, что спланировано все было хорошо. Потом заело в одном месте — конструкторам не выдали вовремя схемы из лаборатории; во втором — в лаборатории не смогли вовремя составить

схемы, потому что макетная задержала макеты. Макетная опоздала потому, что конструкторы долго корректировали чертежи. Конструкторы... и все сначала. А тут еще снабжение. Транзисторы, кнопки, скрепки. Все наворачивается друг на друга. Ком растет... А для чего система сетевого планирования? Для чего научная организация труда?»

Почти все окна в общежитии и в доме напротив были темными. Никто не кричал: «Цирк приехал! Цирк приехал!» Никто не просил показать фокус и вкось столбы. Тишина.

В комнате все спали, кроме Гутарина. На столике горела ночная лампа. Гутарин спросил:

— Есть хочешь?

— Немного, — ответил Александр, и тут в его животе что-то неожиданно заурчало.

— Ну если немного, то пошли.

— Куда это еще?

— К Аграфене Ивановне, хозяйке общежития. У меня и бутылочка есть. Жалко ей тебя почему-то... Приглашала... Пошли, что ли?

Комната Аграфены Ивановны находилась здесь же, в конце коридора.

— Заходите, голубчики, заходите. Вот сюда, на кухню. В комнате-то у меня старик. Намахается метлой за день. Придет и спит, — захлопотала старушка. — У меня все горячее. Садитесь.

«Странно, — подумал Александр. — С чего это она? Может быть, ей что-нибудь надо сделать?»

— А жалко мне тебя просто, — сказала Аграфена Ивановна, слово отгадав его мысли. — Жалко. Надсадишься ты. Хоть ты и жилистый, а все не семижильный. Слышала все. Видела, как ты вчера столбы вкапывал. И на работе. С первого дня и уже работаешь до утра. Много есть любителей сесть на шею и ножки свесить. Всех повезешь?

— Так надо, Аграфена Ивановна, — сказал Самойлов. — Надо.

— Тогда делай. Делай, — сказала она со старушечьей иронией. — Дети есть?

— Нет.

Хозяйка общежития оказалась расторопной старухой. Она живо расставила тарелки, нарезала хлеб, поставила подогреть чайник, мимоходом толкнула в угол таз с извесью, закрыла форточку, поправила платок и еще сделала десяток необходимых приготовлений, успевая при этом говорить.

«Эх! — подумал Самойлов. — Что бы ей сделать приятное. Может быть, стены побелить? Это же очень просто».

Уплетая жареную утку, помидоры и запивая все это сухим вином, Самойлов мысленно белил стены и даже умудрялся разговаривать с Аграфеной Ивановной и Гутариным. Гутарин в основном выражал свои мысли кивками головы.

Аграфена Ивановна вышла из кухни и ахнула. Стены комнаты были разрисованы отличными натюрмортами из дичи, овощей и вина. Ни один натюрморт не повторял другой. Каждый был ше-

девром в стиле Рембрандта. Увидев, что он наделал, Самойлов хотел все убрать, но Аграфена Ивановна остановила его. Красиво. А закрасить никогда не поздно.

Когда тарелки были пусты, старушка без лишних слов вытолкала обоих за дверь, приговаривая:

— Ноги вымойте или под душ сходите. Спать легче будет.

Александр уснул мгновенно.

Утром прибавилось хлопот с настройкой. Руководство отдела электроники спешило. Не сегодня-завтра необычным спуртом на финише отчетного квартала заинтересуется начальник СКБ. Не сегодня-завтра необычайный феномен заинтересует ученых.

Впрочем, Верецагин в первую очередь не щадил себя. Отвечать за что-то всегда труднее, чем делать.

В отделе все бросили курить. Временно. Никого не интересовало турнирное положение «Пахтатора». Временно. Все, все, все было забыто. Все, кроме настройки.

Штурм! Битва! Эпопея!!!

«Это вам не щи лаптем хлебать!» — думал подтянутый и опрятный Стрижев. А ведущий инженер Вырубакин вообще ничего не думал. Он работал. Техник Свицерский поминутно трогал кончиком языка, не перегрелся ли паяльник. Инженер Гутарин самостоятельно устранял возбуждение усилителей. Пылали щеки и паяльники. Мигали внезапные озарения и сигнальные фонари приборов. Глухо гудели силовые

трансформаторы и надсадно сопели носоглотки.

Спали по очереди на двух свободных столах. Ели урывками. Штурм! Штурм! Штурм!!! Сквозь густую завесу усталости и нерво-трепки работники отдела замечали друг у друга в глазах искры отчетливо выраженной радости. Штурм — это действие! Штурм — это движение! Штурм — это рукопашная с планом по валу и номенклатуре. Штурм — всегда победа! Иначе не стоит и штурмовать. Все календарные графики и тематические планы сдаются перед всепокрушающей силой штурма... в конце года. Но не в конце третьего квартала. Это уж неестественно.

Представьте, что часть армии начала штурм укреплений противника, когда основные силы еще не готовы к бою. Не подошли обозы с осадной артиллерией, не хватает пороха и снарядов, не сделаны остроумные подкопы под министерство, не отосланы все необходимые письма в главк с расказами о нерадивых субподрядчиках, контрагентах и прочих объективных причинах...

Противник разобьет горстку смельчаков и перейдет в наступление по всему фронту.

Штурмовать надо вовремя. Никому ведь не приходит в голову начинать штурм плана в самом начале года.

Нанни и Эрд, по очереди смеяя друг друга, выполняли мысленные распоряжения Сантиса,

транспортируя в прошлое все, что он требовал. Это была адски трудная работа. И их никто не мог заменить, потому что найти еще хотя бы одного человека, мыслящего в унисон с Нанни и Эрдом, было очень трудно. Во всяком случае, на это ушло бы очень много времени.

Когда Сантис там, в специальном конструкторском бюро, свалился с ног и заснул на полчаса, Эрд спросил:

— Нанни, почему у них так получалось?

Нанни искренне рассмеялся.

— Ты думаешь, на этот вопрос можно дать короткий и исчерпывающий ответ? Наверняка у них проводились различные собрания, заседания, совещания. Они тоже пытались выяснить: почему? Я не верю, чтобы кто-то сознательно мог срывать им план. Это получалось само собой.

Нельзя ведь составить план действий так, чтобы предусмотреть все на все сто процентов. Это был бы уже не план. Поэтому и резервируются всякие обходные пути, время, люди, деньги, материалы. Но резерв должен быть минимальным. Если он будет чрезмерно раздут, то это будет тоже не план. И сейчас планировать трудно. А они в то время почти не пользовались математическими машинами. Во всяком случае, в таких мелких организациях. Очень трудно учесть, например, болезни ведущих специалистов, умственные способности, взаимоотношения каждого со всеми и всех с каждым, погоду, на-

конец. И вдруг оказывается, что руководитель не пользуется никаким авторитетом, не может помочь в нужный момент подчиненным, у начальника лаборатории нет организаторского таланта, ведущий инженер — специалист в совершенно другой области, хотя и очень умный человек. Вступают в силу симпатии и антипатии. Кто-то оказывается не на своем месте. Главный инженер по вечерам пишет музыку и приходит на работу невыспавшимся и усталым. Да и вообще она его не очень-то интересует. А без музыки ему не жизнь. Происходили тысячи и миллионы маленьких трагедий, потому что человек занимался не тем, чем хотел. Хотя об этом в большинстве случаев не подозревали даже близкие, а то и он сам.

Взамен есть, конечно, схемы, приближения, находки, озарения, удачи. В общей массе, как в объеме газа, все идет близко к среднему нормальному уровню. Но бывают и всегда будут отклонения. Вверх и вниз. Нам сейчас попало то, что отклонилось вниз. Будь это системой, было бы ужасно. Нас с вами не было бы, дорогие товарищи.

По отделам, лабораториям и конторе ползли упорные слухи: отдел электроники намерен выполнить план трех кварталов в срок. Это было предательство. Нож в спину.

Начальник СКБ срочно вызвал к себе в кабинет Верещагина.

Руки начальника с быстротой пианиста мелькали над многочисленными бумагами, папками и приказами. Бледное, с резкими чертами и высоким лбом лицо упрямо склонилось над столом, будто бросая вызов стихийным силам. Лохматые широкие брови сурово сошлись на переносице.

— Ну!.. Что скажешь? — произнес начальник СКБ.

Верещагин смущенно пожал плечами.

— Спать зверски хочется.

— Спать! Хм... Рассказывай, что у тебя в отделе творится?

— Работаем... Спать хочется... Всем спать хочется.

— Ну вот что, — в голосе Волкова проскользнули высокие, металлические нотки, как бы склепывающие речь. — Шутки шутить будем позже. Десять дней назад ты говорил, что дай бог выполнить полугодовой план. Так?!

— Говорил, — еле ворочая языком, ответил Верещагин и, прикрывшись ладонью, зевнул.

— Ходят слухи, что отдел пытается выполнить план трех кварталов. Правильные слухи?

— Правильные.

— Ишь куда замахнулся. Что же получается?

— Спать хочу. — Верещагин снова широко зевнул и стал медленно клониться грудью на стол. Начальник СКБ медленно закипал. Верещагин очнулся и чуть слышно проговорил: — Выполним... Только все спать хотят. Особенно утром... Потом проходит... Кофе черный пьем.

— А кто дал приказ выпол-

нять план? — взорвался бас начальника СКБ. — Кто? Кто, я вас спрашиваю?!

Сон мгновенно слетел с Верещагина.

— Согласно оперативно-календарному графику и тематическому плану, Петр Владимирович.

— Согласно плану, — язвительно передразнил Волков. — Умные вы ребята, но ни черта не понимаете! С меринами легче работать.

Начальник СКБ схватился руками за голову и тупо уставился затравленным орлиным взглядом в стол.

— Письмо в министерство готово, а они решили ни с того ни с сего план выполнить, — разговаривал он сам с собой и вдруг, встреपнувшись, впился взглядом в Верещагина.

— Ты же знаешь, что у нас нет площадей, станков не хватает, кадров мало, комплектующие задерживаются. Нам сейчас легче объяснить перед министерством невыполнение плана, чем выполнение. Что я буду говорить в главе? Условия одинаковые, а один отдел из четырех, несмотря на это, выполняет план. Ты хоть понимаешь, что натворил?! Без ножа зарезал. — Начальник СКБ снова замолчал, уставившись в стол. Верещагин мужественно боролся со сном, с трудом переставляя речь своего шефа. — Да, кстати... что, этот Самойлов действительно?..

«Вот оно, — подумал Верещагин. — Началось. Теперь прощай, Самойлов. Отберут. Все рав-

но отберут». — И, понутив голову, сказал:

— Действительно, Петр Владимирович.

— С него все началось? — строго спросил Волков.

— С него, — Верещагин чуть не плакал.

— Срочно... ко мне в кабинет... Самойлова... из отдела электроники, — отдал приказание начальник СКБ миниатюрной секретарше.

Минут через десять привели Самойлова. Он был чрезвычайно бледен и худ. Давно не чесанные волосы торчали в разные стороны. Костюм был помят и залит каплями канифоли.

В кабинет постепенно набивались большие и маленькие начальники. Главный инженер — человек среднего роста с непропичаемо твердым лицом, с резкими, всегда точными движениями. Начальник патентного бюро, начальник технического отдела, инспектор по кадрам, начальник отдела снабжения, начальники отделов, лабораторий и ответственные руководители тем.

Самойлов снова забивал гвозди. Просьбы сыпались со всех сторон. Забей в стену, в потолок, в пол, в подоконник, в дверь, в косяк. Самойлов забивал. Забивал параллельные, перпендикулярные и зигзагообразные. Забивал по одному и целыми пачками. Забивал виртуозно, красиво, талантливо. Чувствовалось, что это не ремесленник. Это был артист. Великолепный артист! В кабинете начальника СКБ стоял сдержанный

гул восторга и удивления. Все стояли. Лишь один Верещагин, уткнувшись щекой в стол, сладко спал. Спал мирно, уютно, не вздрагивая и не всхлипывая. Ему снилось что-то приятное.

— Молодец, Самойлов, — ласково приговаривал начальник отдела снабжения. — Молодец! Хоть и дурак, а молодец! В цирк иди. Греметь будешь! Или ко мне на комплектацию... или по черным металлам. На сто тридцать... А?.. Молодец!

— А как насчет патентоспособности? — спрашивал главный инженер. — Патентная чистота явления проверена? Запатентовать надо обязательно.

— Ох и хитрец ты... Знал, а молчал, — несло в адрес Самойлова.

— Ну! Поговорили — и хватит! — раздался зычный голос начальника СКБ. — Рассаживайтесь.

Это было самое короткое заседание расширенного техсовета за всю историю СКБ. Оно длилось всего четыре часа. Повестка дня была сформулирована в несколько общих и туманных выражениях: «О возможности предоставления старшему инженеру отдела электроники тов. Самойлову А. Т. права выполнить план работ СКБ за три квартала текущего года в сжатые сроки».

Начальник СКБ, взявший слово первым, очень сожалел, что сложилась вот такая неприятная ситуация. Уже написано письмо в министерство об уменьшении объема работ. Все шло хорошо,

спокойно. И вдруг... на тебе! Один отдел выполнил план. Почти выполнил. Все полетело к черту! Хочешь не хочешь, надо выполнять план или всему СКБ, или... сами понимаете...

— Но, — закончил свою речь Волков, — меня все-таки радует одно обстоятельство. Я, как начальник, ошибаться не могу. Иначе наше СКБ второй категории с кадрами из лучших инженеров города никогда не выберется из бездны отстающих организаций. Я всегда интуитивно придерживался волевых методов руководства. Я пр-р-реклоняюсь перед величием и могуществом человека! И вот то, к чему я всегда стремился в своей деятельности, нашло блестящее подтверждение в отделе электроники. Выполнение плана с помощью волевого усилия! Я всегда «за».

Председатель месткома весьма кстати напомнил об уплате членских взносов. Редактор потребовал фотовспышку для стенной газеты... Самойлов и Верещагин спали. Момент был подходящий, и не воспользоваться им было бы просто глупо.

К концу третьего часа, когда положительное решение по повестке дня было принято подавляющим большинством голосов при одном воздержавшемся (им оказался похрапывающий Верещагин), на Самойлова вылили стакан воды и предложили приступить к работе. Лица у всех присутствующих были добрые, ласковые и чуть-чуть настороженные. Мокрый Самойлов не отказывался, но

чистосердечно признался, что не знает, как и с чего начать. Как и с чего начать, не знал и никто из присутствующих.

Гениальное мероприятие готово было умереть в зародыше. Расширенный техсовет заволновался. И тут чья-то светлая голова предложила вызвать изобретателя Кобылина, известного всем автора ста десяти заявок на изобретения и одного авторского свидетельства.

Кобылин сразу взял быка за рога.

— Сколько дней тебе потребуется, Самойлов, чтобы выполнить план СКВ за три квартала?

Самойлов тяжело вздохнул и ответил, что не менее месяца. Надо ведь вникнуть во все чертежи. Представить себе все детали, узлы, схемы, химические реакции. А это для него дело новое. Особенно химические реакции.

Изобретатель Кобылин минут пять пристально смотрел на Самойлова и изрек:

— Так дело не пойдет!

Все согласно закивали головами: «Не-ет. Так дело не пойдет».

Кобылин погрузился в сложнейшие размышления. В кабинете начальника СКБ стало заметно теплее. Это умственная энергия изобретателя превращалась в тепловую энергию, грозя, если так пойдет и дальше, тепловой смертью всей вселенной. Энтропия есть энтропия! И когда сидеть от жары стало уже почти невозможно, Кобылин обвел присутствующих ясным взглядом, и все поняли, что проблема решена.

Идея, как и все гениальные идеи, была гениально проста.

— Надо мыслить широко, — начал изобретатель Кобылин. — А Самойлов мыслит узко, кустарно, однобоко. Чтобы сделать какой-нибудь заваливающий прибор, он сначала вникает. Вни-ка-ет! На это уходит время. На сборку прибора волевым усилием тоже нужно время! А на монтаж! А на настройку! Это же уйма времени! Не технологично, не производительно. Пусть представит себе не то, как сделать прибор самому, а то, что нужно было бы сделать, чтобы прибор был изготовлен вовремя, по плану. Не было комплектующих? Значит, товарищ Волков своевременно не объявил выговор Балуеву, начальнику отдела комплектации. Волевым усилием, мысленно объяви ему выговор. Не хватало людей? Отдел кадров... Схема не настраивается? Разработчик...

— Правильно он сказал, — кивая в сторону изобретателя, проговорил Самойлов. — Можно попробовать.

— Хи-хи-хи! Балуев выговор получит, — заливался начальник патентного бюро. — Хи-хи-хи!

— Я-то что. Вот Иммануил Гаврилович наверняка получит, — парировал начальник отдела снабжения, показывая на внешне запно материализовавшегося из пустоты начальника макетной мастерской.

— Макетная не подведет! — заверил Пендрен, не слышавший предыдущего разговора, и снова ушел в подпространство.

— А что, действительно выговор может быть? — испуганно спросил начальник конструкторского бюро.

— Вину чувствуешь, хи-хи-хи, — заливался начальник патентного бюро. — Вину!

— Может быть, кто против? Воздержался? — спросил Волков. — Или боится кто-нибудь? Виноват?

Присутствующие молчали. Верещагин пошвыстывал носом и протяжно хралел.

— Тогда с богом! — угрюмо закончил начальник СКБ заседание техсовета.

АлекСАНдр ТИхонович Самойлов — Сантис — закрыл на ключ массивную деревянную дверь испытательной лаборатории. Открыл люк звуконепроницаемой герметичной камеры, сбросил туда толстую кипу тематических планов, оперативно-календарных графиков, квартальных отчетов, докладных, заявок, приказов, прыгнул сам и завинтил люк изнутри на все гайки. Для концентрации волевого усилия была необходима идеальная тишина. В камере было тепло и сухо. Сантис разложил на столе принесенные с собой документы, закурил, с минуту посидел, ни о чем не думая, затушил папиросу и начал сосредоточивать свою мысль на первой по списку теме. До конца третьего квартала оставалось восемь часов...

Кабинет начальника СКБ был полон. Незначительные разговоры, нервные смешки, шарканье ног,

попытки рассказать смешной анекдот. Томительное ожидание. Работы в СКБ были приостановлены. В их продолжении уже не было смысла.

Лишь отдел электроники продолжал действовать. Собственно, остались только два ненастроенных образца. Около Гутарина и Палицина собрались все, кто не спал. Настройка должна была вот-вот закончиться. Ведущий инженер Вырубакин с достоинством заявил, что «Пахтакор» войдет в десятку сильнейших. Ему никто не возразил, и Вырубакин немедленно обиделся. Техник Свидаерский рассказывал печальную историю из своей жизни, и все вокруг хохотало до слез. Любочка отпечатала последний протокол и запорхала между столов. Оживление усиливалось.

— Готово! — заорал Палицин. — Можно пломбу ставить.

— У меня тоже! Все, парни! — радостно заявил Гутарин и с хрустом потянулся. — Ну, вы когда меня жените-то?

— Скоро, Гена, скоро, — успокоил его всегда подтянутый и опрятный Стрижев.

— А не выпить ли нам по поводу окончания работ по стаканчику? — протирая заспанные глаза, сказал Сергушин.

— По стаканчику? — внезапно проснулся второй начальник лаборатории. — А не мало ли? А?

— Хватит! Закругляйтесь!

— А Верещагина с Самойловым все нет и нет, — жалобно сказала Любочка и капризно надула губы.

— Стружку, наверное, снимают с них, — ответил тяжеловес Палицин.

— Ну да! Стружку! Премию дают! Точно вам говорю, — немедленно возразил техник Свидерский.

— А может быть, опять где-нибудь?

— Сейчас — в магазин, а потом в общежитие, — скомандовал Сергушин. — Самойлов с Верещагиным наверняка туда придут.

Через минуту свет в отделе погас.

В кабинете начальника СКБ царил зловещая тишина. Прошло уже часа три, как Самойлов заперся в лаборатории испытаний. Что происходило в камере, никто не знал. И это было плохо. С одной стороны хорошо, если план будет выполнен. Премия! А с другой — вдруг выговор или еще что. Так что, пожалуй, было больше плохо, чем хорошо.

Внезапно в кабинет влетела испуганная чертежница Пронюшкина.

— Сдобников пропал! — завопила она.

— Как пропал? — испуганно спросило сразу несколько человек.

— Пропал... Они с Захаровым вышли на минутку, а когда возвращались, Сдобников пропал... Исчез — и все!

— Не может быть такого!

— Может, может! Пропал Сдобников!

— Что он, сквозь землю про... — начал было ответственный исполнитель по теме номер

один и вдруг исчез. Исчез без шума, без треска, без теплого прощального слова.

В кабинете начальника СКБ забеспокоились. Испуганные голоса спрашивали друг друга: «Где он? Где он?» Атмосфера накалялась и становилась угрожающей. Случай был из ряда вон выходящий. До сих пор мгновенно мог исчезать только Иммануил Гаврилович Пендрин.

Главный инженер вдруг вскочил с места, бегом спустился по лестнице, вылетел через проходную, выхватил у ошавевшего от неожиданности дворника метлу, сразу же успокоился и с упоением начал подметать тротуар. Размерно, с толком, не поднимая лишней пыли. Чувствовался солидный опыт. Дворник сказал: «Э-хе-хе. Всегда бы так. Позаседали бы да помели», — и пошел в проходную посмотреть, не сварились ли картошка. Он очень любил картошку. Особенно если она была с маслом, помидорами и перцовкой.

Начальник СКБ до боли в суставах сжимал столешницу своего рабочего стола. Только что, прямо на его глазах, исчез еще один ответственный исполнитель. Это было ужасно. Начальник отдела снабжения плакал навзрыд. Ему не было страшно. Он плакал из любви к искусству. Как выяснилось позднее, в это время он уже был руководителем драматического кружка и учил кружковцев искусству сценического перевоплощения.

— Это он! — раздался истош-

ный вопль. — Это Самойлов! Надо остановить его!

Все вскочили. Длинный стол для заседаний перевернулся. Верещагин чуть не упал со стула и проснулся. Удивленно посмотрел вокруг. На правой его щеке рдел огромный красный с разводами пролежень.

— Остановить! — кричали вокруг. — Он нас всех к чертовой бабушке пошлет.

Человек тридцать-сорок толпой кинулись к дверям, выдвигая друг друга в коридор, и галопом спустились вниз, к дверям лаборатории испытаний.

— Ломай! На приступ! — раздался боевой клич.

Неумолимый рок ежесекундно вырывал из рядов атакующих опытных, закаленных в сражениях бойцов. Они, как и предыдущие, исчезали бесследно. Кто-то принес лом, и дверь пала. Взять с ходу камеру было труднее. Атакующие загрузили. Их осталось совсем мало: инспектор по кадрам, бухгалтер, начальник патентного бюро, Верещагин и еще несколько человек. Некоторое время все не дыша смотрели друг на друга. Никто не исчезал.

— Неужели все? — робко спросил кто-то.

— Кончилось. Не успели.

— Он давно там сидит? — спросил Верещагин, сообразив, в чем дело.

— Часа четыре.

— Он же задохнулся. Курил, наверное, все время, — метался Верещагин, корчась от боли и хва-

таясь рукой за правую щеку. — Спасать надо. Резать автогеном!

Несколько человек бросились искать автогенщика. Кто-то звонил в «Скорую помощь».

— В тюрьму его надо за такие штучки, — сказал начальник патентного бюро.

— Сами же ведь просили.

— Кто мог знать? А вдруг и план остался невыполненным? Тогда что? Кто будет отвечать?

— А... Кому теперь отвечать...

Из пустоты, как всегда внезапно, материализовалась голова начальника макетной мастерской Пендрина и лихо подмигнула:

— Ну, как тут у вас? Кончилась заварушка?

— Пендрин! Голубчик! Живой! А ты не знаешь, где наши? — лопотал начальник патентного бюро.

— Не знаю, но догадываюсь.

— Где же?

— Да живы они, живы. Видел, как через подпространство неслись. Волков — в главк, а остальные кто куда.

— Сам-то ты как?

— Знал я, что что-нибудь здесь будет, вот и отсиживался в подпространстве. Ну, привет! Я еще немного посижу, на всякий случай, — и Иммануил Гаврилович исчез...

Не успели еще остыть рваные края оплавленной дыры на том месте, где раньше был люк, как Верещагин прыгнул в камеру.

Самойлов лежал возле канцелярского стола, нелепо раскинув руки, в расстегнутой мокрой рубашке и уже не дышал. Во всяком случае, Верещагин не услышал

его дыхания, как ни старался. Стол был завален подписанными и утвержденными квартальными отчетами, папками готовых технических отчетов, протоколами испытаний. На полу стояли макетные и опытные образцы по всем темам.

План третьего квартала был выполнен. Поверх всех бумаг лежал приказ министерства о выплате работникам ЦКБ квартальной премии...

Врачи определили у Самойлова невероятное истощение нервной системы. Очнулся он лишь через неделю. В палате было светло и тихо. Откуда-то издали доносилась медленная незнакомая музыка. Самойлов вздохнул и глубоко заснул.

Здоровье его быстро шло на поправку. Посетителей к нему еще не пускали, а в записках запрещалось писать о производственных делах.

Наконец настал день, когда к Самойлову впустили посетителей. Первой вошла Аграфена Ивановна, хозяйка общежития. За ней Верещагин, два начальника лабораторий, ведущий инженер Вырубакин, техник Сви́дерский, Стрижев, Палицин, Гутарин и Любочка. Палата сразу наполнилась гулом и оживлением.

— Сашенька ты наш. Заморили тебя оканные, — запричитала старуха.

— А я тоже лежал неделю в больнице, — с восторгом сообщил Верещагин. — Понимаешь, пролежень на щеке никак не заживал. Даже уколы делали.

— А у нас Гутарин-то ведь женится!

— А я... хм... первое место по шангане... хм... занял по городу.

Сантису было хорошо. Он с восторгом переводил взгляд с одного лица на другое и молчал.

— А ты гвоздь можешь вбить в стенку? Тут к тебе делегация ученых целую неделю прорывает, — сказала Любочка.

— Нет, не могу. Пробовал, ничего не получается, — ответил Сантис и весело добавил: — Секрет утерян! Ребята, а почему меня всегда просили забить гвоздь? Ведь я мог сделать что-нибудь и поинтереснее.

— Уж очень наглядно получалось, — ответил техник Сви́дерский, и все с ним согласилось.

— И хорошо, что утерян, — подхватила Аграфена Ивановна. — Научишься молоточком. — Ей все время хотелось всплакнуть, но она не решалась.

— Ну, а как в СКБ дела? — спросил Сантис.

— Все нормально, — ответил Верещагин. — Волкова перевели в министерство сельского хозяйства. Он же по образованию-то был, оказывается, ветеринар. А главный инженер дворником работает. Не простым, конечно, а бригадиром. У нас на территории сейчас такая чистота!.. Ну и еще некоторых кое-куда порастаскали. Всего, кажется, человек около сорока. Всем место нашлось по душе. У нас много новых. А Пендрин отсиделся. Так и числится начальником макетной ма-

стерской. Боятся только все время чего-то.

Начальники двух лабораторий после каждой фразы Верещагина согласно кивали головами и в один голос говорили: «Правильно... Тоже верно... Правильно...»

— А тебя, понимаешь, в ведущие инженеры не переводят. Просил я, да, говорят, испытательный срок у тебя еще не кончился.

Время свидания подошло к концу. Прощание было не менее шумным, чем встреча.

Самойлов всем кивал головой, поднять руку он был еще не в силах.

•

Через несколько часов после возвращения Сантиса с «Вызова» послали второе сообщение. Потом третье. Автомат—прокальватель пространства принял их. Спасательная экспедиция тронулась в путь.

билет в детство

— Билет в детство, пожалуйста, — сказал я в окошечко кассы и через пять минут уже сидел в жестком вагончике допотопной конструкции, с нетерпением ожидая свистка паровоза.

В купе рядом со мной оказалась старушка с корзиной фруктов и конфет. Волнение, с которым она поминутно перебирала ее содержимое, могло рассмешить кого угодно, но только не в этом поезде. Ее можно было понять. Ведь она ехала к маленькой девочке, в свое детство, наверняка давно и прочно забытое. Дети любят сладкое, только это она и помнила из всего, с чем ей предстояло встретиться.

Напротив сидели мужчина с поседевшими висками и старик. Я знал мужчину по портретам в журналах. Это был известный пианист. Перед каждым концертом он ездил в свое детство. Утверждали, что именно это делает его концерты неповторимыми. Вряд ли. Многие му-

зыканты ездили в свое детство. Но что-то гениев среди них было маловато.

Старик сидел, положив руки на массивную трость. Он вез в подарок своему детству только мудрый взгляд уставших глаз.

Поезд тронулся... Мимо проносились телеграфные столбы, размеренно стучали колеса, изредка раздавался свисток паровоза. Кто-то в соседнем купе потребовал у проводника холодного пива и еще долго ворчал, возмущаясь плохим обслуживанием.

Прошел грустный и задумчивый час. Вдали за поворотом уже можно было различить платформу.

— Приехали. Станция, — объявил проводник.

Все начали торопливо собираться. Потом сбились в проходе.

— Суздаль! — удивленно сказала моя соседка.

Это был Загорск. Для меня это был Загорск. А для нее — Суз-

даль. Для старика — Пенза или Сызрань. Каждый приехал в город своего детства. Я смотрел на стены Троице-Сергиевской лавры. А кто-то на тайгу, стремительное течение Енисея, ленивую гладь Онежского озера.

Загорск... А я даже и не знал, что это мой город. Я не помнил своего детства.

Вагон быстро опустел. Старушка увидела в толпе встречавших пухленькую девочку, замахала ей платком и заплакала. Пианист положил руку на плечо мальчугану, и они пошли к виадук, очень серьезные и сосредоточенные. На платформе было шумно и тесно, но постепенно люди расходились.

Меня никто не встречал. Я несколько раз махал рукой мальчишкам, но к ним почти тотчас же кто-то подходил. Каждый раз это оказывался не я. Трудно представить, каким я был в детстве, тем более, что у меня не сохранилось ни одной фотографии от того времени. Я вообще сомневался, фотографировали ли меня тогда.

Через десять минут около поезда почти никого не осталось. Только на самом краю платформы десятилетний мальчишка в майке и не по размеру больших брюках сосредоточенно пинал носком ободранного ботинка стаканчик из-под мороженого.

— Сашка! — крикнул я. Но он, даже не взглянув в мою сторону, прыгнул с платформы, пересек железнодорожные пути и скрылся за углом здания...

Искать в городе не имело смысла. Я бесцельно проболтался на

вокзале около часа, дожидаясь, когда объявят посадку на обратный поезд.

Весь путь до Усть-Манска меня не покидало ощущение какой-то невосполнимой потери. Почему он не пришел? Почему? Соседи по купе были погружены в свои мысли, лишь одна женщина все время пыталась рассказать о своих проказах сорокалетней давности, но никак не могла найти внимательного слушателя.

Не успел я сойти с поезда на вокзале в Усть-Манске, как меня вызвали к диспетчеру.

— Простите, — сказал молодой парень в железнодорожной форме, когда я вошел в диспетчерскую и назвал свою фамилию. — Мы виноваты в том, что испортили вам настроение. Что-то произошло с системами волноводов темпорального поля. А может быть, темпограмма не дошла до адресата, и поэтому он не пришел вас встречать.

— Он мог не захотеть со мной встретиться, — я махнул рукой, собираясь выйти.

— В следующий раз это не повторится, — заверили меня. — Мы все проверим. Можете ехать в детство хоть завтра.

— Вряд ли в ближайший месяц у меня будет свободное время, — ответил я и вышел, не попрощавшись.

Я готовил важный эксперимент, и времени действительно не хватало.

И все же на следующий день я снова был на вокзале, снова ехал в дряхлом вагончике, снова стоял на пустеющем перроне.

На краю платформы, как и вчера, я увидел мальчишку.

— Сашка! — крикнул я. — Это же ты! — я чувствовал, я твердо знал это.

Он хотел спрыгнуть с платформы, но передумал и остался стоять, глядя себе под ноги. Я бегом кинулся к нему, схватил за плечи, сжал. И вдруг он прижался к моей груди. На секунду, не больше. Затем оттолкнул меня и, глядя исподлобья, сказал:

— Так вот ты какой?! — в его голосе было очень много от взрослого мужчины. И вообще для мальчишки он выглядел очень серьезным.

— Сашка! Значит, ты все-таки узнал меня?

— Еще бы. Но только я не Сашка. Меня все зовут Роланом... Ну, то есть Ролькой.

— Но ведь меня-то зовут Александром. Значит, и ты — Сашка.

Он пожал плечами.

Я в свои пятьдесят лет выглядел еще крепким человеком. А он был нескладный и худой.

— Послушай, Сашка. Я буду звать тебя Александром, а не Роланом. — Здесь он снова пожал плечами, как бы говоря: «Как хочешь». — Почему ты такой тощий, чертяка?! Тебе надо заниматься спортом, иначе долго не протянешь.

На мгновение мне показалось, что его глаза смеются надо мной, и я тоже расхохотался. Какую глупость я только что ляпнул. Ведь я стою перед ним живой и здоровый. Как же в таком случае он может долго «не протянуть»? Вот ерунда-то.

Он тоже засмеялся, и мы дошли до самого виадука, хлопая друг друга по спинам ладонями и даже не пытаясь что-либо сказать из-за распивавшего нас смеха.

Привокзальная площадь была не такой, какой я ее привык видеть. Бывая в Загорске, я почти всегда заходил в кафе «Астра». Но сейчас его еще не было и в помине. Справа доносился гомон базарчика, который не могли заглушить даже паровозные гудки.

— Ну ладно, Сашка, — сказал я. — Трудно ведь сразу повести себя так, чтобы кому-нибудь из нас не было смешно. Я еще не раз попаду впросак. И это вовсе не означает, что мы с тобой не должны где-нибудь крепко пообедать.

— Я не хочу, — сказал Сашка. — Нас уже кормили.

«А что он думает на самом деле? — попытался сообразить я. — Если бы я хотел есть, то никогда бы не отказался, исходи приглашение от такого человека, как я сам. Ага! Но ведь я-то взрослый человек, я все это понимаю. А он?»

— Не хочешь так не хочешь, — сказал я. — Расскажи-ка лучше, как ты живешь? Кто твои друзья?

— Только не надо допросов, — ответил он, и я понял, что мои вопросы действительно похожи на анкету, которую нельзя заполнить искренне.

Мы подошли к базарчику, и я спросил:

— А мороженого хочешь?

— Ага! — радостно ответил он.

— С орехами или пломбир?

— Ну да... С орехами! Такого и не бывает.

— Посмотрим, — загадочно сказал я, но у женщины, продающей мороженое, действительно не было ни того, ни другого. Я спросил ее на всякий случай, но лучше бы я этого не делал. Она вдруг раскричалась на меня: «Ишь чего захотел!» Сашка потянул меня за руку:

— Пойдем...

Но я все же купил порцию обыкновенного молочного мороженого. Сашка взял его, глядя в сторону, но мне еще пришлось два раза сказать ему: «Ешь, чего ты?» — прежде чем он развернул бумажку. И тут же, как мне показалось, он забыл про меня. Сразу стало видно, как он хотел этого мороженого. Обыкновенный десятилетний мальчишка, у которого мечты и желания еще не идут дальше этого. Он закапал мороженым свои широченные брюки и тут же вытер их локтем.

— А ты научился лечить неизлечимые болезни? — неожиданно спросил он меня.

Я растерялся:

— Откуда ты можешь знать? Ведь я занялся этим всего лет в тридцать. И занялся совершенно случайно.

— Но ведь я — это ты, — сказал он. — Только в детстве. Я знаю про тебя больше, чем ты про меня, потому что я всегда хотел, чтобы ты был похож на меня, чтобы ты занимался тем, чем хочу заняться я. Я этого очень хочу.

В нем как-то странно сочеталась детская наивность и суровость взрослого.

— Нет, Сашка, я еще не на-

учился лечить неизлечимые болезни. Но я думаю, что скоро это станет возможным.

— Правда? — обрадовался он.

— Правда, — я потрепал его по макушке. — Но только мне очень не хватает времени. Тебе хорошо. Ты еще не замечаешь, как быстро бежит время.

Он бросил на меня взгляд, чуть насмешливый и странный, словно он знал что-то очень важное для меня, но еще не считал нужным сообщить это мне. Выцветшие брюки сидели на нем мешком. Рубашка в клеточку выгорела. «Не сладко тебе приходится», — подумал я.

— Мне тоже не хватает времени, — сказал, наконец, он.

— Вот как?! — рассмеявшись, спросил я. — И чем же ты занимаешься, что у тебя не хватает времени?

— Я хочу, чтобы ты получился счастливым...

— Ну что ж. Считай, что я таким и получился. Только знаешь ли ты, что такое счастье?

Он не ответил на вопрос, словно и не слышал его.

— И еще я хочу, чтобы люди становились счастливее оттого, что ты есть.

Вот уж этого-то я не знал наверняка. Счастливы ли люди оттого, что я есть? Нет, я не мог это утверждать с уверенностью.

— Ты очень серьезный, Сашка. Это все-таки плохо в твоем возрасте.

— Это хорошо.

— Не будем спорить. А почему ты вчера не подошел ко мне?

— Ты ведь тоже не сразу приехал ко мне. А почему я должен был сразу броситься к тебе? Я тебя тоже ждал.

— Прости.

Мне показалось, что между нами внезапно возникла стена отчуждения, что мы чужие друг другу и что я никогда не смогу его понять, этого десятилетнего мальчишку, то ли потому, что взрослые вообще плохо понимают детей, то ли потому, что он умнее меня. Но последнее я отбросил сразу же, потому что еще не мог согласиться, что я с годами глупею. Во всяком случае, до встречи с ним это мне и в голову не приходило.

Мы долго бродили по городу. Я узнал, что и он не помнит отца и мать, видимо, погибших на войне, что он живет в интернате. Его неразговорчивость, некоторую скрытность я отнес за счет того, что это была наша первая встреча. Трудно говорить много и только веселое, когда впервые увидел сам себя.

Позже я понял, что хотя он и говорил меньше, чем я, но именно он направлял наш разговор. Он экзаменовал меня, делая это незаметно, ненавязчиво. И я вынужден был согласиться, что он чем-то все-таки умнее меня. Может быть, своей системой мышления, способностью точно знать, что же он хочет, удивительной собранностью и иронией. Грустной, грустной, не мальчишеской иронией.

Мы договорились встретиться еще. Я уехал с вечерним поездом. В последнюю минуту, когда я уже был в тамбуре вагона, он весе-

ло засмеялся, несколько раз лихо подпрыгнул и крикнул:

— А ты ничего! Не совсем такой, как я предполагал, но все же ничего. Пока!

И стена отчуждения исчезла между нами. И снова это сделал он. Сделал, когда сам захотел.

— Пока, Сашка! — крикнул я.

Поезд тронулся. Как мне было легко! Радость, непонятная, странная, необыкновенная, распирала мою грудь.

И все-таки я не знал, не мог предполагать, как нужна была мне эта встреча. Я стал работать так, как не мог уже давно. Какое-то небывалое вдохновение овладело мной. Теперь я был уверен, что эксперимент пройдет удачно. Я сделаю то, о чем мечтал, оказываясь, еще в детстве.

Несколько месяцев промелькнули незаметно. Целый ряд больших и маленьких удач, бессонные ночи, мимолетные сомнения, ожесточенные споры и захватывающие обсуждения, встречи и командировки. Наш институт работал над очень трудной и важной проблемой. Мы разрабатывали мгновенные нехирургические методы лечения травм на расстоянии. Вот, например. Человек упал с обрыва и разбился. Пока его доставят в ближайшую клинику, будет уже поздно. Мы разрабатывали методику и аппаратуру, которая позволяла этот мешок костей и боли превратить снова в человека. Человек падал с обрыва и тут же вставал совершенно целым и невредимым.

Мы хотели уменьшить количество нелепых смертей. И у нас это

уже получалось. Теперь я мог сказать: «Да, люди будут счастливее оттого, что я есть». Сказать Сашке, то есть самому себе, и никому больше.

Только через полгода я смог брать время и купить билет в детство... Сашка на вокзал не пришел.

«Детская, нелепая выходка, — подумал я. — Обиделся, что я долго не приезжал». А я мог бы ему многое рассказать из того, о чем он мечтал.

Расстроенный, я вернулся в Усть-Манск. На вокзале меня снова пригласили в диспетчерскую.

— Что-нибудь с темпограммой? — с надеждой спросил я.

— Нет. Темпограмму мы послали. Дело вот в чем... У вас не было детства... Это невероятно, но это так.

— Что за ерунда! Ведь я видел... я уже разговаривал с Сашкой.

— Это был не Сашка, то есть это были не вы в детстве. Это был Ролан Евстафьев.

Ролан Евстафьев? Я не знал такого, но фамилия была мне знакома.

— У вас не было детства.

— Но почему он тогда приходил меня встречать? Да нет же! Это именно он, то есть я. Я это чувствую.

— У вас не было детства. Это совершенно особый случай.

Мне дали стакан воды. Наверное, вид у меня был растерянный и жалкий. Я плюхнулся в кресло, не в силах выйти на улицу. Меня не тревожили и больше ничего не говорили. Да и что они могли ска-

зать. Они выяснили, что у меня не было детства. Почему и как это произошло, они не знают. И помочь тут они мне ничем не могут.

Когда у человека бывает трудное детство, говорят, что у него не было детства. Да! Но у меня-то не было детства, в прямом смысле слова не было!

Я немного пришел в себя. Настолько, чтобы нормально двигаться, не привлекая взглядов прохожих.

Через час я добрался до лаборатории. Было уже довольно поздно, и на месте оставались человека два или три. Я сел за свой стол и попытался собраться с мыслями. Скоро лаборатория опустела. Может быть, перед уходом товарищи что-нибудь и говорили мне, но я не слышал... Только за стеной раздавался стрекот пишущей машинки. Это Елена Дмитриевна перепечатывала протоколы наших экспериментов.

Я сидел за своим столом и вспоминал. Выискивал в своей памяти факты и сопоставлял их, и вспоминал, вспоминал.

Тридцать лет назад я очень долго болел. Во время болезни я потерял память. Я не помнил ни друзей, ни знакомых, ни самого себя до этой болезни. Странно, но в моей памяти отчетливо сохранились знания и опыт начинающего молодого ученого. Исчезло только то, что касалось лично меня. Я как бы родился заново. Ко мне часто приходила молодая Лена Евстафьева. Елена Дмитриевна Евстафьева. Много лет, как она работает моим секретарем. Однажды

вечером, примерно через год после моей болезни, она вдруг заплакала за своим столиком, заставленным телефонами и заваленным деловыми бумагами. Я приподнял ее мокрое от слез лицо.

— Ты не такой, совсем не такой, — сказала она.

— Какой «не такой»? — глупо спросил я.

Она встала и ушла. Ушла из института единственный раз в жизни раньше меня. На мой вопрос потом она ответила:

— Не спрашивай. Ничего не было.

И я ничего не спросил у нее. Я просто боялся услышать от нее что-то... Что? Не знаю...

Я набрал номер справочной и попросил продиктовать мне списки лиц, работавших в институте тридцать лет назад. Тогда это просто была большая лаборатория. Монотонный голос называл фамилии: Абрамов, Волков, Ролан Евстафьев...

Стоп. Он работал здесь же. Я продолжал вспоминать. Нет. Я не помнил такого.

Перебирая личные дела, я узнал, что Ролан Евстафьев умер в тот день, когда я потерял память. Потерял память?!

И тут я понял. Я никогда не терял память. Меня просто не было. Я возник... стал существовать в тот день, когда он умер.

Кто я? Киборг? Киборг, у которого вырезан аппендикс и который часто страдает насморком? Нет.

Его сознание, его «я» вписали в мое тело? Нет.

Он создал меня и умер. Тут, конечно, ни при чем ни мое тело, ни даже клетки головного мозга. Он создал меня в каком-то более сложном, более совершенном смысле этого слова. Он создал мой образ мышления, мой интеллект. И я должен быть таким, каким он хотел видеть меня.

А этот мальчишка? Ведь он уже все продумал в свои десять лет, потому он со мной так странно и говорил. Он уже знал, что я — это то, что он создаст в будущем, потому что уже ничего не успеет сделать сам.

Меня не должно было быть. Я не был предусмотрен штатным расписанием природы. Он создал меня. У меня не было детства. Он подарил мне кусочек своего. Я, не знаю, как он сделал такое невероятное открытие, невероятное и сейчас... Да и никто этого не знает... Никто?

В соседней комнате зазвенел телефон. Елена Дмитриевна взяла трубку.

Он, этот десятилетний мальчишка, сделал для меня все, ничего не попросив взамен. Разве что порцию мороженого.

Он только один раз захотел встретиться со мной, чтобы проверить, правильно ли он поступил когда-то в будущем.

Я слышу, как Елена Дмитриевна встает со стула и идет к дверям моей лаборатории.

Сейчас она откроет дверь, и я все спрошу. Я спрошу ее, кто я.

И она мне все расскажет.

Дверь открывается.

Сейчас я все узнаю.

До Нового года оставалось еще шесть месяцев или немногим меньше, когда она, наконец, не выдержала и спросила у мальчика:

— Почему... так? Мы играем с тобой там, в роще на холме, и забираемся на деревья, купаемся в речке... ах, какая студеная была вчера вода!.. Нам весело, и мне... да, мне очень весело с тобой. Но... иногда ты словно уходишь куда-то... Я вижу тебя, но так, как будто далеко... где-то... и мне туда не добраться... Почему?!

ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

У девочки вздрагивали губы, она теребила косу, перекинутую на грудь, и смотрела на него широко открытыми вишневыми глазами, в которых были стремление понять, обида и что-то похожее на гнев, хотя какой там может быть гнев в двенадцать лет.

Мальчик не ответил; они молчали, и слышно было, как речка громко перешептывается с громадным темно-зеленым валуном, омывая его, — казалось, они трут щекой о щеку.

Солнце зашло сразу, ночь... нет, неправда, что ночь падает на землю, — наоборот, летом она поднимается над землей, черно-голубая, высокая, израненная звездами.

Девочке надоело молчание, она обиделась еще больше, но вдруг увидела росчерк падающей звезды и, забыв обо всем, крикнула:

— Смотри, упала звезда! А я опять ничего не успела загадать...

Посмотрела на мальчика и тихо, уже без обиды, просто печально, добавила:

— Вот и опять ты где-то... там.

И совсем не думаешь обо мне... Пстой! А ведь у тебя этот... летящий профиль! — и честно призналась: — Я прочитала это в одной книге.

Он встрепенулся, как от озноба, сомкнул ладони на затылке, откинул голову, потягиваясь, и улыбнулся. У мальчика были тонкие руки, нежное лицо, а выражение глаз менялось так неожиданно и удивительно, словно у него были их тысячи.

— Когда космический корабль несется в черном вакууме со скоростью, близкой к скорости света, экипаж не замечает движения. И только перед посадкой на планету, при торможении, люди начинают понимать, что такое полет...

Так он сказал вдруг, и на этот раз у него были глаза, каких девочка еще никогда не видела, и что-то в этих глазах испугало ее, однако тут же уязвленное самолюбие взяло верх над растерянностью.

— Опять! — сварливо всплеснула руками маленькая женщина. — Да где ты, интересно знать, живешь — на Земле или там?! — Она пренебрежительно ткнула измазанным тутовым соком пальчиком в небо.

Мальчик внимательно и — во всяком случае, ей так показалось — с жалостью взглянул на нее.

— И на Земле, и там... — ответил он серьезно, и опять у него были другие глаза, и она по-прежнему не могла бы ответить, в чем тут дело, если бы ее спросили.

— Слушай, — решительно сказал он и встал с большого поваленного дерева, где они уже третий месяц подряд почти каждый день встречали вечер. — Я тебе открою одну тайну.

Он стоял перед ней, вытянувшись так, что ноги чуть изгибались плавной линией назад, он смотрел перед собой, словно видел что-то не видимое ею, и она тоже невольно встала.

— Тайну? — переспросила девочка с любопытством и страхом.

Он опять помолчал, и она, уже начиная привыкать к этой странной манере, терпеливо ждала и даже не злилась.

— Я строю космический корабль.

Голос его прозвучал спокойно. — Ты?!

— Ну, не совсем я... Его строят... Не обижайся, но ты не поймешь... просто потому, что не знаешь. Хотя в известном смысле его строю и я... Да, в первую очередь я!

Девочка растерялась, не зная, что ответить. Конечно, он ее разыгрывает, и главное сейчас — достойно ответить. Что ж, она за словом в карман не полезет...

— И где ты его строишь? — всем своим тоном она хотела показать, что поняла шутку и готова поддержать ее.

— Там, — все так же серьезно он показал рукой.

Внизу, за речкой, светились огни поселка, в котором жила девочка. Ближе к реке, рядом с тополями, лежала ровная зеленая поляна, и с первого взгляда было

видно: здесь что-то строится. В аккуратную горку были сложены кирпичи, штабелями громоздились бревна, под грубым навесом хранились свежеструганные доски.

— Там, — повторил мальчик. Девочка засмеялась.

— Там, — захлебываясь, повторила она, — там! Но ведь на этой поляне с самой весны строит себе дом тот пенсионер, что каждый день приезжает из города. Он сказал, что обязательно будет встречать в этом доме Новый год...

— Может быть, — сказал мальчик. — Может быть. Но я знаю другое: на рассвете первого января нового года мой корабль стартует с этой поляны в Большой Космос.

— Но почему, — продолжала смеяться девочка, — почему именно на Новый год?

— Потому, — ответил он без улыбки, — что каждый Новый год должен приносить человеку Новое. Уже шестой месяц я думаю о моем космическом корабле, и я решил, что он будет готов к старту в ночь на первое января...

Что-то случилось там, в небе. Три короткие вспышки почти слились в одну, а потом огненная полоса вновь разделилась на три ярких росчерка, и вот они погасли, не долетев до горизонта. Вздохнула роща — вздох этот был легким порывом прохладного ветра. И вдруг девочка поверила. А кто он, в самом деле, этот непонятный мальчик? Он появился

здесь полгода назад, живет в лесной школе, куда принимают детей, которые давно и, должно быть, тяжело больны... Откуда он приехал? Она ничего не знала и почему-то не решилась спросить, а сам он никогда не говорил о себе. И почему у него такие, всегда другие, глаза?

Но в это время весело залаяла в поселке собака, ей ответила другая, третья. В лесной школе, не видимой за деревьями, мягко и дружелюбно ударил гонг — сигнал к ужину, — и наваждение оставило девочку.

— Хороший будет дом! — упрямо сказала она, кивнув на поляну.

— Нет, — сказал мальчик. — Космический корабль.

Лето прошло, а осень была еще лучше. Мальчик и девочка, как прежде, встречались у поваленного дерева, и оно всегда терпеливо ждало их на том же месте, только теперь вокруг была не яркая влажная трава, а сухие багряные листья.

Они упали с веток, на которых прожили столько месяцев, но еще не умерли. Они старчески добродушно ворчали, перешептываясь, когда их тревожили две пары детских ног. Мальчик был все такой же тонкий, но почему-то казался крепче, его пальцы, когда он брал девочку за руку, помогая ей перепрыгнуть через ямку или взобраться на валун, уже не обжигали ее руки лихорадочным огнем, — и, понимая, что лесная школа идет ему на

пользу, девочка радовалась искренне и простодушно.

Они собирали опавшие листья и плели из них головные уборы индейцев, и тихонько пели вдвоем по вечерам, и бегали наперегонки, и наткнулись однажды на сердитого ежа, чьи колючки были нагружены всякими припасами на зиму; еж не убежал, а долго вопросительно смотрел на них своими глазами-бусинками и только потом пошел своей дорогой, будто уверившись, что эти двое не сделают ему зла.

Они больше не говорили о космическом корабле.

Однажды девочка, смешно округляя глаза, рассказала, что, кажется, в поселке появились воры.

— Пенсионер, который строит себе дом, — драматическим шепотом сообщила она мальчику, — жалуется, что у него пропадают строительные материалы! Вчера, например, пропал большой моток проволоки, его привезли, чтобы построить высокий забор, и вот, представляешь...

— Зачем высокий забор? — удивился мальчик.

— Как зачем? Чтобы на огороде не заходили чужие куры... и зайцы из лесу... Он ведь мечтает о большом огороде, где будет расти цветная капуста, и морковь, и...

— Да, — сказал мальчик, — понимаю. Этого больше не будет. Я им скажу.

Они ни разу больше не говорили о космическом корабле. Но

иногда девочка замечала, что у него опять те глаза.

Тогда — истинная дочь Евы — она поспешно говорила, теребя его за рукав:

— Посмотри, какая смешная шишка! Наверно, она упала с той сосны и скатилась по склону...

Или что-нибудь в этом роде — и радовалась, видя, что глаза становятся другими и в них опять отражаются веселая речка, красно-золотые листья и ее собственная беззаботная улыбка.

На поляне перед тополями рос большой нарядный дом. Вокруг него как из-под земли вырастали маленькие строения — как объяснила однажды девочка, это были курятник, свинарник, крольчатник и еще что-то.

— Я уверена, — решительно тряхнув косичками, заявила она, — этот пенсионер добьется своего. Уж очень он мечтает о Новом годе в новом доме. И о собственных свиньях — он, говорят, очень любит свиней, и это, пожалуй, понятно — свиньи такие полезные животные!

— Да, — согласился мальчик и невпопад добавил: — Главное, конечно, захотеть.

— А ты умеешь хотеть? — лукаво спросила девочка, бросив на него исподтишка взгляд и руководствуясь при этом побуждением, в котором не отдавала себе отчета.

— Умею.

— И потому, — на что-то злясь, мстительно съязвила она, — строится твоя ракета, и ты

уверен, что она будет готова к Новому году?

— Да, потому. Только не ракеты. Мой корабль не реактивный. Тут совсем другой принцип.

— Ну и пусть! — неожиданно закричала девочка высоким визгливым голосом и сразу стала некрасивой. — Ну и пусть, и лети куда захочешь!

Она побежала вниз, к мостику через речку, уже через минуту с надеждой ожидая, что мальчик бросится ее догонять, но он остался у поваленного дерева, и если б она видела сейчас его глаза, устремленные в туманное небо, то обязательно расплакалась бы еще горше, потому что она и так уже плакала.

На другой день они помирились.

Ребята из лесной школы были приглашены на новогоднюю елку в поселок. Были подарки, бал, Дед Мороз — словом, елка такая, о какой вы каждый год начинаете мечтать задолго до тридцать первого декабря.

Мальчик и девочка не разлучались весь вечер. Они танцевали, смеялись, ели сладости и швыряли друг в друга мандариновыми шкурками.

Потом, немного утомившись, сели рядом у стены и щелкали орехи, и девочка, вдруг почувствовав себя солидной и взрослой, принялась степенно рассказывать ему о том, какой богатый и красивый дом построил себе тот пенсионер.

— У него есть даже телеви-

зор! — с восторгом сказала девочка. — Правда, у нас еще не построили ретрансляционной станции, но он поставил персональную антенну — огро-омную, как мачта!

— Послушай, — негромко заговорил мальчик, — я должен тебе кое-что сказать. — В голосе его была грусть, и девочка невольно притихла. — Должен сказать... — мальчик помолчал. — Скоро нас всех, кто из лесной школы, поведут спать... ведь не все еще выздоровели. Мне тоже придется уйти и... я хочу попрощаться с тобой — наверное, мы больше не увидимся. На рас-свете я лечу.

Она не ответила — не знала, что ответить. Потом засмеялась. Замолкла. Опять засмеялась. Конечно, он ее разыгрывает. Нет, она совсем не обижается! Это даже интересно, да еще как интересно — словно в книге, которую она недавно прочитала!

— Разрешите пригласить вашу даму? — церемонно спросил мальчик в маскарадном костюме Ато-са. Он весь вечер чувствовал себя очень взрослым.

— Сейчас, — сказал мальчик, который строил космический корабль, и протянул девочке руку. — Я оставляю тебе на память подарок. Ты знаешь, где его найти... Ну, прощай.

Девочка с шутливой торжественностью пожала ему руку — она уже привыкла к его манере шутить, засмеялась и пошла танцевать с мушкетером.

Перед рассветом мальчик вы-

шел из ворот лесной школы. Он спустился с холма, на котором она стояла, дошел до старого поваленного дерева, постоял над ним с минуту, потом нагнулся, что-то положил в ямку под ствол, выпрямился, постоял так еще немного и решительно зашагал к мостику, к поляне, где росли тополя и стоял большой добротный дом, окруженный маленькими строениями — свинарником, крольчатником, курятником и еще чем-то.

Люк космического корабля сам открылся перед ним и мягко задвинулся, когда мальчик вошел. Он сел в кресло пилота, откинулся на его спинку (она тотчас чуть подвинулась так, чтобы ему было удобно), закрыл глаза и замер в неподвижности.

Потом, медленно подняв обтянутую серебристой тканью космического комбинезона тонкую руку, протянул ее к панели и мягко нажал на клавишу.

Послышался тонкий и очень, очень высокий звук — его мог услышать только мальчик. Все, кто спал в поселке, а спали все, кроме одной девочки, ощутили неслышный плавный толчок — будто вздохнула Земля. Но никто не проруслся.

Девочка, которая не спала, вскочила с постели и бросилась к окну. Высоко в черно-голубом небе первого утра нового года мелькнула едва заметная голубая полоса — чуть ярче и светлее голубизны рассветного неба, и все стало, как прежде.

Примерно к полудню жители

поселка, пробудившиеся наконец после долгой и утомительной праздничной ночи, вышли из своих домов прогуляться. Они услышали громкую брань и крики и поспешили к новому большому дому под тополями, откуда доносился весь этот шум.

Новый житель поселка показывал на поваленную дюралевую мачту телевизионной антенны, кричал, что он этого так не оставит, что сначала воровали материалы, а теперь повалили его антенну, ведь ветра ночью не было, а если б и был, то он не смог бы свалить такую замечательную антенну, она ему обошлась в копеечку.

...Девочке сказали в лесной школе, что мальчик выздоровел и потому родители попросили отпустить его домой: вчера пришло письмо, только куда оно делось? Ну, неважно. Он уехал. Странно только, что ни с кем не попрощался. Наверное, очень уж соскучился по дому, встал раньше всех и тихо уехал.

Девочка плакала и кричала, что они ничего не понимают.

Но то, что кричала плачущая девочка, было слишком нелепо, и ее отвели домой и уложили в постель. Она долго болела — видимо, простудилась в то утро, когда бежала в лесную школу без пальто и шапки.

Прошло время, девочка выздоровела и успокоилась — во всяком случае, все видели, что она успокоилась. Потом прошло еще столько времени, сколько пола-

гается, и она вышла замуж за внука того самого пенсионера, который построил в поселке дом. Этот внук и прежде приезжал сюда вместе с дедом — тогда, когда дом еще строился, но девочка не замечала его, потому что рядом с ней был мальчик с летящим лицом. Да и никто, собственно, его не замечал: очень уж он был благовоспитанный и благонравный, а ведь эти качества для того и нужны, чтобы тебя никто не замечал. Он вырос и стал еще положительнее. Он любил смотреть по вечерам телевизор — ведь поваленную загадочным образом антенну давно восстановили — и говорить с женой о жизни и месте человека в ней.

— Главное, — говорил он, — уметь хотеть.

Он ласково гладил ее по плечу и опять смотрел телевизор, и когда он особенно увлекался тем, что видел на экране, жена потихоньку выходила в свою комнату и что-то доставала из заветного ящичка. Это был подарок мальчика, с которым она когда-то играла у поваленного дерева. Но что именно это было — я не знаю. Только каждый раз, глядя на это, она видела что-то, чего никогда не видели другие, и глаза у нее менялись, и если бы кто-нибудь заглянул в них даже днем, при самом ярком солнце, он увидел бы в расширившихся зрачках далекие звезды.



ЮРИЙ ТУПИЦЫН

1. фантомия

Патрульный корабль «Торнадо» возвращался на базу из дальней разведки. Он шел на сверхсветовой скорости. Корабельные часы показывали третий час ночи. Командир и инженер корабля мирно спали, бодрствовал только вахтенный — штурман Реми Дюма. Его клонило в сон. В этом не было ничего удивительного: ночная вахта. Конечно, корабельная ночь была понятием сугубо условным, и днем и ночью «Торнадо» был освещен лишь слабым светом далеких звезд, но привычный ритм жизни давал о себе знать на корабле ничуть не менее властно, чем на Земле, — в ночную вахту всегда хотелось спать. Да еще этот густой, ровный гул двигателей.

Реми потрянул головой и энергично растер себе ладонями лицо. Предстоял ряд важных наблюдений, для которых была нужна свежая голова. Конечно, можно было принять тонизирующее, но Дюма предпочитал обходиться без этого. Протянув руку, он включил обзорный экран, вспыхнувший точками звезд и пятнами галактик, укрупнил масштаб и... услышал сзади странный звук, больше всего напоминавший звук лопнувшей басовой струны. Дюма недоуменно обернулся и в дальнем углу рубки увидел молочно-белый шар диаметром около десяти сантиметров, неподвижно висевший над полом рубки. Дюма оторопел. Ему пришла в голову довольно нелепая мысль о шаровой молнии,

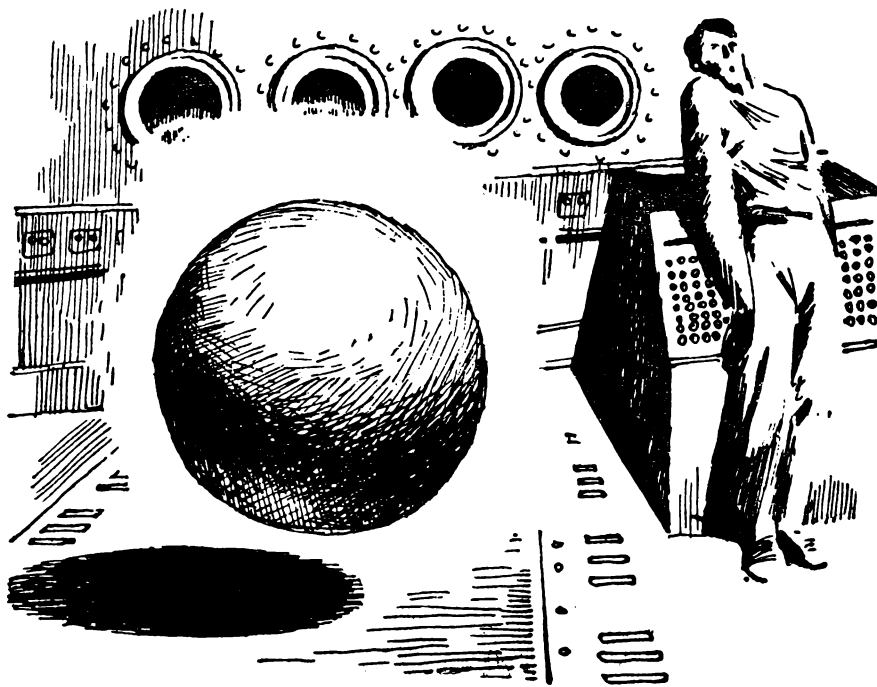
но шар не светился и не сыпал искрами. Дюма наблюдал за ним, ничего не предпринимая, совершенно ошарашенный. С минуту шар пребывал в состоянии полного покоя, словно отдыхал, а потом плавно и бесшумно поплыл к навигационному столу. Там шар повис неподвижно, по его поверхности, как от ветра, пошла рябь, он стал вытягиваться и превратился в параллелепипед. Уплощаясь все больше и больше, параллелепипед выпустил из себя какие-то отростки, протянувшиеся вниз, и вдруг превратился в точную копию навигационного стола. Настолько точную, что ее невозможно было отличить от оригинала. Простояв обыкновенным неподвижным столом несколько секунд, он быстро смялся и легко обратился в рабочее кресло инженера, стоявшее неподалеку от стола. Кресло несколько раз шевельнулось, точно устраиваясь поудобнее, и стало абсолютным двойником настоящего. Не доверяя себе, Дюма на секунду прикрыл глаза и тряхнул головой, а когда открыл глаза снова — кресло-двойник исчезло, а шар, матово-белый шар, слегка пульсируя, медленно плыл прямо к нему. Первым побуждением Реми было вскочить и бежать куда глаза глядят. Он и выполнил это намерение, но только наполовину. Вскочив на ноги и сделав движение к двери, он тут же вспомнил, что здесь святая святых корабля — ходовая рубка, а сам он единственный бодрствующий член экипажа. Он не имел права

уйти! И, стиснув зубы, Дюма остался на месте.

Шар остановился неподалеку, продолжая слабо пульсировать. Постепенно эти пульсации увеличивали свою амплитуду, на них, туманя контуры шара, начали накладываться обертоны — более высокие ритмы пульсаций. Шар медленно, значительно медленнее, чем прежде, начал деформироваться. Некоторое время форма, в которую с видимым трудом отливался шар, казалась Дюма непонятной, но затем с внезапным ужасом он заметил в ней отдаленное сходство с человеческой фигурой. Это сходство становилось заметным все более и более — обрисовывалась голова, конечности, основные черты лица. Но это лицо было чудовищно! Оно растягивалось, как резиновое, морщилось, гримасничало, с мучительным трудом приобретая сходство с каким-то очень знакомым Реми лицом. Он успел заметить вдруг появившуюся акварельную окраску лица и рук, придавших призрак вид оживающей фарфоровой куклы, — рот без зубов, нос без ноздрей, слепые глаза; как вдруг, точно молния, мелькнуло в его сознании — Дюма понял, что это копия с него самого. Машинально, точно защищаясь от яркого света, Дюма прикрыл лицо ладонью... И услышал голос! Это было сухое шелестящее бормотанье, исполнявшееся — да, именно исполнявшееся, как раз это слово приходило в голову прежде всего — на самые разные лады. Пораженный

Реми опустил поднятую было руку и увидел, как призрак, нелепо растягивая и сжимая рот, силится что-то сказать. Слова формировались у него совсем независимо от артикуляции губ, казалось, они рождались не во рту, а где-то в глубине груди. Из-за этого, а еще больше из-за нервного потрясения и растерянности Дюма никак не мог разобрать смысла быстро и невнятно произносимых слов, хотя ему и чудилась французская речь. Вдруг на какое-то мгновение лицо Дюма-призрака прояснилось, свет разумности лег на его масковидный кукольный облик. Неумело, шипя и квякая, он довольно ясно произнес не-

сколько слов. Будь Дюма в нормальном состоянии, он непременно понял бы их смысл, а так он разобрал всего два слова: «не надо», повторенные раза три то быстро, то медленно. Миг просветления, если об этом можно так говорить, длился у чудища считанные секунды, а потом его лицо сломалось, скорченное бредовыми гримасами, а речь сбилась. Бормотанье все ускорялось, тело начало вздрагивать, теряя определенность форм, фарфоровая рука сделала конвульсивное движение и уцепилась за рукав куртки Дюма. Этого Дюма выдержать уже не мог. Он закричал, стряхнул с себя бледно-розовую



руку без ногтей и пульей вылетел в коридор. Пробежав шага три, он так стукнулся на повороте головой о стену, что не успел даже упасть и очнулся в полусидячем положении, сползая на пол. Коридор был тих и пустынен. Никого.

Дюма с трудом выпрямил колени и прислонился к стене. Часто билось сердце, путались мысли. Все прошедшее он запомнил в виде неправдоподобно ярких, но отрывочных и не связанных между собою кадров. Что это было — действительность, бред, галлюцинации, — Дюма не мог дать себе ясного отчета. Однако чем больше он думал о происшедшем, тем больше убеждался, что перенес приступ какой-то неизвестной астральной болезни. А если не приступ? Если «это», прогнав его из ходовой рубки, сядет за пульт управления и начнет командовать кораблем?

Дюма был мужественным человеком, а поэтому, кое-как придя в себя, он пошел обратно, в ходовую рубку. Идти было трудно и страшно, но другого выхода не было. Уже у самой двери он вспомнил о лучевом пистолете. Сколько раз он смеялся над этой древней, уже изжившей, как он считал, себя традицией — нести вахту с оружием! Вынув из кармана пистолет, Дюма направил его раструб вперед и ногой распахнул дверь, ведущую в ходовую рубку. Там было тихо, ни движения, ни звука. Держа пистолет наготове, Дюма вошел в рубку и обшарил все укромные уголки. Никого! Тогда он подошел к пульту

управления, свалился в рабочее кресло и задумался, не выпуская пистолета из правой руки. Что же это было, что? И вдруг его озарило — фантомия! Дюма облегченно вздохнул, спрятал пистолет и нажал кнопку общего сбора. Через минуту на экране видеофона появилось заспанное и встревоженное лицо Лобова.

— Что случилось? — коротко спросил он.

— Фантомия, — сказал Дюма, — у меня был приступ фантомии.

2

Дюма полулежал в кресле, расслабленно бросив руки на подлокотники.

— Молодчина, Реми, — негромко сказал Лобов, кладя ему руку на плечо, — ты все сделал, как полагается.

Дюма повернул к нему голову.

— Не столько я, сколько все само сделалось. Неизвестно еще, что бы я натворил, если бы раньше вспомнил о лучевом пистолете.

Он вздохнул и пожаловался:

— Вот чертовщина, до сих пор колени так дрожат, что и на ногах не устоишь!

— Ничего удивительного, — с самым серьезным видом сказал Нейл, — нам непрослительно редко приходится беседовать с призраками. Говорят, предки были куда счастливее в этом отношении.

Реми слабо улыбнулся инженеру.

— Да-да, — продолжал тот с прежней серьезностью, — не знаю, как в Иль де Франсе, а в доброй старой Англии призраки водились повсеместно. Каждый порядочный замок непременно имел собственного призрака. Это было что-то вроде обязательного дополнения к фамильному гербу.

Дюма с улыбкой смотрел на рыжеватого флегматичного Нейла. Он был благодарен ему за болтовню, которая незаметно смягчала драматизм происшествия.

— Впрочем, — продолжал Нейл свои размышления вслух, — вполне возможно, что никакого призрака и не было. Видишь ли, призраки всегда селились в подземельях вместе с крысами и летучими мышами. Без подземелий они хирели и быстро погибали. А какие на «Торкадо» подземелья? Так что скорее всего ты наблюдал мираж.

Дюма засмеялся.

— Мираж?

— Да, самый обыкновенный мираж, которыми так славятся пустыни. Разве вокруг нас не самая пустынная из пустынь? До ближайшей звезды — жалкого белого карлика, который еле-еле можно разглядеть невооруженным взглядом, — десяток световых лет. И ближе — ничего: ни астероидов, ни комет, ни метеорных потоков, ни хотя бы самых заунывных пылевых облаков. По сравнению с такой пустыней всякие там Сахары — сущий рай. Ну и миражи тут такие, что колени трясутся!

— А все-таки странная бо-

лезнь — фантомия. — задумчиво сказал командир корабля, думавший о чем-то своем и вряд ли слышавший болтовню Нейла.

Дюма живо повернулся к нему, улыбка сошла с его лица.

— Да, Иван, — согласился он, — очень странная.

Среди других астральных заболеваний — космических токсикозов, сурдоистерии, космофобии и так далее — фантомия стояла особняком. Она встречалась так редко и была так плохо исследована, что даже среди специалистов астральной медицины о ней не было единого мнения. Одни считали ее самостоятельным, чисто психическим заболеванием, другие — некой разновидностью токсикоза. Например, Лоренцо Пьятти, восходящее светило астральной медицины, убедительно показал, что по меньшей мере половина случаев заболевания фантомией имеет очень много общего с давно забытой психической болезнью, с алкогольным токсикозом, который носил загадочное название — белая горячка.

— Очень странная болезнь, — повторил Дюма и потер себе лоб.

— Понимаете, — продолжал он, вскидывая голову, — я никак не могу отделаться от впечатления, что это не галлюцинация, а нечто большее.

— Что же? — попросил уточнить Нейл.

Дюма обернулся к нему.

— Не знаю, Дейв. Но я отлич-

но помню, ощущаю, как мой двойник держал меня за рукав.

— Сны порой бывают так реальны, Реми, даже сны. А это болезнь, о которой прямо говорится, что галлюцинации, ее сопровождающие, отличаются пугающей яркостью. Так что не мучай себя сомнениями, — заключил Нейл.

— Ты не прав, Дейв, — решительно сказал Лобов, — надо мучить себя сомнениями. Ты знаешь особое мнение группы старых космонавтов о фантомии?

Нейл обнял длинными руками свои плечи.

— Слышал. Но никогда не отнеслся к нему серьезно. Некто ищет с нами контакта, а поэтому предпринимает такие странные шаги, как искусное моделирование материальных вещей. Неправдоподобно! Есть тысячи других, куда более естественных и эффективных способов для первого контакта. И потом должны же они понять, в конце концов, что моделирование нас просто пугает!

— Ты думаешь, это просто — понять чужой разум?

— Трудно, Иван. Но посмотри, вокруг нас пустыня. Ни шороха, ни звука, ни сигнала. Где же скрываются разумные, идущие на такие нелепые контакты? Вспомни, Земля, да что Земля, вся солнечная система дымится от нашей деятельности! Ее следы можно обнаружить за десятки и даже сотни световых лет. Покажи мне такие следы здесь, и тогда я согласуюсь на серьезный разговор о другом подходе к фантомии.

— А если они идут другим путем созидания, который не так шумен, как наш? — упрямо спросил Лобов.

Нейл улыбнулся.

— Путь один. Голова, руки и труд. Другого нет.

— А если есть?

— Да, если есть? — поддержал Лобова Реми.

— Какой же он, этот путь? — улыбнулся Нейл.

Дюма пожал плечами, а Лобов, глядя на искры звезд и пятна галактик, горевшие на обзорном экране, задумчиво сказал:

— Кто знает? Мир велик, а мы знаем так мало.

2. красный мир

1

Линд гнал машину на большой скорости. Густой синеватый воздух с сердитым жужжанием обтекал каплевидный корпус тейнера. На свинцовом небе тускло сиял серебряный диск Риолы.

Возле института Линд плавно затормозил, вышел из машины и окунулся во влажный теплый воздух. «Днем будет просто душно», — подумал Линд, окидывая взглядом знакомые деревья с тяжелой красной листвой. Обернувшись к тейнеру, Линд obeжал его

взглядом и привычно сосредоточился. Корпус машины затуманился, по нему пробежала рябь, мгновение — и машина превратилась в белый матовый шар, неподвижно повисший над плотной бурой травой. Еще мгновение — шар смялся, вытянулся в длину, выпустил многочисленные отростки и, мелко дрожа, послушно превратился в нежно-розовую развесистую цимму. Легким усилием воли Линд стимулировал обмен веществ, и цимма ожила. Для Линда, главного модельера республики, это было простой забавой. Окинув цимму критическим взглядом, Линд удалил лишнюю ветвь, нарушавшую эстетическую целостность восприятия, украсил дерево крупными кремовыми цветами и торопливо зашагал к институту. Как Линд ни торопился, он все-таки заметил среди других деревьев аллеи низкорослое деревцо с пышной малиновой листвой, среди которой, словно светлячки нуи, мерцали янтарные овальные динды. Удыбнувшись, Линд протянул руку и сорвал свой любимый плод. Он был так нежен, что заметно приплюснулся, когда лег на ладонь. Сквозь прозрачную кожуцу хорошо видна была волокнистая структура зеленоватой мякоти. Линд поднес плод ко рту, прокусил кожуцу и, смакуя каждый глоток, выпил содержимое. Оно было восхитительным, но, хм, несколько сладковатым. Конечно, это сюрприз Зикки! Славная девушка, способный модельер, но... Молодость, молодость! Она все переслащивает, даже собственные

творения. Линд спрятал кожуцу плода в карман и продолжил свой путь.

Остановившись перед розовой стеной институтского здания, Линд вспомнил кодовую фигуру — гиперболический параболоид, проткнутый конусом. Розовая стена послушно растаяла, образовав изящный проем, сквозь который Линд и прошел в вестибюль. Воздух здесь был свеж и отливал золотом, он совсем не был похож на парной синеватый студень наружной атмосферы. С наслаждением вдыхая этот живительный воздух, Линд поднялся на второй этаж и оказался в зале собраний. Сотрудники института, лучшие модельеры республики, встали, приветствуя его. Линд уточнил дневные задания, распределил сроки консультаций и закрыл утреннее совещание. Когда модельеры стали расходиться, он взглядом остановил Зикку.

— Динда — ваше творение? — спросил он с улыбкой.

— Да, — ответила она, голубея от смущения. — А как вы догадались?

Линд усмехнулся.

— Когда станете главным модельером, сами будете догадываться о многом таком, что сейчас вам и в голову не приходит.

Она восприняла это как шутку, засмеялась. Линд вынул из кармана кожуцу плода. В его руке она превратилась в сказочный цветок, переливающийся всеми оттенками красной части спектра.

— О-о! — только и смогла сказать Зикка, принимая подарок.

Линд серьезно взглянул на нее.

— Видите, Зикка, я все же догадался, что диида — модель.

Девушка недоверчиво взглянула на него.

— Все прекрасно, — продолжал Линд, — цвет, форма, запахи... Но вот вкус...

— Вкус?

— Да, вас подвел самый простой для моделирования фактор — вкус. Плод слишком сладок.

Линд дружески прикоснулся к руке девушки:

— Скажу вам по секрету, в молодости я сам нередко переслащивал свои творения, хотя и не подозревал об этом. Не огорчайтесь, с возрастом это проходит.

В кабинете Линд критически огляделся, привел окраску стен в соответствие с нынешним настроением, сел в кресло, приказав ему удобно облечь тело, достал из сейфа герметик с моделином и ненадолго задумался. Хотелось пить. Линд отщипнул крошку моделина, рассеянно превратил ее в большой стакан с прохладным соком дииды. Пригубил. Вот каким должен быть вкус, надо бы пригласить на дегустацию Зикку, но не время. Линд посмотрел сок на свет, вспенил его хорошей порцией углекислоты и залпом выпил. Потом вызвал на консультацию Атта, у которого уже третий день не ладилось с компоновкой хронодвигателя. Смоделировав двигатель в одну десятую натуральной величины, они целый час перекрашивали его на разные лады, ругались, пока не пришли наконец к общему мнению, впрочем, оба остались несколько неудовлет-

воренными. Затем пришлось возиться с проектом нового космодрома, потом... Потом Линда вдруг вызвали по срочной линии спецсвязи. Говорил начальник службы внешней информации планеты.

— Нам надо поговорить, Линд. Я сейчас буду у тебя.

Через секунду в комнате раздался звук лопнувшей басовой струны, шар повис над креслом и, мелко дрожа, обрел форму свободно сидящего сапиенса.

Линд знал, что перед ним сидит не настоящий Тилл, а его точная полуавтономная копия, но он воспринимал модель как самого настоящего Тилла.

— Линд, — проговорил между тем Тилл, дружески наклоняясь к собеседнику, — несколько минут тому назад мы снова обнаружили космический корабль двуногих псевдосапиенсов.

— Это же настоящая сенсация! Корабль далеко?

Тилл горделиво улыбнулся.

— Около сорока световых лет.

— Как же вы его достали? — удивился Линд.

— Разве ты не знаешь двуногих? Они же идут напролом, в лобовую, на скорости в двести световых! Бедное пространство-время трещит по всем швам, шум на всю галактику, а им хоть бы что. Варвары, да и только! В общем, мы их достали и поддерживаем контакт.

Линд с сомнением покачал головой.

— Варвары! А давно ли мы, сапиенсы, начали сами ходить на

сверхсвете? Может быть, они не такие уж варвары?

— На сверхсвете, а слепые, как новорожденные хити. Упрямо не замечают самых четких информационных сигналов. В следующий раз попробуем заэкранировать по их курсу одну из звезд. Уж такой-то феномен они должны заметить! Но это дело будущего, а пока...

Тилл улыбнулся и выразительно посмотрел на главного модельера.

— Прямой контакт? — уточнил Линд.

Тилл отрицательно качнул головой.

— Для прямого контакта слишком велико расстояние, да и ультраходов нет свободных, все на заданиях.

— Опять самоформирующаяся модель? — спросил Линд, не скрывая скептицизма.

— А что же делать? Упустить такой случай — преступление. Мы даже не знаем, откуда эти варвары.

— Да ведь уже сколько раз пробовали с ними самоформирование. Ничего же не получается!

— Надо пробовать еще, — упрямо сказал Тилл. — Может быть, на этот раз на корабле истинные разумные, а не их двуногие слуги, которые только и умеют, что носиться по галактике сломя голову.

Линд ненадолго задумался, потом мягко сказал:

— Хорошо, Тилл. Я понимаю всю важность этого контакта, а поэтому сам займусь программированием модели.

— Вот за это спасибо, Линд! Не теряй времени.

Тилл улыбнулся, приветственно помахал рукой, затуманился, подернулся рябью и превратился в матовый белый шар.

2

Из института Линд и Зикка возвращались вместе. Теперь Линд вел тейнер на прогулочной скорости, и густой воздух, обтекающий корпус машины, уже не жужжал сердито, а только сонно мурлыкал.

— Наверное, у вас была сегодня интересная работа, — сказала Зикка, не глядя на Линда, — вы целый день не выходили из кабинета.

— Да, это был интересный эксперимент. Завтра я расскажу о нем на утреннем совещании.

— Конечно, никогда не следует торопиться.

Линд бросил на нее быстрый взгляд.

— Я вовсе не имел в виду вас, Зикка. Смешно было бы заставлять вас ждать до завтра.

Главный модельер замолчал. Он вел тейнер над kloкочущей рекой. Когда тейнер выбрался на другой берег, Линд сказал:

— Сегодня утром в сорока световых годах служба внешней информации обнаружила еще один сверхсветовой корабль псевдоразумных. Мы снова попытались войти с ними в контакт, и опять неудачно. На наши сигналы они, по своему обыкновению, не отвечали. Не то они их не замечают,

не то не понимают, не то просто не желают отвечать. Пришлось прибегнуть к самоформирующейся модели. Я запрограммировал ее со всей возможной тщательностью.

— Представляю, какая это была адова работа, — сочувственно сказала Зикка.

— Да, — усмехнулся Линд, — работа была не из легких.

— А результат?

— Как обычно, — в голосе Линда звучала легкая досада, — двуногим были продемонстрированы все этапы разумной созидательной деятельности: шаровая протоформа, ее воплощение в простейшие неодушевленные предметы, а потом и высший этап — моделирование живых существ. Помня, с каким ужасом относятся двуногие к незнакомым животным и даже абстрактным моделям живого, я поставил задачу на моделирование самого двуногого.

— Разумно, — одобрила Зикка.

— Пришлось довольно долго ждать, пока один из двуногих уединится и успокоится. Вы же знаете, в присутствии нескольких особей из-за интерференции информации получают не модели, а убудки. Сеанс прошел как нельзя лучше. И все зря!

Два первых этапа двуногий принял спокойно. Но как только начался высший этап моделирования, все пошло стандартным путем. Обычная животная реакция: недоумение, испуг, ужас, истерика, паническое бегство. В голове бредовая каша из сильнейших

эмоций, эмбриональных попыток мышления и простейших инстинктов.

Линд помолчал и с оттенком сожаления добавил:

— Я еще раз убедился, что двуногие не сапиенсы, а всего лишь слуги какой-то молодой, бурно развивающейся цивилизации. Что-то вроде наших эффов, которых мы применяли для подсобных работ, когда еще не умели моделировать жизнь. По-видимому, у двуногих жесткая программа действий, которую они слепо выполняют, а что сверх того — их просто не касается или пугает. Одного не пойму: почему их повелители сами не выходят в космос? Излишняя осторожность обычно не свойственна молодым цивилизациям, да еще с таким будущим.

— А почему вы считаете, что у этой цивилизации большое будущее? — полюбопытствовала Зикка.

Линд с улыбкой взглянул на нее.

— А знаете ли вы, с какой скоростью шел их корабль?

Он сделал паузу, чтобы эффект был ошутимее, и веско сказал:

— Двести световых! И я уверен, что они могут идти, по крайней мере, еще вдвое быстрее. Пространство-время буквально трещит, а им хоть бы что. Тилл называет их варварами.

— Может быть, они и варвары, — задумчиво сказала Зикка, — но они молодцы. Они мне нравятся. Я люблю, когда трещит пространство-время.

«Вот что значит молодость!» — с завистью подумал Линд, а вслух сказал:

— Будь они настоящими молодцами, они бы сами вышли в космос, а не стали бы прятаться за спины псевдоразумных двуногих.

Они некоторое время молчали.

— Линд, — вдруг робко сказала Зикка, — а может быть, двуногие все же разумны? Ну пусть не так, как мы, но по-другому.

Линд ответил не сразу.

— И мне приходили в голову такие мысли, Зикка. Однако надо трезво смотреть на вещи. Основным качеством разума является способность мысленного моделирования. Без этого не может возникнуть настоящая цивилизация. А двуногих моделирование приводит в ужас, как и всех других животных.

— Они могут творить не силою мысли, а руками, как творили наши далекие предки, — не сдавалась Зикка.

Линд задумчиво улыбнулся.

— Творить руками! Как давно это было... Уже много тысячелетий в нашем мире властвует творческая мысль. Почти все окружающее создано или облагорожено этой могучей силой. А многое ли можно сделать руками?

— Руками много не сделаешь. Но ведь руки можно вооружить механизмами! — упрямо возразила Зикка.

— Какими сложными и громоздкими должны быть эти механизмы! Сколько дополнительных

сил и материалов надо израсходовать, чтобы творить таким примитивным образом. Насколько экономичнее, наконец, мысленное моделирование.

— Но моделин в естественном виде встречается так редко! Мы наткнулись на него случайно, нам просто повезло.

— Разум встречается еще реже, — строго сказал Линд.

Зикка не ответила. Некоторое время они ехали молча, стараясь преодолеть вдруг возникшее отчуждение. Потом Линд мягко сказал:

— Я понимаю твои сомнения, Зикка. Да, руками можно сделать многое. Но ведь руками, лапами, щупальцами, клювами, челюстями творят не только сапиенсы, но и самые примитивные животные. Вспомни воздушные мосты пиффов или гнезда роков, разве это не чудеса из чудес? И все-таки самого гениального пиффа от самого примитивного сапиенса отделяет непроходимая пропасть — только сапиенс может творить силою мысли!

— Наверное, вы правы, Линд, — покорно сказала Зикка, — вы говорите очевидные истины. Но сколько раз уже самые очевидные истины шатались и рушились под напором познания!

Она повела вокруг себя рукой и тихо добавила:

— Ведь мир велик, Линд, а мы знаем так мало!

— Да, — в голосе главного модельера прозвучала нотка грусти, — мир велик.

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

пространство жизни

Все произошло очень быстро.

Крафт еще бежал что есть силы по откосу вниз, а один из них уже лежал на траве навзничь, другой же, склонившись, вглядывался в лицо своей жертвы с выражением, в котором не было ничего, кроме любопытства.

— Вы арестованы! — крикнул Крафт, подбегая.

Незнакомец и не думал скрываться. Он медленно обернулся, равнодушно скользнул взглядом по напряженной фигуре Крафта и зажатому в его руке браунингу.

Крафт потрогал у лежащего пульс, с минуту прислушивался к жуткой тишине в его грудной клетке, наконец спросил сурово:

— Почему вы убили этого человека?

— Тут две неправды сразу, — сухо ответил незнакомец. — Я не убил его, и вряд ли он человек.

Носком ботинка он дотронулся до лба убитого, потом, поколебавшись, присел, вынул нечто вроде циркуля и быстро измерил несколько расстояний на его лице, пробормотав при этом:

— Ну конечно. Лицевой угол почти не изменился.

Крафт не торопил арестованного. С любопытством наблюдал он, как тот развернул ладонь убитого, внимательно всмотрелся в нее, несколько раз оттянув большой палец, потом встал, аккуратно отряхнул колени и с кривой усмешкой сказал, обращаясь к убитому:

— До скорой встречи.

Крафт узнавал черты раза два встречавшейся ему редкой формы

мгновенного умоисступления, в которое впадает преступник тотчас после убийства, если смерть еще не стала его ремеслом. Это помутнение рассудка быстро сменяется прояснением, когда преступник оказывается во власти бурного и самого искреннего раскаяния.

Убийца, однако, не обнаружил ни малейших признаков раскаяния! Он утратил, казалось, всякий интерес к своей жертве и погружился в размышления. Убийца, высокий человек лет тридцати трех, усталый и бледный, первым прервал молчание. Он посоветовал Крафту не хлопотать насчет охраны труп.

— Все равно через час его здесь не будет, — сказал он и вяло махнул рукой. — Впрочем, как знаете.

Этот час им пришлось провести у трупа вдвоем. Крафт ждал, когда хоть кто-нибудь появится на дороге, но место было безлюдное. Оба сидели молча, причем убийца — спиной к месту преступления, а Крафт глаз не сводил с трупа — он никогда не пренебрегал предостережениями, сорвавшимися с губ самих преступников. Момент, в который Крафт обнаружил, что труп, лежащий в двух метрах от него, исчез и даже трава на этом месте не примята, принес с собой одно из самых сильных потрясений в его жизни. Он хотел броситься к ближайшим кустам, но вовремя одумался. Кусты были не ближе чем в ста метрах. Убийца сидел на прежнем месте совсем неподвижно, не обнаружив никакого интереса к то-

му, что произошло за его спиной. Оставалось предположить, что труп поглотила земля.

По прошествии пяти минут Крафт был вполне подготовлен к тому, чтобы молча последовать за преступником, спокойно пригласившим его к себе. Крафт плелся сзади, бессмысленно поглядывая на ноги идущего впереди. За всю дорогу не было сказано ни слова. В небольшом двухэтажном доме, в кабинете, выдававшем антропологические интересы хозяина, Крафт сел в глубокое кресло, а тот — на кожаный диван, бесильно откинувшись на спинку.

— Вы, как я вижу, поняли, что арестовывать меня бессмысленно, — сказал убийца. — Не ждите от меня объяснений по поводу дела. Право, оно не стоит длинного разговора, и я не за тем пригласил вас. Я хочу обратиться к вам с просьбой. Завтра меня здесь не будет. К сожалению, я не могу взять с собой свои рукописи. Но мне хотелось бы сохранить их. В свое время я дважды обращался с такой просьбой. Но оба раза бумаги мои потом так и не отыскились. Сколько вам лет, простите мой вопрос?

Крафту еще не было тридцати восьми, и это, видимо, вполне устроило собеседника. Он коротко пояснил, что надеется прийти за рукописью не раньше чем через тридцать лет, а может быть, и позже, что их содержание — антропологические изыскания, которые он, к глубокому своему горю, не успел довести до конца, хотя еще недавно надеялся на это. Он по-

нимает, каким странным выглядит для Крафта его поведение, однако просит поверить, что он отнюдь не преступник, что там, у реки, он защищал свою жизнь и, самое главное, не сделал ничего плохого тому, кого Крафт видел убитым.

В последующие недели Крафт был занят главным образом тем, что десятки раз на дню задавал себе один и тот же вопрос: как мог он, человек, состоящий на государственной службе, спокойно предоставить возможность побега опасному преступнику да еще взять у него на хранение бумаги? И все это лишь потому, что преступнику удалось скрыть или уничтожить труп каким-то еще неизвестным криминалистике способом!

Шум, вызванный одновременным исчезновением из города двух людей, скоро улегся, их дела легли в архив. Никто не узнал, что Крафт накануне был в доме одного из исчезнувших. Никто никогда не задавал ему никаких вопросов. Однако сам свидетель преступления счел свою честь запятанной и в тот же год ушел из полиции.

У него образовалось много досуга. Не удивительно, что, в конце концов, Крафт обратился к рукописи человека, сообщником которого он стал по собственной воле. В тот день на вопрос Крафта об имени незнакомец ответил: «Я называю себя Фэст» *.

Бумаги и имя — и то вряд ли подлинное, — теперь это было

все, что осталось Крафту от человека, так резко изменившего его судьбу.

Бумаги содержали подробные и доскональные исследования, основанные на огромном количестве фактов. Нет смысла подробно рассказывать о том, как с годами Крафт все глубже и глубже уходил в область антропологии и смежных наук и как для него стало наконец очевидным, что исследования Фэста были уникальны. Их автор полностью отбавил в стороне матернал раскопок и всевозможных находок в пещерах Старого и Нового Света. Он пользовался какими-то иными, одному ему известными данными, которые дали ему возможность возвести стройное здание смелых догадок об эволюции человека за 50 тысяч лет его развития. Строго говоря, это уже была не антропология, а нечто близкое к науке о человеке в целом. Крафта особенно поражала равная свобода автора в описании быта и пещерных людей, и европейца эпохи Возрождения. Жесты, походка, низкий отрывистый смех женщин эпохи неолита были описаны с такой непринужденной осведомленностью, которая пристала разве что их современнику. Многие страницы были написаны как бы пером блестящего романиста.

То, что специалисту показалось бы в лучшем случае непозволительным верхоглядством, совсем в другом свете представилось Крафту. Особенное внимание к второстепенным деталям, не раз приносившее ему успех в рассле-

* От англ. „first“ — первый. (Прим. автора.)

довании темных дел, пришло на помощь и здесь, в малоизвестной для него области. Крафт решил, наконец, пойти по следу.

Надо было заняться биографией Фэста. В архиве полиции сведений оказалось достаточно. Фэст был врач с очень ограниченной практикой. Он появился в городе пять лет назад. За все пять лет ни разу не выезжал в другие города и страны. У него не было ни жены, ни детей. Круг знакомых его был ограничен. Он ходил по городу только пешком.

Среди этих фактов один обратил на себя сугубое внимание Крафта. Почему этот хорошо обеспеченный человек, имеющий много свободного времени, никуда не ездил? Крафт занялся кропотливой реконструкцией его маршрутов в черте города и пришел к любопытным выводам. Перемещения Фэста внутри города укладывались в четкий прямоугольник, одним из оснований которого была долина той окаймлявшей город с запада реки, у которой они когда-то встретились над безжизненным телом. Расстояние между северным и южным основаниями не превышало двух километров. Фэст никогда не бывал на южной окраине города. Город был для этого человека своеобразной тюрьмой, в которую он был заключен своей собственной или неведомо чьей волей.

Тайна разрасталась, и смутно брезжащая разгадка пугала Крафта своей невероятностью. В архиве полиции он отыскал еще три дела «об исчезновении жителя го-

рода». Самое давнее из них было заведено 150 лет назад. Обстоятельства всех трех дел были сходны. Люди исчезали ночью, без вещей, и никто никогда их не видел более. Крафт нашел много общего и в незначительных по видимости подробностях этих дел. Он мог бы поставить сто против одного, что исчезало всякий раз одно и то же лицо. Когда странная гипотеза была разработана Крафтом почти до конца, началась история с планетой Нерейдой, надолго захватившая его, а потом и другие дела, до отказа заполнившие последующие двадцать лет его жизни.

За эти годы город изменился. На месте дома Фэста давно был городской бассейн. Крафт тоже дважды сменил свое жилье.

К старости Крафт особенно любил небольшой, но уютный бар, выстроенный лет десять назад в долине реки в хорошо памятном ему месте. Кроме хорошего пива, которое там подавали, и недурного названия «На краю света», было еще одно притягательное для Крафта обстоятельство: если бы Фэсту действительно вздумалось появиться еще раз в их городе, то, по гипотезе Крафта, он должен был появиться именно здесь.

Так и случилось однажды. В тихий октябрьский вечер Фэст возник на пороге бара внезапно, будто вышел из стены. Он нерешительно топтался у двери, оглядываясь кругом, как бы не в силах решить, в какую сторону надлежит ему сделать первый шаг.

Несмотря на свои 67 лет, Крафт

сохранил не только ясность ума, но и силу духа. Ему понадобилось немного времени, чтобы справиться с собой. В сущности, он увидел то, что и ожидал, — Фэст нимало не изменился за истекшие тридцать лет. Крафт махнул ему рукой, и Фэст тотчас направился к его столу, пристально всматриваясь в Крафта.

— Это вы, дорогой друг, — сказал он тихо. — Случайно ли я застал вас здесь или вы ожидали меня?

— Я ждал вас, — твердо сказал Крафт. — Я ждал, что вы расскажете мне все и снимете, наконец, этот груз с моей души. Ваши рукописи целы. Как видите, я стар, мне не прожить долго, и плата, которую я требую у вас, право, не так уж велика.

— Я тоже стар, — сказал Фэст, — и путь мой тоже кончается. Мне было бы печально уйти навсегда, никому не рассказав о себе. Не буду многословным. Все может быть выражено двумя словами. Вы конечны во времени, а я конечен в пространстве, вот и все.

Спокойные серые глаза Фэста глянули на Крафта, и Крафт, бледнея, кивнул ему головой.

— Во времени мой путь в прошлом гораздо длиннее вашего, а в будущем — бесконечен. В пространстве он много короче вашего. Так же, как вы, я неуклонно приближаюсь к уничтожению — к тому, что вы называете смертью.

— Там, за рекой? — спросил Крафт, и Фэст кивнул ему.

— Да, наверное, это произойдет там. Во всяком случае, не дальше,

чем за башнями старой городской заставы. Их мне не пережить — так же, как вам, вероятнее всего, не пережить столетнего возраста. Мне осталось метров триста в длину и пятьдесят в ширину. Правда, время всегда течет плавно, и самый несчастный ваш день тянется ровно столько часов, сколько любой другой, а пространство порою сжимается рывками. Неожиданно видишь, что его осталось меньше, чем ты рассчитывал.

— И что вы делаете тогда?

— Ухожу в другое время. Сдерживать сокращение пространства я не могу, как вы не в силах сдерживать бег времени. Но вам дано удлинять свою жизнь за счет пространства. «Он прожил не одну, а добрый десяток жизней», — говорят вы о человеке, поколесившем по земле. К тому же в запасе у вас и другие планеты. Я же «удлиняю» свою жизнь за счет времени. Я прожил бесчисленное количество жизней, но все они уместились на маленьком пятачке земли, за который мне никогда не суждено вырваться.

Оглушенный последними словами, Крафт не сразу сумел прервать молчание. Он спросил, далеки ли бывают путешествия Фэста.

— Как угодно далеки, — отвечал Фэст. — Можно вернуться и в свое прежнее время — «постаревшее» ровно на столько лет, сколько я прожил в другом времени, — и еще застать живыми знакомых людей... Но обычно я не делаю этого. Однажды, вернувшись слишком рано — но все же позже, чем сейчас, — я успел

увидеть больную и дряхлую старуху. Я любил ее когда-то, и у нас была дочь. Мне пришлось встретиться и с дочерью. Это была красивая женщина, по виду старше меня лет на пятнадцать. Когда нас зякомили, она сказала, что я ей напоминаю ее отца, который был так же красив и элегантен. И я, признаться, был рад, что моя Эллен не забыла меня совсем.

— Но неужели вас никогда не узнавали? Ведь вы могли бы снова оказаться в кругу своих родных, близких...

Фэст улыбнулся.

— Об этом смешно и говорить. Кто же нынче верит в чудеса? Сопоставление даже самых выразительных, самых очевидных фактов едва ли может кого-либо завести так далеко, как рискуете заходить вы, дорогой Крафт. Вы первый известный мне человек, прямо взглянувший в глаза очевидному, как бы оно ни противоречило общепринятому. О каких близких вы говорите, дорогой друг? Что бы сказали в нашем городе о сравнительно молодом человеке, который остановил бы сейчас на улице всеми уважаемого доктора Вернье, наверно, уже отметившего свое семидесятипятилетие, и, тряся старика за согрбленные плечи, стал уверять его, что он, Вернье, сын этого молокососа?

Упало молчание, и Крафт, поглядев на Фэста, удержал ненужный вопрос.

— Далекое прошлое? Бог с ним, — снова заговорил Фэст. — Признаюсь, меня трясет от одной мысли вновь оказаться среди ва-

ших пращуров, увидеть вновь пещеры и гигантские деревья вот здесь, на месте города, который за последние несколько веков стал почти моим... Нет, меня не тянет назад. Единственное, чего я желал бы, — это вновь оказаться в войске великого Цезаря. Но и то мне, наверное, было бы грустно теперь сражаться против галлов, — улыбнулся Фэст.

Они сидели у окна, и Фэст поглядывал в сторону старых башен точь-в-точь с тем выражением, с каким пожилые люди поглядывают в сторону кладбища. Острая жалость к этому человеку, по-видимому, единственному ровеснику человечества, сокрушила Крафта. Его собственная жизнь показалась ему вдруг вовсе ничтожной рядом с человеком, вынесшим на своих плечах все тяготы, сопровождавшие жизнь бесчисленных поколений, сменивших друг друга за ушедшие тысячелетия. Крафт начинал уже понимать, что в том, что жизнь Фэста измерялась не годами, а десятками метров, было мало утешительного.

— Говард, Пелье и Фослер, исчезнувшие в свое время из города, — это были вы? — спросил Крафт.

— Да, я, — ответил Фэст спокойно, — и каждый раз не по своей воле. Меня подстерегают свои опасности. Я говорил уже, что так же, как вы, я не свободен от случайностей. Например, однажды, кажется, в начале прошлого века, я имел неосторожность взять экипаж. Дом, куда я спешил, стоял на давно уже пройденной мною точке.

Но возница был пьян и прочтал меня вперед метров на десять — на расстояние, которое весьма существенно сократило мою жизнь. Попробовать остановить экипаж не было времени. Я выскочил на полном ходу, отделавшись переломом ноги. С тех пор я никогда не езжу. Это оказалось для меня слишком дорогим удовольствием. Но настоящий враг у меня только один.

— Не тот ли, с которым вы схватились тогда у реки? — острожно спросил Крафт.

— Да, это был он, Сэксанд*. Он такой же, как я, но между нами одно отличие. Он появился позже меня и с некоторыми поправками, сближающими его с родом человеческим. Как вы не знаете, что стрясется с вами завтра, так и он не знает, что стрясется с ним на следующем метре пространства и в какое время он будет заброшен. Какая-то посторонняя сила управляет им, неожиданно вырывая его из времени по собственному произволу. Ему, конечно, гораздо легче, чем мне. Ему не надо самому принимать решение уйти от близких тебе людей в другое время, где найдешь, быть может, пустыню или горы трупов на знакомом месте. Но этот идиот полагает, что самому управлять временем — огромное благо, которого он незаслуженно лишен. В тот раз он кинулся на меня неожиданно и потащил к реке. Ему удалось отнять у меня пять метров жизни, и мне сразу пришлось уходить.

Не знаю, зачем ему это было нужно. Он не мог не узнать меня. Мы редко встречаемся, но всегда узнаем друг друга с первого взгляда.

— Куда же он исчез тогда?

— Мой удар отправил его в другое время, вот и все. Быть может, сейчас он находится на этом же самом месте с нашими праправнуками.

Крафт вздрогнул и окинул взглядом опустевший бар. На мгновение ему померещились силуэты этих еще не родившихся людей, молча размещившихся тут же, неподалеку от них.

— Может быть, и другое, — сказал Фэст, и темная тень легла на его лицо. — Он путешествует по времени и вперед и назад. В тот раз он, видимо, вернулся из далекого прошлого. Вы не можете представить себе, как ужасно было увидеть на обычном европейском лице страшный оскал неандертальца. Тогда я и ударил его...

— Как все это ужасно, — тихо проговорил Крафт. — Вас только двое, и вы — враги, да еще вынужденные встречаться.

— Что делать? Мы с Сэксандом оказались на одном и том же пространстве, вы живете со своими врагами в одном и том же времени. Все это не так уж важно. Ужасно другое — постоянное ощущение конечности пространства, беспрестанное приближение к конечной точке, те жалкие десятки метров, которые мне остались.

* От англ. „second“ — второй.

Крафт решился, наконец, задать последний вопрос.

— Вы тоже боитесь смерти?

Фэст опустил голову.

— Но разве вы знаете о ней что-нибудь?

— Ничего.

— Я всегда думал, что страх смерти рожден тем, что мы о ней знаем.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал Фэст взволнованно. — Я сам препарировал трупы и хорошо представляю себе, как выглядит человек, окончивший свой путь во времени. Но страшно даже помыслить о том, что будет со мною, когда не останется больше пространства...

Бар уже запирали, и они вышли на воздух. У дома Крафта они распрощались. Фэст взял часть своих рукописей и ушел в надежде снять дом в этот же вечер и на завтра вновь встретиться с Крафтом.

Крафт долго не мог заснуть в эту ночь. Он думал о том, какое неслыханное счастье выпало

ему. Остаток дней он проведет в беседах с человеком, повидавшим такое, что не записано еще ни в каких книгах земли.

Наутро Фэст не пришел. К обеду Крафт вышел из дому и, купив одну из утренних газет, сразу увидел сообщение о неизвестном молодом человеке, который проходил вчера вечером по одной из улиц северной части города и был сбит экипажем. Возница подобрал пострадавшего (тот потерял сознание) и повез его в городскую больницу. Когда экипаж остановился у ее подъезда, в ней никого не было. Тщательный осмотр местности ничего не дал. Удалось обнаружить лишь окровавленную папку бумаг с рисунками костей и черепов, очевидно, принадлежащую потерпевшему. Тело ее владельца, по-видимому, свалилось с моста, через который экипаж проехал по пути, в реку и было унесено течением.

Крафт вздрогнул и снял шляпу. Он понял, что Первый из людей окончил свой путь.





1. 1. 1.

1. 1. 1.

1.

1.

1.

1.

1. 1.

1.

1.

1.

великое кольцо будущего

ИНТЕРВЬЮ С И. А. ЕФРЕМОВЫМ

— **ИВАН АНТОНОВИЧ, КАКОВЫ НА ВАШ ВЗГЛЯД, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРЯДУЩЕГО?**

— Прежде всего я должен сказать, что не берусь решать всеобщие проблемы, которые встают перед нами, когда мы думаем о коммунистическом обществе.

Для меня социально-экономические проблемы будущих десятилетий, столетий, даже тысячелетий неотъемлемы от психологических проблем. Почему? Мир раздираем великим множеством великих и малых противоречий, решение которых не под силу человеку, некоммунистически воспитанному. Коммунистическое воспитание — вовсе не социальная надстройка, как мы думали раньше. Это производительная сила общества. Подобно тому, как экран мгновенно увеличивает изображение в кинопроекторе, такое воспитание позволит во много раз повысить производительные силы будущего общества. Каким образом? Прежде всего отсутствием многоступенчатой системы контроля. Ставя пределы, лимитируя предприимчивость и инициативу, мы неизменно убиваем в зародыше самостоятельность мышления, как, может быть, и полет фантазии. Самоконтроль, самосовершенствование, самовоспитание снимут целый ряд заградительных барьеров.

Некоторые экономические проблемы, кажущиеся очень важными сегодня, на деле всего лишь вопрос экономических излишеств, конечно, для высокоразвитых

стран. Ежегодные эпидемии смены одежды, погоня за модными вещами как естественное следствие боязни показаться консервативным во вкусах, тысячи сортов вин, яств, напитков — весь этот современный антураж вовсе не обязательно захватывать с собой в поезд, следующий по маршруту «настоящее — будущее». Пока еще подобные блага скрашивают бытие, но в дальнейшем, когда жизнь наша станет значительно интереснее, мне кажется, что «пищевкусовые» и «модные» проблемы постепенно отомрут.

— А НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТО СО ВРЕМЕНЕМ К НЕКОТОРОМУ АСКЕТИЗМУ ОБЩЕСТВА?

— Некоторый аскетизм не такое уж страшное зло, как многим кажется. Человек должен самоограничивать себя. Попробуйте, хотя бы мысленно, подарить обывателю пятисотсильный «фиат» из чистого серебра. Неплохо бы получить золотой или платиновый, изречет обыватель. Потом пожалуется на неравенство: у соседа мебель черного дерева, а у него только, мол, красного... И так далее до бесконечности, ибо такого рода запросам предела нет. Тут даже у доброго джинна из сказки опустились бы руки. Следовательно, дело не в том, чтобы насытить мир предметами роскоши, но в том, чтобы переводить потребности человека на все более и более высокую духовную ступень. Чтобы он мог легко обойтись без модной побрякушки, без

тряпья, без изысканных коктейлей, без менее изысканных горячительных напитков, но чтобы он задышался от жажды воплотить в образы слова, звуки, краски. От жажды творчества.

Эта проблема двусторонняя: мы должны наращивать аскетизм по мелким потребностям и наращивать потребности в более высоком, я бы сказал, высшем плане.

Тем более что пределов этим «высшим» потребностям нет и никогда не будет. Чем можно ограничить стремление отыскать во вселенной живые мыслящие существа? Едва постигнув мыслью туманность Андромеды, я невольно стремлюсь дальше, уже мне хочется объять Галактику, несущую на Землю свет из чудовищной дали 150 миллионов парсек. Кому бы не хотелось вырваться из пределов земного, солнечного, галактического тяготения? Кого не будоражат идеи иных, неземных форм существования? Примем за истину (как оно, очевидно, и есть), что мы сейчас стоим на краю бесконечности — бесконечности в смысле множественности миров, огромного количества явлений и, значит, беспредельности познания. Следовательно, у нас, у разумных существ, обживающих Землю, неисчерпаемая возможность для удовлетворения наших духовных потребностей. И если, реализуя эту возможность, мы станем вдобавок ко всему пропускать слова, звуки и краски сквозь свое сердце, превращать «затертые акты бытия» в явления искусства, тогда и само

искусство будет многогранным, бесконечным, как вселенная.

— СКАЖИТЕ, ОТРАЗИТСЯ ЛИ КАЧЕСТВЕННОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ, О КОТОРОМ ВЫ УПОМЯНУЛИ, НА СЕМЬЕ БУДУЩЕГО, НА ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВ?

— Мне представляется абсолютно неизбежным расширение семьи. Расширение именно в том плане, о каком говорили классики марксизма. Как известно, они считали, что семья, эта экономическая ячейка, созданная в классовом обществе, будет тормозом при переходе к коммунизму, серьезной помехой на пути воспитания человека, который обладал бы нужными для коммунистического общества качествами. Так что будущее — за коллективным воспитанием, за воспитанием детей вне семьи, или, во всяком случае, на первой ступени, в расширенной семье. Кстати, нечто подобное уже существует на нашей планете. Достаточно вспомнить родовые обычаи Полинезии, где дети как бы принадлежат не только непосредственно отцу с матерью, но и дядям, тетям как по материнской, так и по отцовской линии. Они гостят то в одной семье, то в другой, свободно путешествуя по островам Полинезии, и везде для них готов стол и дом. Нам это кажется странным, но в подобной расширенной семье ребята вырастают не только здоровыми и крепкими, но и отлично воспитанными (разумеет-

ся, я говорю о воспитании на уровне полинезийского общества).

Согласен: вовсе не обязательно, чтобы именно дяди и тети стали первой ступенью в коллективном воспитании. Главное, чтобы ребенок мог вырваться из узкого, ограниченного мирка своей семьи, чтобы он мог расти в товарищеском коллективе, чтобы имел возможность свободно переключаться из города в город, из квартиры в квартиру. Попробую расшифровать эту мысль.

Первостепенная задача общества будущего — выбить клин, который отделяет ребенка в семье от внешнего мира, позволяя ему думать о себе как о какой-то несколько привилегированной единице, претендующей на особые права. Так часто воспитываются агрессивные натуры параноидального склада. Если же, наоборот, мы постоянно одергиваем дитя, постоянно тычем ему в нос, что он делает все не то и не так, мы нередко воспитываем людей депрессивного склада, которые при малейших неудачах винят во всем сами себя и никого другого.

Сомнительно, чтобы человек вырос индивидуалистом, когда чуть ли не с первых дней своего существования в обществе он понял, осознал, что мамы и папы для него практически все женщины и мужчины, что абсолютно все соотечественники заботятся о нем.

А дальше — совсем уже трудно перейти к широкому коммунистическому воспитанию в больших школах, в таких, о каких

я мечтал в «Туманности Андромеды».

Теперь о воспитании чувств. В этой важнейшей области общественной жизни положение неблагоприятно. Мне кажется, в последние годы корабль человеческого общества дает все больший крен в сторону технических наук, технического образования. Мир одержим верой во всемогущество науки. Многим кажется, что наука и только наука разрешит в жизни решительно все вопросы.

Я бы согласился с этим, если бы была создана наука чувств, если бы существовала академия Горя и Радости. Увы, покамест научные дисциплины ограничиваются изучением чисто внешних проявлений человека, интересуются только конечными результатами его труда. Представьте себе, что ученый бьется над тайной искусственного получения белка. Какие прозрения осеняют его бессонными ночами! В какое отчаяние порою впадает он, когда после месяцев, лет, десятилетий мученического труда проблема по-прежнему не решена! И вот наконец победа (хотя чаще всего бывает наоборот). Что он чувствует? Он радуется? Он плачет? Для науки это не имеет никакого значения. На ее скрижалях эта трудная победа уже записана бесстрастным языком математических значков и формул.

«Не важны поиски, важны находки» — вот девиз современной науки, ее достоинство и ее огромный пробел. Нельзя не согласиться с лауреатом Ломоносов-

ской премии английским ученым С. Ф. Пауэллом, когда он с горечью пишет: «История науки — это не просто перечень великих открытий. Необходимо, чтобы история науки упоминала о провалах, неудачах исследований, с тем чтобы объяснить, почему некоторые из способнейших ученых потерпели неудачу в своих поисках и как репутация других приводила лишь к ошибкам».

Если говорить о науке как о воспитании личности, о ее влиянии на формирование психики нового человека, то это влияние очень однобокое. Наука, с одной стороны, дисциплинирует мышление, приучает к логике, к экономии мыслей, учит идти прямо к цели, не разбрасываясь. Но опять-таки диалектически она имеет свою оборотную сторону: наука прежде всего обедняет многогранность ощущения мира.

И вот результат, на мой взгляд, почти катастрофический: неожиданно для нас сложность мира превысила наши возможности накопления и хранения информации и ее обработки. Эта сложность мира до такой степени сейчас очевидна, что закрывать глаза на нее становится не так-то легко. Подсчитано: самый добросовестный, самый усидчивый человек не сможет прочесть за всю свою сознательную жизнь свыше 10—12 тысяч книг. Нечего и говорить, что ежегодные 200 тысяч печатных работ по химии, 90 тысяч по физике, около 120 тысяч по биологии совершенно неодолима для простого смертного система по-

лучения и хранения информации. Получается, что люди строят некую вавилонскую башню, и чем выше поднимаются ее этажи, тем она расходится все шире и шире. Конструкция современной науки представляет собой перевернутый конус, балансирующий на вершине. А это, как известно, чрезвычайно неустойчивое сооружение. И оно очень скоро рухнет, если человечество не научится не только углубляться в детали вещей, но и обобщать информационные капризы-то новыми методами.

Теперь вернемся к вопросу о воспитании и образовании. Сколько бы ни пересматривали, ни сокращали разбухшие школьные программы, сколько бы ни дискутировали о дальнейших путях школьного образования, несомненно одно: мы пичкаем наших детей массой бесполезных сведений, чудовищно перегружая детский мозг. Конечно, объемистый человеческий мозг может усвоить и гораздо большее, но обидно, что все эти начальные премудрости, ради которых ребята сидят в тесных классах по целому десятилетию, на 80 процентов бесполезны. Они никому не нужны и навсегда забываются тотчас же вслед за выпускным балом.

Вспоминаю себя: благодаря очень хорошей памяти я усвоил в школе довольно многое. Потом мне пришлось быть и горным инженером, и моряком, и геологом, и палеонтологом, и наконец я стал писателем. Но вся информация, вынесенная из школы, была полезна для меня лишь таблицей

умножения, тригонометрическими функциями, таблицей логарифмов и, конечно, знанием иностранного языка. В то же время множество самых разнообразных и важных практических сведений пришлось черпать из самой жизни, постоянно сожалея, что азы школы слишком сухи и величественны по сравнению с запросами действительности. Не берусь отыскать панацею от всех бед и проблем нынешнего образования, однако уверен: воспитание в будущем станет более универсальным и, главное, более гармоничным.

— ВЫ СКАЗАЛИ: ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ ИНФОРМАЦИИ УЖЕ ПОДПИРАЕТ СЕДЬМОЕ НЕБО. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭТОГО НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА?

— Я не открою ничего нового, если повторю: мир издревле противоречив. Но в XX веке эти противоречия разрастаются подобно цепной реакции. Растут ритм, динамика жизни, темпы информации, науки — прерывистый пульс планеты учащается. В этом стремительном поле всеобщей спешки многие проблемы очень часто оборачиваются для нас совсем не тем, чем они представлялись поначалу. Возьмем такую проблему, как, скажем, борьба с инфарктами, которые американцы называли «убийцей № 1». Лечение их, конечно, дело первостепенной важности. Однако врачи недаром говорят, что гораздо проще устра-

нить причину заболевания, чем тратить силы и средства на лечение. С этой гуманной точки зрения давайте посмотрим на «убийцу № 1» как на производную городского существования, как на зло сидячего образа жизни с большими нервными и физическими нагрузками. Эти стремительные перепады ритмов, эти заботы и тревожения, эти бесконечные изнуряющие рывки, чутко воспринимаемые нетренированным сердцем, — вот главная причина огромного количества заболеваний.

Выход один: только упорядочение физического развития может вообще снять необходимость проникать внутрь человеческой оболочки со скальпелем в руках, осушить реку лекарств, ежедневно выпиваемых на земном шаре. Конечно, я не противник лекарственных снадобий. Достаточно вспомнить, что именно эпоха пенициллина привела к исчезновению, во всяком случае сильному уменьшению, туберкулеза. Великолепные высокогорные санатории в Швейцарии ныне пустуют, а ведь всего полвека тому назад они были забиты до отказа чахоточными больными. Хочется надеяться, что подобная участь постигнет со временем все лечебные учреждения в мире.

— ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ГЛАВНОЕ В ПРОБЛЕМЕ «ЧЕЛОВЕК И МЕДИЦИНА»? КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕДИЦИНА В БУДУЩЕМ?

— Бесконечно более гуман-

ной — только такой представляется мне медицина грядущего. Я сам ученый, естествоиспытатель, но говорю слова о гуманности с некоторой горечью за нынешнее состояние дел в медицинской науке.

Со времен Гиппократова существовала непреложная, хотя и неписаная, заповедь: все болезни одинаково важны для врача. А теперь? Современная медицина все более и более становится, если хотите, спортивными гонками. Вытащить из когтей смерти задыхающегося пациента, продолжить ему жизнь, сделав в спортивном состязании с коллегой пересадку сердца, бросить огромную клинику на эту, вне всякого сомнения уникальную, операцию, заведомо идти на сенсацию, удивить мир, — разве так не бывает в медицинской науке? А тем временем тысячи, десятки тысяч людей где-нибудь в Индии страдают обыкновенной трахомой, умирают от брюшного тифа. Да что там брюшной тиф. При мне молодой человек скончался на операционном столе от... обыкновенного аппендицита. Потому что операцию, как якобы весьма легкую, пустяковую, поручили студенту. Разумеется, это единичный, из ряда вон выходящий случай, но и он говорит о многом.

Гуманность медицины в будущем должна быть связана прежде всего с психологией больного, с охраной человеческого достоинства, сознания и подсознания.

Заботится ли медицина о чистоте психологической атмосферы?

Человек заболел. Его раздражают боли, он мучается, какие-то фантазмагорические видения сотрясают его воспаленное воображение. Приезжает врач к больному, его хватают, швыряют на носилки, и вот уже завывающее механическое приспособление везет его в больницу. В больницу, в душную палату, к неумолимым процедурам, к лекарствам, к кличке «больной», которая отныне будет срываться с губ медсестры и с уст почтенного доктора: «Осторожней, больной!», «Разденьтесь догола, больной!», «Наклонитесь, больной!» А между тем больной чрезвычайно застенчив, ему мучительно стыдно раздеваться на виду у всей палаты, где в левом углу старик грызет сухарь, а в правом мужчина корчит-ся на «судне»...

Вы думаете, такого рода психологическое унижение пройдет для него бесследно? Не тут-то было. Он замкнется в себе, ожесточится, и нелегко будет вывести его из состояния душевной депрессии. Вот он лежит на своей кровати, слушает динамики, хрипящий весь день, глотает лекарства. А ведь вполне возможно, что гораздо важнее поддержать его силы в психическом отношении, поддержать уверенность, желание, стремление к радостям жизни. Быть может, это привело бы к лучшим результатам?

Или еще пример, имеющий самое непосредственное отношение к гуманности. Где-то в начале тридцатых годов я слышал от убоженного сединой профессора,

что будущее его науки — профилактика, что скальпель вот-вот отомрет.

Однако скальпель торжествует и поныне. Он давно уже стал истинной эмблемой медицины. Что ж, не возражаю: надо вторгаться в недра человеческого тела. Да вот беда: обезболивающие средства находятся чуть ли не на допотопном уровне. Морфий, героин, барбитураты? Еще древние египтяне и китайцы успешно делали операции, пользуясь этими средствами анестезии. Но ведь они немедленно входят в обмен веществ, они, как ржа, разъедают психические устои организма. Так будет продолжаться до тех пор, покуда не создадут препарат, который не входит в обмен веществ.

Медицине нужны новые пути, новые методы, нужен принципиально иной, психологический подход к проблеме сохранения нашего здоровья.

— КАК, ПО-ВАШЕМУ, БУДУТ РЕШАТЬСЯ ТАКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК СВОБОДА И ДОЛГ, ДОБРО И ЗЛО?

— Я не сомневаюсь, что одной из самых важных проблем, которая не снимется и у весьма отдаленных поколений, будет именно психологическое исследование мотивировки поступков и глубокий анализ их причин. Разумеется, не в порядке бихевиоризма, тут надо сразу отмежеваться. Существует такое течение, во многом смыкающееся с фрейдизмом, кото-

рое вообще оправдывает поведение человека, в том числе неблагоприятное. Оправдывает какими-то атавистическими инстинктами, какими-то древними психологическими пережитками, подсознательными эмоциями. Вспомним, сколько романов написано на тему о том, что каждый из нас низок, гадок, что в каждом из нас сидит убийца, что мы с трудом подавляем в себе изначальное желание убивать, разрушать, уничтожать.

Именно для того, чтобы парализовать все эти псевдоученые разговоры и мнимые научные обоснования, мы и должны разрабатывать свою психологическую науку, которая должна опираться на философское осмысление мира. Разрабатывать затем, чтобы показать человеку правильный путь развития своих склонностей, анализировать ошибки, устанавливать их причины и, так сказать, закрывать человека на ключ от всего дурного, аморального. Впрочем, однозначно тут ничего не решить. Да, конечно, еще не перевелись в мире высокоученые изуверы, высокообразованные преступники, маниакальные исследователи, которые ради своей науки готовы пожертвовать весьма многим. И мне не раз приходилось слышать такого рода рассуждения: ну, подумаешь там, пострадало несколько человек, зато выяснена такая-то проблема. Подобные разговоры бесчеловечны, аморальны с точки зрения коммунистического воспитания. Мне могут бросить упрек в морализаторстве, в суровости: бывают же, скажем,

случаи, когда исследователь во имя науки решает пожертвовать жизнью. Что ответить на это? Одно дело благородный порыв, подвиг на благо человечества. Но если кто-то позволяет себе решать вопросы жизни и смерти за других, если он считает себя правомочным на рискованный опыт или направление исследований, он независимо от чинов и званий аморален. Его надо психологически исследовать и постараться устранить те психопатические причины, которые сделали его бесчеловечным.

Разные ученые и мыслители в разные времена задавали себе и миру вопрос: каков критерий нормальной психологии? Творческий экстаз, фанатичная увлеченность любимым делом, одержимость гениальной идеей, — где здесь грань между нормальностью и психопатией?

Единственный критерий — общественное поведение человека. Его забота о ближнем, о счастье себе подобных существ. Все другое, что не связано с человеколюбием, — более или менее замаскированные честолюбивые устремления, завуалированный практицизм, растворенный в красивых словах эгонизм.

— КАКАЯ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ МОЖЕТ СОВРЕМЕНЕМ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОВЛИЯТЬ НА ХОД ИСТОРИИ?

— На первый взгляд может показаться: одна из чисто технических проблем (проникновение

в глубь атомного ядра, освоение космических просторов, производство синтетической пищи и т. д.). Но нельзя забывать, что технические проблемы имеют свойство подменять одна другую, то становятся глобально важными, то буквально сходят на нет. Поэтому я отвечаю так: всемерное расширение образования. Создание и использование мировой сети спутников, специальные программы телепередач, повсеместное внедрение книгопечатания, изобретение принципиально новых форм обучения (говорящие книги, гипнопедия, электронные учителя) — весь арсенал современной науки должен «работать» на искоренение неграмотности. Необразованный народ — материал для порабощения, сырье для роста фашизма и национализма. И главное оружие борьбы — образование, причем отнюдь не техническое, а гуманитарно-философское. Каждый человек любой расы, веры, национальности, вероисповедания имеет право, должен прикоснуться к тем непреходящим интеллектуальным ценностям, которые оставили нам великие умы минувших времен.

— КАКАЯ ИЗ ПРОБЛЕМ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЙ?

— Свобода и долг в любви. Этот вопрос опять-таки диалектичен, как и все в мире. С одной стороны, если говорить о чувствах свободного человека коммуни-

стического общества, любовь и отношения мужчины и женщины должны быть абсолютно свободны. Даже не связаны рамками семьи, потому что семья коммунистического общества — это брак двух любящих людей, свободных от экономических обязательств по отношению друг к другу. (Хочу повторить, что важнейшая предпосылка для создания подобного союза двух любящих сердец — коллективное воспитание детей — совершенно необходимая ступень к человеку будущего.)

Вместе с тем нельзя не думать о том, что такая свободная семья, как и всякая свобода, подразумевает ответственность, причем в очень широком плане. Нет, не в личном, не в отношении своего возлюбленного или своей возлюбленной. Речь идет об ответственности перед народом, государством, а поскольку я уверен, что коммунистическое общество охватит все человечество неизбежно, — то и перед человечеством.

Эта ответственность касается прежде всего вопросов рождаемости и генетической заботы о будущих поколениях.

Надо беречь генофонд человечества, то есть сумму генов, которая скрыта в человечестве.

Нет ничего печальней, чем жизнь человека с наследственными дефектами, слабого, несправимо больного, несчастного человека.

Вот почему высшим гуманизмом общества по отношению к паре любящих людей будет своевременная выдача информации

о наследственности, о целесообразности воспроизведения себе подобных...

Это нелегкий разговор, ибо он затрагивает самые коренные вопросы нравственности, вопросы взаимоотношения полов. Но рано или поздно такой разговор все равно пришлось бы начать. Хочу лишь добавить, что, само собой разумеется, цель коммунистической заботы о будущих поколениях не включает в себя решительно никаких понятий о расовом превосходстве или неких чистых линиях. Единственная задача предотвратить возможные жизненные драмы, заведомо гарантировать человеку долгие годы физически и нравственно здорового существования.

— В МИРОВОЙ ПРЕССЕ ТО И ДЕЛО ВСПЫХИВАЮТ СПОРЫ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ. НЕКОТОРЫЕ СТОРОННИКИ «МАШИНИЗАЦИИ» ВДОХНОВЕННО УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО МАШИНЫ ЖДЕТ ЭВОЛЮЦИЯ, ПОДОБНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОБЛЕМА «МАШИНА — ЧЕЛОВЕК»?

— Существует не проблема, а взаимосвязь. В конце концов, машина ведь сделала человека. Разумеется, машина в смысле простейших орудий на ранней стадии человеческой эволюции. Без копы, без кремневого топора нас бы попросту не было, мы бы не могли мыслить. В лучшем случае объяснялись бы двумя-тремя знаками и выискивали под замшелы-

ми камнями гнусных червей для пропитания.

Теперь созданы машины, которые поднимаются до уровня человеческого мозга, или, как стало модным выражаться, мыслят. И вот уже идут разговоры, что, мол, царь природы соображает медленно, а машина в два счета расправляется с самыми хитроумными задачами, что если дело и дальше так пойдет, то со временем машина выйдет из повиновения, заживет по своим собственным законам.

Я не разделяю оптимизма сторонников «машинизации». Если уж говорить о состязании, то это состязание орла с дельфином. При всем желании тут нельзя отыскать единого эквивалента для оценки. Потому как машина — всего лишь дура, которая отличается чудовищной способностью к счету. Разве нет людей, которые в мгновение ока извле-

кают $\sqrt[8]{803672009547}$ и производят тому подобные манипуляции. Но разве такие люди сколь-нибудь богаче любого из нас по ощущению мира, по восприятию любви, искусства? И уж гениями назвать их никак нельзя.

Говорить о соотношении машинной и человеческой памяти вообще бессмысленно. Достаточно вспомнить, что одна-единственная половая клетка объемом в несколько долей кубического микрометра, несет в себе всю сложнейшую информацию создания «гомо сапиенс». Такая упаковка, конечно, могла быть достигнута при-

родой только в тяжелой борьбе с окружающими условиями на протяжении миллиардов лет.

Гигантская сложность человека — вот аргумент, позволяющий говорить о том, что соревнование его с машиной не равноценно. И чем дальше мы изучаем человека, способы деятельности, его регулировки, его мышления, тем больше открываем в себе новые и новые, подчас удивительные способности. Так что применительно к машине термин «состязание» смело можно подменить «содружеством».

— ПИСАТЕЛИ - ФАНТАСТЫ, ФИЛОСОФЫ, СОЦИОЛОГИ, МЕДИКИ ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ОБРАЩАЮТСЯ К ВОПРОСУ О БЕССМЕРТИИ. НЕ ИЗМЕНИТ ЛИ ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ БЕССМЕРТИЕ САМУЮ СУТЬ ПОНЯТИЙ «ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕКА», «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»?

— Все проблемы, относящиеся к продлению жизни человека, или, если хотите, к бессмертию, связаны прежде всего с деятельностью мозга. Попытки пересадить органы, победить болезни — все это имеет единственную подоплеку: сохранить гигантский человеческий мозг.

Порой нам кажется, что мозг вечен, это энергетические запасы нейронов неисчерпаемы, что смерть вообще противоестественна. И вот уже всерьез принимаемся рассуждать и спорить о том, что достаточно время от

времени заменять изношенные части организма и — пожалуйста! — живи себе, человеке, хоть целое тысячелетие.

Нет, не так-то просто. Надо сначала уразуметь простую истину: наш мозг нежен, как цветок. И, подобно цветку, он тоже временное явление природы.

Вам кажется, что он продукт способности каждого индивидуума? Да. Но в такой же степени он продукт общества, общественного сознания, молекула, микрочастица умственной атмосферы, кирпичик в огромном сооружении, на котором сияют слова: «ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА».

С самого рождения в мозг запрограммировано все: порывы юности, могучий дух зрелого возраста, мудрость и осторожность старости, в конце концов, даже смерть.

Я бы сравнил деятельность мозга с марафонским бегом. Тут тебе и рывки, и ускорения, и благодатное чувство «второго дыхания», и невозможность пронестись всю дистанцию со скоростью спринтера, и необходимость целесообразной раскладки сил. Но даже на самых длинных дистанциях неизбежен финиш.

А теперь представьте: бегуну, всего себя отдавшему победе, объясняют, что забег придется повторить...

Что мы будем делать с кондицией мозга, если он проживет лишних 50, 70, 90 лет? Ведь он ничего не будет стоить. Нет, он не исчерпает запаса знаний. От-

нюдь. Но все связи в нем, все памятные участки, все привычные ассоциации будут как бы законсервированы.

Дать допинг задыхающемуся бегуну? Омыть дряхлеющий мозг потоками молодой крови? Но что бы сделать мозг принципиально новым, молодым, надо начисто его модифицировать, разрушить былые ассоциации, попросту говоря, разрушить старый мозг. А что стоит мозг гения (даже гения!), рожденный заново!

Моцарт, в пятый раз сочиняющий «Реквием»?

Ньютон, периодически, время от времени открывающий все тот же закон всемирного тяготения?

Менделеев, на четырехсотом году жизни возненавидевший свое неувядаемое творение — таблицу элементов?

Вот вам и Ее Величество Мудрость!

Разумеется, эти рассуждения нарочито утрированы. Разумеется, существуя в другую эпоху, мозг гениального мыслителя и работал бы по-другому. И все же никак не отделаться от ощущения, что бессмертие — это ошибка, наваждение, недоразумение.

Бессмертие — это миф, метафизика. Нам, диалектикам-материалистам, бессмысленно задаваться этим вопросом. Не существует бессмертных звезд, бессмертных планет, бессмертных существ. «Всему свой срок, на все свои законы», — как сказал Баратынский.

Однако невозможность быть (или стать) бессмертным не озна-

чает вовсе, что мы не можем продлить жизнь человека, не будем за нее бороться. Главное в этой проблеме — использовать человека в наиболее мудром периоде его существования, отыскать универсальные способы борьбы со старостью.

По моему глубочайшему убеждению, человек как личность формируется годам к сорока. К этому времени он набирается знаний, жизненного опыта, в нем устанавливается счастливое равновесие между эмоциями и разумом. Но чаще всего случается так, что последующие десятилетия вдохновенного творческого труда бывают омрачены болезнями сердца, печени, почек, множественностью иных недугов. И как результат — преждевременная смерть.

Между тем люди могут — и должны! — жить намного дольше, чем живем мы, нынешнее поколение землян, чем жили наши отцы, деды, прадеды. Не тлеть, постепенно угасая, теряя память, становясь обузой для других, но жить полнокровной здоровой жизнью.

Сколько лет? До какого предела?

Чисто интуитивно, путем некоторых аналогий с растительным и животным миром отвечаю: 150 лет — вполне разумный предел существованию нашего организма.

В мире, где будут побеждены болезни и старость, понятия «духовный опыт человека», «преем-

ственность поколений» вряд ли изменятся качественно. Зато они неизмеримо расширятся. Подумайте только: двадцатилетний юноша сможет оживленно беседовать со своим прапрапрадедушкой о событиях более, чем столетней давности. Эпохи как бы сблизятся, время потечет быстрее, и черта, разделяющая прошлое и будущее, станет менее заметной.

— ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ О КРИТИЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ? МОЖЕТ ЛИ ОБЩЕСТВО РАЗВИВАТЬСЯ БЕСКОНЕЧНО?

— Цивилизация, если ее рассматривать как совокупность технических достижений, влияющих на бытие, — нечто кратковременное. Но если цивилизацией считать духовную жизнь человечества, ноосферу, то в этой области нет предела накоплениям, нет предела движению вперед.

Более того, во всех своих произведениях я стараюсь подчеркнуть, что общество лишь тогда будет нормально развиваться и существовать, когда нормально развивается ноосфера. Всякая, даже кратковременная, остановка в пути угрожает гибелью, потому что означает застой в духовной жизни, застой более тяжелый, чем материальный. Вспомним, каким спадом науки и искусства сопровождался развал некогда могучей Римской империи.

Цивилизация — это передача от одного поколения другому всего культурного наследия.

А культура, разве она не будет существовать вечно? Будет. Если не вечно, то тысячи, миллионы лет, как галактика.

Но вот вопрос: не исчерпает ли человечество когда-нибудь свой генофонд? Сама природа неустанно заботится о воспроизводстве полноценных видов. Каким образом? Двуполым размножением, причем с постоянным притоком свежих генов откуда-то извне. И можно не сомневаться: отдаленное скрещивание всех рас, всех народностей обеспечит землянам довольно долгое существование. А затем... Представьте себе, что человечество начнет со временем расселяться, и усталые гены сынов Земли будут омолаживаться, смешиваясь с генами обитателей планетных систем Сириуса, Веги, альфы Центавра. Значит, опять скачок в развитии, опять поступательное движение, опять сотни миллионов лет существования, при котором понятие «вырождение» будет неведомо разумным существам.

— ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ О ПОПЫТКАХ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ С ИНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВИДАМИ НА ЗЕМЛЕ: ДЕЛЬФИНАМИ, ОБЕЗЬЯНАМИ, СОБАКАМИ...

— Как ученый, я привык иметь дело с фактами и только с фактами. Между тем уровень попыток установить контакт с дельфинами или обезьянами настолько низок, что пока нет ис-

ходных данных для конкретных рассуждений.

Скажу только о дельфинах. Должно быть, исследователи ошибаются, когда пытаются сравнить уровни мышления гомо сапиенса и дельфина. Нельзя забывать, что по скорости реакции человек намного уступает дельфину. И попытки вести с этим млекопитающим так называемые разговоры очень напоминают мне диалог между стремительным, проглатывающим слова Хлестаковым и тугодумом Городничим. Боюсь, что мы представляемся дельфинам эдакими велеречивыми старцами, скучно рассуждающими о родственниках из прошлого века, которых давно уже нет в живых.

Быстрота реакции, умение избегать препятствия, великолепная координация движений, сообразительность — это поистине замечательные качества дельфинов. А если вся работа мозга расходуется только на это? А если для мышления, для осмысливания мира ничего более не остается?

Может быть, дельфинья эволюция лишь в самом начале? Ведь и человек когда-то, бессмысленно озираясь окрест, грыз орехи мощными челюстями, а его малюсенький мозг, закованный в череп (с толщиной стенок до 3 сантиметров!), подремывал. И лишь потом, когда наши пращуры перешли на более эффективную животную пищу, у них появился какой-то запас свободного времени. Честь им и хвала, догадавшимся потратить этот запас на то, чтобы начать мыслить!

— ПОЗВОЛЬТЕ ЗАДАТЬ «УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫЙ» ВОПРОС. ОДИН ИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ЖАНРА СЧИТАЕТ, ЧТО ФАНТАСТИКА «БОЛЬШЕ НЕ ДАЕТ СОВЕТОВ ПО ЧАСТНЫМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ. ОНА ИСТОЛКОВЫВАЕТ МИРОЗДАНИЕ. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ПОДОВНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ? КАКОВА ВООБЩЕ РОЛЬ ФАНТАСТИКИ В ПРЕДВОСХИЩЕНИИ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ?

— Эту роль я попытался бы сформулировать так: фантастика отражает отказ человечества от утилитарности мышления, возрождая на новом уровне идеи просветительства.

Что происходит с наукой? Она ветвится, а знания наши дробятся. Существуют настолько узкоспециальные проблемы и теории, что их в пору разглядывать в электронный микроскоп. Знание мира, некогда цельное, теперь разбито на осколки, и «узкие» науки не способны объяснить мир: они перестают его понимать. Нужны ученые-энциклопедисты, те, кто поможет создать новую натурфилософию.

В чем преимущество «философии природы»?

В широком подходе к понятиям. сугубо специфическим, к проблемам чисто научным. В готовности ответить на любые вопросы, и общие и частные. В неоспоримом достоинстве смотреть на предмет исследования под широким углом зрения.

Вглядитесь попристальней в изменчивое лицо современной фантастики. Замечаете? В нем все явственней различимы черты натурфилософии.

Дает ли фантастика «советы по частным отраслям знаний»? Вне всякого сомнения, дает. Вспомним, к примеру, что она не только предрекла появление подводных лодок, самолетов, телевизоров (это, так сказать, ее далекое прошлое), но и активно помогает ученым, работающим над проблемами лазеров, квазаров, роботов, беспроводной передачи материи и т. д.

Истолковывает ли она мироздание? Да, истолковывает, на равных правах с философией, социологией, футурологией.

И в этой и в другой областях роль фантастики не оценима. Но, претендуя на роль натурфилософии, фантастика должна отвечать обязательному требованию: быть умной. Быть умной, а не мотаться в поисках каких-то необыкновенных сюжетных поворотов, беспочвенных выдумок, сугубо формальных ухищрений — в общем, всего того, что поэт метко охарактеризовал «химерами пустого баловства».

Истинное творчество всегда глубоко оригинально, органично, неувыдаемо. Настоящий писатель как бы рассыпает по своим сочинениям сверкающие жемчужины идей. «Пожалуйста, современники и потомки, берите! Пользуйтесь на здоровье! Будьте творцами, а не эпигонами!»

Чаучная фантастика — это пена

на поверхности моря науки. Предание гласит, что из пены морской и звездного света родилась Афродита, богиня любви и красоты. Фантастика должна стать Афродитой, но, если свет звездного неба не достигнет ее, пена осядет на берег грязным пятном.

— ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА КОНТАКТЫ С ВНЕЗЕМНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ?

— Я не представляю себе дальнейшего развития человечества без его выхода на дальние рубежи космоса, без контакта с другими цивилизациями. Все разговоры относительно того, что мы якобы не поймем другие цивилизации, возникшие на других планетах, в других условиях, мне представляются беспочвенными. Обычно упускают из виду очень важную закономерность: вселенная построена по одному плану, из одних и тех же кирпичей-элементов, с одними и теми же свойствами, причинами и следствиями.

Человеческое сознание, мысль, мыслящая материя строятся с учетом этих законов, исходя из них, является их продуктом, их отражением.

Поэтому мы обязательно поймем, мы не можем не понять друг друга. Что касается области чувств, сферы искусства — такого рода контакты поначалу будут, наверное, нележки. Мне кажется, что начальные общение и взаимопонимание пойдут прежде всего по научно-технической линии, по пути обмена информацией. И лишь

потом уже вместе с нашими звездными братьями мы станем подниматься на все более высокие ступени взаимопонимания в области чувств.

Илюч к первому знакомству с неземными мыслящими существами — прежде всего использование теле-, радио- или других, принципиально новых видов волновых колебаний.

Кроме того, я уверен, что мы найдем обходной путь через пространство и время. На это уже теперь есть некоторые указания в науке, к примеру, недавнее открытие тахионов — частиц, обладающих субсветовыми скоростями.

Не сомневаюсь: земляне отыщут другие пути в мироздание. И тогда даже самые далекие звездные цивилизации окажутся от нас на расстоянии вытянутой руки.

— ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ БЫ О БУДУЩЕМ СВОИМ ВНУКАМ?

— Я бы сказал: не бесплодна любая попытка проникнуть в ожидающее вас будущее — с книгой ли в руках, на шумном диспуте, в полном одиночестве под звездным небом. Но будьте готовы к испытаниям: ваше будущее не представляется мне особенно легким. Психологически оно, вероятно, будет труднее, чем то время, в котором жили мы, старшее поколение.

Я помню свое детство, свою юность, когда меня увлекали волшебные контуры дальних стран,

когда я бредил тайнами Африки, дебрями Амазонки, когда, засыпая, сразу же оказывался на берегах экзотической реки. И исполинские крокодилы плыли, разрезая желтые воды, и трубили слоны, и величественные львы поворачивали головы на восход. Я засыпал и просыпался в мире, полном непознанного. Тогда никто еще не проник в глубины океанов, тогда я даже думать не смел о том, чтобы увидеть Землю со стороны, полететь на Луну или к другим планетам.

Я помню, как дрожащими пальцами прикладывал тонкую проволочку к кристаллу детекторного радиоприемника, удивляясь, изумляясь, как может из этих железок и винтиков вытекать музыка. Во время своих сибирских путешествий я ездил на тройках, на почтовых, на перекладных. А вы сейчас бесшабашно поете: «Заправлены в планшеты космические карты...» Я не прожил и века, а, как видите, и на лошадях трясся, и на паровозах ездил, и на реактивных лайнерах летал.

Все эти перемены не прошли даром для земного шара. Он съжился, как проколотый футбольный мяч, он стал привычным, обжитым. Почти не осталось тайн, удаляющихся как бы за горизонт при приближении к нему. Они, эти тайны, лежат более глубоко, чем те, которые пришлось открывать нам.

Вам придется проникать с помощью циклопически громадных машин в глубины вещества, врываться в дебри земной коры, вы-

саживаться на дальних планетах. Не грустите, что милая старая романтика непознанной Земли ушла от нас. Вместо нее родилась романтика, требующая гораздо большего напряжения сил, гораздо большей подготовки, психологической и физической — роман-

тика проникновения в значительно более глубокие тайны познания.

Будьте готовы к испытаниям. Пусть вам удастся войти в Великое Кольцо Будущего.

Беседу записал
Юрий МЕДВЕДЕВ



В ОИНСТВЕННЫЙ СЫН ЗЕВ-СА и Геры Арес, который носился по полям сражений в сопровождении двух спутников-сыновей Фобоса и Деймоса, Страх и Ужаса, более известен нам по римскому прозвищу Марс. Среди олимпийской компании он был весьма уважаемой личностью — крупный военачальник! — и оставил после себя заметный след в истории.

Но сегодня, произнося имя «Марс», мы, конечно, прежде всего вспоминаем не самого античного бога, не «потешные марсовые поля», не первый весенний месяц... Оранжевая планета — немерцающая Красная Звезда плывет в окулярах телескопов, вот уже несколько веков интригуя человеческие умы. Ни на одно небесное тело, даже на нашу близкую соседку Луну, не переведено такого количества бумаги, как на Марс, ни о ком, кроме него, не выдвинуто такого количества гипотез, ни по чьему иному адресу не раздавалось столько восхвалений и столько клеветы.

В чем дело — ясно. Хотя обстановка на Марсе и сильно отличается от земной, но все же мы там будем чувствовать себя куда уютнее, чем на других планетах солнечной системы. Там все-таки есть атмосфера и, вероятно, вода, и, очень может быть, растительность, сумерки, ветер, песчаные бури... После того как наша АМС развенчала Венеру, доложив, что голубая красавица слишком горяча для существования какой-либо жизни, Марс остался единствен-

ВСЕВОЛОД РЕВИЧ

ПОЛИГОН воображения

— Вы, должно быть, начитались этих диких псевдонаучных историй, какие сейчас выходят по сотне в неделю, об этих красных жукоглазых марсианах, об ужасных чудищах и так далее?

Лестер покраснел:

— Ну да, я, конечно, прочел кучу историй. Собственно говоря, это и заставило меня заинтересоваться ракетной механикой...

ной планетой, на которую — в обозримом будущем — сможет ступить нога космонавта без риска немедленно сгореть, заморозиться или провалиться.

Но не только близость к Земле подстегивает людское воображение. Именно с Марсом все время происходят воистину странные вещи. Начать с того, что спутники Марса Фобос и Деймос были открыты задолго, за два и даже за три века до их действительного открытия. Первым заговорил о двух — о двух! — спутниках Марса Иоганн Кеплер, хотя сам он думал, что честь их обнаружения принадлежит Галилею. С невероятным упорством Кеплер подобрал текст к анаграмме, которую опубликовал Галилей. Таким способом, по обычаю того времени, шифровалось открытие, в котором его автор не очень уверен, а приоритет тем не менее желательно сохранить. У Кеплера получилась осмысленная латинская фраза насчет двух близнецов, порожденных Марсом. Впоследствии выяснилось, что ничего подобного великий итальянец в виду не имел и иметь не мог. Спутники Марса слишком малы, чтобы их разглядеть в слабенькую галилееву трубу. Набором букв ученый закодировал совсем другое, правда, не менее замечательное открытие: кольца Сатурна. Просто Кеплеру очень хотелось, чтобы у Марса были спутники, два спутника, и он заставил непослушные латинские буквы расположиться в нужном ему порядке. Именно таким — волюнтаристским — пу-

тем будет происходить в дальнейшем литературное заселение и обживание Марса. В этом смысле Кеплера можно считать родоначальником марсианской фантастики.

Следующий шаг сделал Джонатан Свифт в следующем, XVIII столетии. Он тоже заговорил о спутниках Марса и тоже — заметьте! — о двух. При посещении лапутянской обсерватории Гулливер записал, что тамошние астрономы «открыли две маленькие звезды, или два спутника, обращающиеся около Марса. Ближайший из них удаляется от центра этой планеты на расстояние, равное трети ее диаметра, второй находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение 10 часов, а второй — в течение 21 часа 30 минут. Так что квадраты времени их обращения почти пропорциональны кубам их расстояния от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются теми же самыми законами тяготения, которым подчинены другие небесные тела...» Когда в 1877 году, то есть через сто пятьдесят лет, американский ученый Холл обнаружил наконец Фобос и Деймос воочию, то выяснилось, что английский сатирик предсказал периоды их обращения с точностью 25—40 процентов. Не такое уж дурное приближение!

В том же 1877 году — это был год великого противостояния — итальянец Джованни Скиапарелли

увидел на Марсе сеть прямолинейных линий, которые назвал каналами, а американец Персиваль Лоуэлл немного позже выдвинул гипотезу, что они созданы руками разумных существ. Это была одна из наиболее сенсационных гипотез в мире. Статья о фантастике не самое подходящее место, чтобы перечислять, сколько усилий затратили серьезные ученые, чтобы разъяснить беспочвенность идей Лоуэлла, достаточно сказать, что отгадать природу этих образований на Марсе до сих пор не удалось. Есть в них некоторые странности, которые не укладываются — пока, конечно — в естественные объяснения: почему, например, они нигде не обрываются или что за сезонные изменения происходят с ними — «темная волна» с постоянной скоростью, 35 километров в сутки, каждую весну прокатывается по каналам, стартуя у белых полярных шапок (на Земле, как известно, весна наступает в обратном направлении) и — самое удивительное — перехлестывая при этом через экватор. Каналы еще ждут своей разгадки. Случай с марсианскими лунами доказывает, что иные предсказания могут и оправдаться.

Однако у Лоуэлла были не только противники, но и сторонники. Среди последних надо выделить небольшую, но активную группу людей, давно ожидавших чего-либо подобного. Слово «каналы» они поняли совершенно буквально, то есть как водные артерии, даром что ширина этих

линий на поверхности Марса может достигать двухсот километров. Кто эти «они»? Я имею в виду писателей-фантастов.

Таким образом, в конце прошлого века были подготовлены все условия для широкой литературной экспансии на Марс. Правда, транспортных средств, которые могли бы пересекать межпланетные просторы, еще не предвиделось, но подобная мелочь не останавливала энтузиастов. Что еще нужно, когда совсем под боком у Земли — каких-нибудь 50—100 миллионов километров — крутится-вертится шар с похожей и в то же время непохожей природой, где почти наверняка есть живая материя, и, возможно, горит или горел огонь разума. Даже карт придумывать не надо, их выдала наука. И фантастика не замедлила воспользоваться столь благоприятными возможностями.

Впрочем, Марс продолжает привлекать своими загадками не только писателей, он не оставляет в покое и ученых. Уже в наши дни появляется еще одна сенсация — И. Шкловский заявил о возможности того, что спутники Марса (или, по крайней мере, один из них — Фобос) искусственного происхождения. Правда, трудно сказать, убежден ли в своих выкладках советский астрофизик или ему просто доставило удовольствие наблюдать, какой шум подняли вокруг его интервью журналисты.

Тайнам Марса приходит конец. Американский «Маринер» уже фотографировал поверхность пла-

неты с расстояния в несколько тысяч километров. Каналов он не нашел, но зато неожиданно обнаружили кратеры. Скоро на Марс будут посажены автоматические станции, а затем пожалуй и космонавты лично проверять всё, что наговорили об этой планете. И можно быть уверенным, что первая экспедиция на Марс перечитает фантастические книги о Красной Звезде, а лучшие из них, наверно, захватит с собой в полет. Вдруг придется дарить марсианам земные сувениры; я полагаю, трудно найти более интересный презент.

В марсианской теме отразилась вся история современной фантастики — и ее генеральная линия, и ее ответвления. Среди книг о Марсе есть широко распространенные, о которых очень много писали, есть вполне доступные, о которых ничего не писали, а есть и неизвестные и недоступные, о существовании которых любителям фантастики, может быть, любопытно будет узнать хотя бы в пересказе.

* * *

ВСПОМИНАЯ САМУЮ ПЕРВУЮ книгу о Марсе, каждый наверняка подумает о «Войне миров» Герберта Джорджа Уэллса. Вообще-то это правильно, хотя предшественники у него все же были. Не станем забираться в глубь веков; до открытия Скиапарелли Марс еще не был Марсом, он ничем не выделялся среди других планет, поэтому упоми-

нания о нем, скажем, у Лукиана или Вольтера были совершенно случайными.

Начнем с 1880 года, когда на Марс стартовал, возможно, первый описанный в литературе межпланетный корабль «Астронавт», который двигался с помощью «отталкивающейся» энергии. Это произошло в романе Перси Грэга «Через Зодиак». Событие, скажем прямо, никого не взволновало.

Несколькими годами позже марсиане нанесли ответный визит, правда неудачный, их летательный аппарат — прозрачный шар — разбился при приземлении, и видел-то его всего один человек, которому никто не хотел верить. Тем не менее этот случай заслуживает быть особо отмеченным, поскольку поведал о нем один из самых знаменитых писателей XIX века, Ги де Мопассан. Рассказ «Марсианин» не принадлежит к избранным созданиям его гения, но показательно само обращение к такой теме для бытового, углубленного в сугубо земные дела Мопассана.

Мир собирается вползать в научно-техническую революцию, и первые признаки ее приближения начинают волновать мыслящих людей. Конечно, всеобщее внимание привлекают лишь открытия и гипотезы, наиболее резко бьющие по устоявшимся представлениям. Именно такими были высказывания Скиапарелли — Лоуэлла (на Скиапарелли есть прямая ссылка в рассказе), несколько позже теория относительности Эйнштейна, затем парадоксы кванто-

вой механики и т. д. Любопытно проследить, какую трансформацию испытало в рассказе Мопассана слово «здравомыслие». Кажется бы, именно ту голову стоит назвать здравомыслящей, которая не верит ни в каких марсиан, ни в какие каналы или прочие выдумки досужих телескопистов. В противовес этому анонимный рассказчик яростно кричит: «Разве можно назвать здравомыслящим человека, если он не верит, что существуют обитаемые планеты! Нужно быть круглым дураком, кретином, идиотом, скотиной, чтобы предположить, что миллиарды миров светят и вращаются лишь для того, чтобы развлекать и поражать такое глупое насекомое, как человек...» Не чудом ли спасшийся обитатель Марса, на что намекает автор названием своего рассказа, выкрикивает эти, может быть, не совсем справедливые, но вполне материалистические слова? Если так, то вот вам и первый марсианин, побывавший на Земле.

В девяностых годах состоялось несколько рейсов по маршруту Земля — Марс и обратно, описанных по большей части поверхностным научно-популярным стилем, например французами Ле Фором и Графиньи в книге «Вокруг Солнца», которая выходила у нас тремя изданиями. В романе друга и поклонника Жюль Верна Роберта Кромби «Погружение в космос» стоит задержаться на одном эпизоде. Герои романа обнаруживают на Марсе цивилизацию земного образца, но живущую

такой идиллической жизнью, что гости со скуки заторопились домой. За время пребывания на Марсе один из путешественников успел пофлиртовать с прекрасной марсианочкой (о красавицах марсианках еще будет речь). Неподалеку от Земли неожиданно выясняется, что в корабле почему-то не хватает запасов воздуха, и, если кто-то не пожертвует собой, задохнутся все. В этот драматический момент и появляется вышеупомянутая девица, которая объясняет, что пробралась в корабль зайцем, чтобы быть со своим возлюбленным. Гуманный экипаж, конечно, очень переживает, но времени для сантиментов уже нет, и несчастную девушку просто-напросто выбрасывают из люка.

Внимательные читатели фантастики, наверно, вспомнят, что в этом эпизоде Р. Кромби предвосхитил известный рассказ Тома Годвина «Неумолимое уравнение», написанный в 1954 году. Там тоже есть девушка-заяц, которую тоже безжалостно вышвыривают в пространство. Какие бы логические доводы, вроде бы оправдывающие действия астронавтов, ни приводились в этих произведениях, можно быть уверенным, что написаны они с прямо противоположной целью: доказать, что в самых тяжелых, порой безнадежных ситуациях бесчеловечное решение — это не решение. Высокоразвитое существо, в частности, достигшее эры космических перелетов, не может быть аморальным. В дальнейшем тема нравственной ответственности

станет одной из главных тем всей марсианской фантастики — столкновение двух миров придаст ей особую остроту. Земная мораль заявляет о непреходящей ценности человеческой жизни. А нечеловеческой? Или наоборот — немарсианской? Стоит так поставить вопрос... Впрочем, так его Уэллс и поставил в «Войне миров», которая увидела свет в 1897 году.

* * *

О «ВОЙНЕ МИРОВ» СТОЛЬКО уже написано, что нет смысла заново разбирать ее по косточкам. Остановимся на отдельных сторонах замечательной книги. Годы, которые прошли со времени выхода «Войны миров», доказали ее необыкновенную и неумирающую злободневность. Право, лучше бы она не оказалась такой пророческой. Для начала — частный пример. Как известно, химическое оружие еще не существовало ко времени создания романа. Впервые немцы применили ОВ в первой мировой войне. Но вспомните, с какими реалистическими подробностями описывает Уэллс действие «черного газа», которым марсиане травят людей. Кто знает даже — не подсказала ли эта книга самое идею какому-нибудь химику с холодными глазами?

А описание разрушенных городов, разоренной страны? Целая мертвая, вытоптанная страна! Много ли такого было в конце XIX века? Но разве в описанных Уэллсом руинах Лондона нельзя

обнаружить футурологическое видение Герники, Варшавы, Сталинграда? А картины паники, сколько раз они повторялись и в жизни и в книгах?!

Но заслуга писателя не только в конкретности деталей. Книга предсказала общую тревожную ноту, на которой начался новый век; эта сирена не умолкает и до сих пор. Зеленые вспышки марсианских молний служат очень подходящей иллюминацией для грозовой, напряженной атмосферы нашего времени.

Нетрудно увидеть и одну несовременную черту книги. За исключением начальных астрономических сведений о Марсе, в романе нет больше никакой другой науки, нет даже упоминаний о том, что существует такая порода людей, как ученые. Борьбу с марсианами ведет кто угодно, но только не представители академий. Уже после второй мировой войны американцы поставили фильм по роману Уэллса. Действие его перенесено в современность, соответственно изменен и весь антураж. Так, например, против марсиан применяется атомная бомба. Правда, летающее блюдце, в котором передвигаются марсиане (оно заменило устаревшие, по мнению авторов картины, треножки), как ни в чем не бывало выскальзывает из грибовидного облака. На земле нет средств, которые были бы в состоянии справиться с марсианскими захватчиками. Но люди все же ищут эти средства. Теперь они прежде всего стараются изучить

марсиан, герой даже ухитряется отрубить телевизионный глаз, которым оканчивается марсианское щупальце, и притащить его в лабораторию для исследования. Когда бегущая толпа захватывает грузовик, на котором эвакуируется научное оборудование, герой кричит в отчаянии: «Что вы делаете! Ведь в этом, может быть, наш единственный шанс!»

На место марсиан, по перечислению Ю. Кагарлицкого, можно подставить разрушительные войны, социальные катаклизмы, научные открытия, таящие угрозу для человека. И прежде всего на это место почти непрощено становится атомная война. Вот почему гораздо интереснее сравнивать роман Уэллса не со средним фильмом того же названия, а со знаменитым «На берегу» Ст. Креймера.

В фильме «На берегу» изображена ситуация страшная, трагическая и, к несчастью, пока еще не невозможная на Земле. Неожиданно вспыхнувший термоядерный конфликт уничтожил жителей большей части мира. В живых осталось лишь население Австралии, но и на нее движется радиоактивное облако. И когда смотришь на мертвый Сан-Франциско, то вспоминаешь мертвый уэллсовский Лондон, хотя, казалось бы, после «Войны миров» нам рассказывали множество апокалипсических историй.

И еще одна мысль приходит в голову при просмотре креймеровского фильма. Почему люди так пассивны, почему они не бо-

рются, почему они сами дают своим детям усыпляющие таблетки, вместо того чтобы попытаться их спасти, ну, в подземных убежищах, что ли, ведь радиоактивное заражение не может быть вечным? Почему эта мысль хотя бы не приходит в голову никому из героев? Вот у Уэллса артиллерист размышлял, как продолжить человеческий род под властью марсиан. Правда, о конкретных рецептах предложенного спасения можно и поспорить, но важно другое. Уэллс реалистически проанализировал выводы из своей фантастической посылки. Он понимал, что никогда не будет такой крайней ситуации, в которой не окажется мужественных, не потерявших голову людей, пытающихся сохранить все, что можно сохранить. И это куда достовернее, чем пессимистическое смирение героев Креймера.

С «Войной миров» связана одна история, какие нечасто случаются с литературными произведениями. И она тоже доказывает не только реалистическую силу уэллсовской фантастики (приведу высказывание Ю. Олеши: «Мы вдруг попадаем под действие странного представления: вдруг нам начинает казаться, что и в самом деле было такое событие, когда марсиане пытались завоевать землю»), не только его мастерство, но и то, насколько точно он сумел угадать неустойчивую общественную психологию нашего времени, легкое шарханье от беспечности к отчаянию. Я имею в виду нашу мевшую ра-

диопостановку по «Войне миров», сделанную осенью 1938 года в США ныне хорошо знакомым по кино американским актером Орсоном Уэллсом.

Уэллес и его коллеги тоже перенесли действие романа в современность и в Америку, а для шутки, как они потом объяснили, построили передачу в виде прямого радиорепортажа с места событий, не предупредив об этом слушателей. Вот, к примеру, как велся такой «репортаж» с «крыши нью-йоркского небоскреба»:

«...Противник находится в районе Палисадов. Пять гигантских машин... Сначала одна пересекает реку... Она переходит Гудзон вброд, как человек переходит через ручей... Ее стальная, похожая на гигантский колпак голова поднимается вровень с крышами небоскребов... Это конец... Появляется черный дым... Черный дым плывет над городом. Люди... бегут в сторону Ист-Ривер... тысячи людей, спасающихся бегством, как крысы. Теперь дым распространяется быстрее. Он уже обволакивает площадь Тайм-сквер. Люди пытаются спастись, но тщетно. Они падают, как мухи. Вот дым заполняет Шестую авеню... Пятую авеню... Он в ста ярдах от меня... в пятидесяти футах...

РАДИСТ. 2Х2L вызывает СQ... 2Х2L вызывает СQ... 2Х2L вызывает СQ... Нью-Йорк! Меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь слышит?.. 2Х2L... (наступает тишина)».

Около миллиона (!) американ-

цев поверили в то, что радио сообщает о действительных событиях и что марсиане и вправду вошли в Нью-Йорк. Конечно, этот факт прежде всего говорит о слабом знакомстве американской публики с Уэллсом, то есть о серьезных пробелах в школьном образовании США. Но не только... Вспомним, что это было за время. Канун второй мировой войны, предчувствие ее, понимание все большим числом американцев, что на своем континенте отсидеться не удастся. Страх уже давно гостил в сердцах людей, и вот — жуткий реализм постановки. Напряженные нервы не выдержали. «Тысячи перепуганных людей, — пишет известный американский астроном Дж. Мензел, — готовились к эвакуации или горячо молились о спасении. Некоторые считали, что на страну напали немцы или японцы. Сотни призывали к себе родных и друзей, чтобы сказать им последнее прощание. Многие просто бегали как угорелые, сея панику, пока, наконец, не узнали, в чем дело. В полицию непрерывно звонили люди, взывая о помощи: «Мы уже слышим стрельбу, мне нужен противогаз! — кричал в трубку какой-то житель Бруклина. — Я аккуратно плачу налоги». Дороги и телефонные линии в течение нескольких часов были забиты до отказа».

Вот так. Дж. Мензел предполагает, что, если бы сейчас повторить эксперимент, результат был бы тем же самым.

Как мы видим, первый серьез-

ный контакт людей с марсианами окончился плачевно и для тех и для других. Можно даже сказать, что марсиане отделались дешево. Правда, они все сдохли, но ведь их и не было, а вот люди переживали на самом деле.

Уэллсовские марсиане вызвали массу продолжений и подражаний, не говоря уже о более глубоком влиянии на фантастику нашего времени. Так, например, явное подражание «Войне миров» — переведенный у нас роман английского писателя Джона Уиндэма «День триффидов», в общем-то по своим идеям и не шагнувший дальше «Войны миров».

Куда более любопытны два произведения советских авторов. В обоих случаях это вполне самостоятельные работы и их связь с Уэллсом — внешний литературный прием. В книге А. и Б. Стругацких «Второе нашествие марсиан» эта связь вообще не распространяется дальше заголовка. Повесть Стругацких выходит за рамки нашего обзора, потому что в ней марсиане и Марс, собственно говоря, не участвуют, они действуют где-то за горизонтом и служат лишь поводом для того, чтобы прибавить несколько мазков к групповому сатирическому портрету земного мещанства. «Завоевать» эту категорию человечества нетрудно, не нужны ни тепловые лучи, ни черный газ. Жратва и звонкая наличность действуют вполне эффективно.

Памфлет Л. Лагина с длинным

стилизованным названием «Майор Белл Эндью, его наблюдения, переживания, мысли, надежды и далеко идущие планы, записанные им в течение последних пятнадцати дней его жизни» представляют собой, если хотите, развитие «Войны миров». Перекличка здесь не только сюжетная. Ведь роман Уэллса тоже во многом памфлет, в котором писатель заклеивал тупую и бесчеловечную силу, называемую Агрессией. Исследователи творчества Уэллса неоднократно отмечали, что между его марсианами и атакованной ими цивилизованной Европой те же взаимоотношения, что и между цивилизованной Европой и колониальными странами. Тепловые лучи так же относятся к пушкам, как пушки к дротикам.

Будем продолжать эту аналогию. Завоевание колоний было сильно облегчено «благодаря» местным коллаборационистам, пошедшим на службу к захватчикам.

В романе Уэллса приведен такой диалог между рассказчиком и артиллеристом:

«— Быть может, марсиане воспитают из некоторых людей своих любимчиков, обучат их разным фокусам, кто знает? Быть может, им вдруг станет жалко какого-нибудь мальчика, который вырос у них на глазах и которого надо зарезать. Некоторых они, быть может, обучат охотиться за нами...

— Нет! — воскликнул я. — Это невозможно. Ни один человек...

— Зачем обманывать себя? — перебил артиллерист. — Найдутся люди, которые с радостью будут это делать. Глупо думать, что не найдется таких...»

Итак, Уэллс допускал подобную возможность, хотя он и не «рискнул» дать образ человека, ставшего на сторону питающихся человеческой кровью чудовищ. «Упущение» Уэллса восполнил Л. Лагин. Его майор Велл Эндью — это, так сказать, Предатель с большой буквы. Потомственный английский аристократ из «твердолобых», первую гнусность он совершает, спасая свою шкуру, но очень быстро становится предателем с убеждениями, то есть еще более гнусным. Кажется, даже сами марсиане с некоторым изумлением разглядывают столь необыкновенный образец человеческой породы.

Велл Эндью быстренько конструирует нехитрую философию, долженствующую оправдать его поведение. Он мечтает ни много ни мало о том, как бы с помощью марсиан создать Объединенное государство, которым он и ему подобные будут бесконтрольно управлять.

Марсиане, с железной логикой рассуждает он, «относительно не заинтересованы в полном или даже более или менее серьезном истреблении человеческого рода. Мне скажут: они питаются человеческой кровью. Правильно, питаются. Но именно по этой причине они и заинтересованы в сохранении человечества

как своей питательной базы. Да и много ли им в конце концов потребуется для этой цели людей? Тысячи. Ну, сотни тысяч. Пусть даже, на самый крайний случай, несколько миллионов голов. Объединенное государство с лихвой обеспечит им это количество за счет политических преступников и цветных. Зато какой прогресс в укреплении порядка! Под страхом попасть в щупальца марсиан мы в несколько недель добьемся идеального дисциплинирующего эффекта и внутри страны и в колониях...»

Он уже заранее ненавидит и боится этих людей «пищевого назначения», которые могут помешать его «далеко идущим планам». Он по собственной инициативе посылает на смерть тех, кто пытается организовать сопротивление, мало того, он измывает над ними, что тоже очень характерно для подобных типов. И в особое исступление его приводит тот факт, что эти люди умирают с гордо поднятой головой, что даже и среди его собственного класса находятся герои, предпочитающие смерть в бою позорному рабству.

Стакан теплой человеческой крови, который преподносят с барского стола своему прихвостню новоявленные властители в знак признательности, — удачно найденная деталь, завершающая образ этого негодяя. И он пьет кровь своих жертв — здесь метафора доведена до реального воплощения, — пьет в общем даже с наслаждением. К черту пред-

рассуди: «Нет ничего красивей и благородней... завоевателя!»

В переводе на русский имя героя повести «Велл Эндью» можно прочитать как «Ну, а ты?». Смысл, вложенный писателем в эту значимую фамилию, можно истолковать так: ну, а ты, человек, каким окажешься в минуту тяжелых испытаний, останешься ли человеком?

* * *

ИТАК, С ПЕРВОГО СВОЕГО появления марсиане оказались в гуще нравственных, социальных и политических треволений Земли.

По мнению братьев Стругацких, «второе нашествие марсиан» произошло после второй мировой войны. Но это утверждение — плод досадного недоразумения. На самом деле в первой половине нашего века марсиане много раз прилетали на Землю, а еще чаще люди наведывались к ним.

Один из таких визитов, состоявшийся еще в 1899 году, довольно забавен. В межпланетное путешествие отправляются двое землян — профессор физики и спекулянт зерном из Чикаго, финансировавший постройку корабля. На Марсе компаньоны обнаруживают «параллельную жизнь», детально копирующую историю человеческого общества с отставанием по фазе. В данный момент там египетский период, библейские времена — точнее, середина семи «тучных» годов, после че-

го, как известно, последуют семь «тощих». Предприимчивый бизнесмен, не теряясь, основывает пшеничный рынок. Впечатления от этого полета путешественники изложили в своих записках, которые опубликовал Эллисворт Дуглас в романе «Маклер фараона».

Как ни слаба была дореволюционная русская фантастика, но и она вполне своевременно откликнулась на марсианскую тему. В 1901 году в Новгороде была издана маленькая книжечка «На другой планете», принадлежащая перу известного в свое время писателя-этнографа Порфирия Инфантьева. В предисловии к «Повести из жизни обитателей Марса» приведена небезынтересная корреспонденция из газеты «Новое время». В заметке говорится, что американский астроном мистер Дуглас, наблюдая Марс, «был поражен следующим странным фактом: он внезапно заметил серию блестящих огней, расположенных по прямой линии, тянувшейся на несколько сот километров. Эти гигантские огни горели в течение часа и десяти минут и затем исчезли столь же внезапно, как внезапно и появились. Это расположение огней на прямой линии как бы указывает на волевое, разумное действие, а одновременность возникновения и исчезновения их подтверждает это предположение».

Скорее всего «разумные» огни почудились астроному, но, между прочим, вспышка, описанная в «Войне миров», существовала

в действительности и зарегистрирована наблюдателями.

Не подумайте, кстати, что подобные заявления делались только семьдесят лет назад по тогдашней научной наивности. Вот вполне современные слова покойного президента Академии наук БССР В. Купревича: «Беру на себя смелость предположить, что и в наше время Марс населен живыми существами. Возможно, даже разумными. Об этом, в частности, свидетельствует внезапное появление на карте Марса Лаоконова узла — темной области размером с Украину. Действительно: как в течение одного-двух сезонов образовался на столь обширной площади темный голубовато-серый покров? Возможно, не без участия преобразователей природы и необходимых (не будем говорить — технических) средств». Но это так, мимоходом.

Особой эстетической ценности книга П. Инфантьева не представляет, но в ней выдержан вполне приличный для того времени научный уровень. И это особенно заметно по сравнению со всякого рода халтурой, которая не обошла своим вниманием и Марс. Например, в романе немецкого литератора А. Дейбера «Три года на планете Марс» можно отыскать такие шедевры, как «народ, обитающий здесь, наверху...». По мнению автора книги, Марс расположен выше Земли. Или: «Мы столкнулись, к счастью, очень легко с маленькой Луной, Марса, Фобосом». Столкнулись и полетели дальше.

И в начале века можно было бы знать, что воздухоплавание не подойдет для межпланетных перелетов по причине отсутствия воздуха. Наконец прилетели: «...Слезы счастья, слезы самой чистой радости бежали по обросшим бородами, давно уже не бритым щекам... ученых». Любопытно, что мешало им побриться в дороге?

Но вернемся к П. Инфантьеву. Самое интересное в его повести — способ, с помощью которого герой попадает на Марс, — лишнее доказательство того, что новое — это хорошо забытое старое. Уже П. Инфантьев отлично понимал сложность переброски материальных тел через такие гигантские расстояния, поэтому его герои обмениваются разумами — человеческое «я» временно поселяется в теле марсианина, и наоборот, точ-в-точь как в недавней повести В. Тендрякова «Путешествие длинной в век» или в «Обмене разумов» Р. Шекли. Правда, П. Инфантьев и его персонажи еще ничего не знают о радиоволнах, и писателю приходится умалчивать о конкретном способе передачи мыслительных излучений.

П. Инфантьевым сделана одна из первых, хотя еще и очень примитивных, попыток описать неземное общество. Внешне его марсиане не похожи на людей, и, когда герой приходит в ужас, осознав себя в теле марсианина с единственным глазом, хоботами вместо рук, клешнями, хвостом и ухом на макушке, ему очень резонно отвечают: «Вы, обитате-

ли Земли, привыкли считать себя центром мироздания, венцом творения и, если подозреваете о существовании разумных существ на других планетах, то почему-то воображаете, что эти существа непременно должны быть и по наружному виду похожи на вас... И поверьте... что обитателю Марса, в первый раз видящему организм человека, он кажется таким же безобразным и внушает такое же отвращение, как и наш организм вам». Вполне материалистическая и атеистическая точка зрения.

Само же марсианское общество аналогично земному, но сильно ушло вперед по части механизации. «У марсиан применение различных машин доведено до удивительного совершенства, и всюду, где только можно заменить работу разумного существа автоматическим механизмом, это сделано». Описывая научно-технические достижения, передовую систему образования, развитие искусств, П. Инфантьев, правда, обходит стороной вопрос о политическом строе марсианского общества.

Несколькими ступенями выше этих книг стоит изданный примерно в то же время роман некогда популярного и не совсем справедливо забытого немецкого фантаста Курда Ласвица «На двух планетах». Эта книга принадлежит не к уэллсовской, а к жюльверновской школе. Заслуживает доброго слова попытка К. Ласвица придать научной фантастике черты художественной

литературы, пусть даже не во всем удавшиеся. Здесь мы найдем первые индивидуализированные портреты марсиан. По Ласвицу, они вполне похожи на людей, так что между земными кавалерами и марсианскими дамами завязываются романы. Да и попробуй не завяжи роман, если марсианка Ла чудо как хороша: «Ее пышные волосы, свернутые на затылке узлом, были такого цвета, который почти не встречается на Земле: светло-кудрявые, с красноватым отливом, они напоминали, пожалуй, чайную розу; обворожительно нежно, подобно сиянию, обрамляли они ее бледное точечное лицо...»

Здесь пора сделать небольшое отступление и, сильно забежав вперед, упомянуть о пародийном рассказе американского писателя Э. Гамильтона «Невероятный мир», маленький диалог из которого помещен в эпиграфе этой статьи. «Невероятный мир» не раз приходит на ум при чтении марсианской фантастики.

Два американских астронавта, прилетевшие на Марс, не веря своим глазам, обнаруживают там живых существ самых разнообразных форм и расцветок — жукоглазых людей, нарывоподобных спрутов, уродин с клешнями, хоботами, щупальцами и т. д. Самое потрясающее, что все они отлично говорят по-английски. Выясняется, что это материализовавшиеся создания земной фантастики, очень недовольные своим обликом, приносящим им массу неудобств.

«— Хотел бы я, — говорит один из жукоглазых людей по имени Ок Вок, — добраться до того парня, который дал мне мое имя! Я бы так ок-вокнул его!»

Писатель высмеивает космическую макулатуру, изображающую различных физических и нравственных чудовищ, вроде «пурпурных», главное и любимое занятие в жизни у которых — это пытки.

«— А не захватили ли вы какой-нибудь прекрасной белокурой профессорской дочки? — вопрошает главарь «пурпурных». — Нет? Очень жаль. Мы могли бы продемонстрировать кое-какие любительские пытки на прекрасной блондинке...»

Мы еще познакомимся с творениями, для которых эта цитата может служить эпиграфом.

А вот самое остроумное наблюдение Э. Гамильтона. Астронавты с изумлением замечают, что женщины, которые разгуливают среди страшилищ, все до единой очаровательны, каждая из них, независимо от цвета кожи — бурой, зеленой, синей или красной, — может служить образцом земной красоты. Это правило почти не имеет исключений, оно соблюдается и в самых серьезных произведениях, и в самых несерьезных. Дело, надо думать, в том, что авторы большинства книг — мужчины и для них психологически невозможно оскорбить прекрасный пол, приписывая ему не земные уродства.

Не будем больше нарушать хронологическую последовательность. В романе «На двух плане-

тах» К. Ласвиц описывает марсианско-земную войну, хочется прибавить — «в очередной раз», что было бы несправедливо, так как всего лишь во второй раз. Эта война мало похожа на уэллсовскую. Она возникает случайно, из-за трагических недоразумений, и марсианское общество вовсе не едино, в нем существует сильное антивоенное течение. Хотя и на сей раз марсианам удастся одержать верх благодаря более совершенной технике, но их победа непрочно, люди не сдались и не желают мириться с угнетателями, как бы те ни старались задобрить их. «Марсианская культура без марсиан» — под этим лозунгом землянам удастся сбросить иго инопланетных властителей, вовсе не отказываясь от общения между мирами.

Несмотря на известные достоинства, роман К. Ласвица все же остался неприметной звездочкой рядом с таким ослепительным светилом, как «Война миров». Нужны были совсем новые, небывалые, революционные идеи, чтобы выдержать с ним сравнение. И эти идеи появились в стране, которая готовилась совершить революцию, а затем совершила ее.

* * *

В 1908 ГОДУ МАРСИАНЕ снова посетили Землю, но их посещение нельзя назвать нашествием. Внешне эти марсиане опять-таки ничем не отличались от людей, только вот глаза были у них гораздо больше, потому как

света на Марсе меньше, чем у нас. Потолкавшись незамеченными некоторое время на земле, чтобы узнать, что здесь происходит, они вернулись на Марс, захватив с собой русского социал-демократа Леонида; по его доброй воле, конечно. Эти события описаны в романе Александра Богданова «Красная звезда», появившемся в 1908 году; это второе произведение после «Войны миров», о котором стоит говорить всерьез.

По своей форме «Красная звезда», вероятно, последняя классическая утопия мировой литературы. Самой идее сделать Марс страной-Утопией нельзя отказать в плодотворности. Куда скорее можно поверить, что идеальное общество обнаружилось на другой планете, чем на неведомом земном острове. Автора, как и во всякой утопии, волнуют главным образом социально-философские проблемы, поэтому он почти не теряет времени на психологические изыскания, пейзажные зарисовки и прочие беллетристические тонкости. Ему гораздо важнее показать структуру тамошнего общества и марсианскую технику, поэтому его герой, как и положено во всех классических утопиях, превращается в экскурсанта, которого водят, которому показывают и объясняют. Но в «Красной звезде» есть и приобщение к новой, художественной форме фантастики, например в истории любви Леонида и марсианки Нэтти.

Определение. «красная» в на-

звании книги — это не только цвет марсианских пустынь, это и цвет революции, цвет социализма. Каким же в изображении А. Богданова предстает марсианский строй, где полностью осуществлены принципы коммунистического общества — от каждого по способностям, каждому по потребностям?

Социальные преобразования на Марсе дались трудящимся с большей легкостью, чем их земным собратьям. Благодаря природным условиям, отсутствию крупных естественных преград все народы Марса были испокон веков гораздо теснее связаны друг с другом, чем на Земле. У них на всем Марсе и язык один, что опять-таки облегчало сплочение масс. Конечно, капиталистическое расслоение происходило и на Марсе, но оно закончилось быстро, так как укрупнение участков было необходимо: мелкие владельцы не могли противостоять суровой марсианской природе. Рабочим удалось национализировать «землю» и взять власть в свои руки, не прибегая к кровопролитным войнам. Описывая такой спокойный путь общественного развития как некую историческую данность, А. Богданов все время противопоставляет ему Землю, во все не собираясь выставлять такой путь в качестве образца.

Теперь на Марсе труд стал активной потребностью каждого, он доставляет творческую радость, рабочий день длится 1½—2½ часа, хотя желающие и увлеченные своим делом зачастую за-

сживаются надолго. Люди часто меняют работу. Как же в этих условиях обеспечивается экономическая устойчивость? По плану, который выдают вычислительные машины. Вычислительные машины в 1908 году! Не берусь утверждать, что машины, описанные А. Богдановым, были электронно-вычислительными, но это скорее всего первое в мировой литературе предвидение века кибернетики — «изобретение» устройства, которое мгновенно перерабатывает огромное количество непрерывно поступающей информации и так же непрерывно выдает сведения, скажем, об избытке или недостатке рабочей силы в тех или иных отраслях промышленности. Впрочем, эти рекомендации отнюдь не обязательны, какое бы то ни было насилие вообще исключено из жизни марсианского общества, оно допускается лишь при воспитании детей, если у них неожиданно проявятся атавистические инстинкты, и с душевнобольными. Юное поколение воспитывается не в семье, а в «домах детей», где ему преподносится широкая образовательная программа, начинающаяся не с книг, а с изучения самой жизни. Зато потом, когда молодые люди переходят к теории, она дается им без скидок, всерьез, с философской глубиной. Например, учебник по истории начинается с космологического обзора мира, с образования планет из туманностей и возникновения органических соединений.

Проще всего на Марсе и ис-

кусства, и надо сказать, что здесь, например в рассуждениях о красоте традиционной ритмической поэзии, совсем не разглядеть Александра Богданова — будущего теоретика Пролеткульта, предлагавшего использовать классику лишь как средство для овладения литературной техникой.

При всем том жизнь марсианов все не сплошные праздники. Им приходится вести суровую и непрерывную борьбу со стихийными силами природы. Это источник конфликтов и даже трагедий. Так, во время перелета с Земли погиб один из марсиан, закрывший своим телом пробойную. Дело усугубляется тем, что природные ресурсы Марса иссякают и вскоре он уже не сможет «содержать» увеличивающееся народонаселение. Уступить же, ограничить деторождаемость марсиане не хотят, они считают, что такое поражение в битве со слепой стихией — конец всему. В поисках выхода они и посылают разведывательные экспедиции на соседние планеты.

Некоторые черты их социального устройства вызывают у землянина недоумение. В одном случае Леонид, правда, не слишком последователен. В жизни на Земле он расходится с женой, которая, как ему кажется, ограничивает его свободу. Этот решительный молодой человек утверждает, правда лишь на бумаге, не только возможность, но и желательность многобрачия, которое, по его мнению, способно дать людям и большее богатство личной жизни.

ни, и большее разнообразие сочений в сфере наследственности. «На мой взгляд, — размышляет он, — только противоречия буржуазного строя делают в настоящее время многообразие частью просто неосуществимым, частью привилегией эксплуататоров и паразитов». Но когда Леонид узнает, что на Марсе многообразие обычное дело и что у его любимой женщины Нэтти было одновременно несколько мужей, его земная натура начинает протестовать.

Еще менее вяжутся с гармонией общественного устройства разрешенные и нередкие самоубийства. Но с точки зрения марсиан в этом тоже проявляется уважение к свободе выбора.

Вообще есть что-то чрезмерно рациональное, холодноватое в марсианской жизни. Марсиане вежливы, предупредительны, деловиты, в большинстве талантливы, но, как правило, лишены горячей крови, лишены страстей, которые делают земную жизнь столь же трудной, сколь и привлекательной. Логика целесообразности зачастую подменяет у них логику сердца. Только в такой обстановке и мог родиться чудовищный проект математика Стэрни, который внес предложение поголовно уничтожить все человечество для блага ушедших вперед в своей эволюции марсиан, которым Земля подходит для колонизации больше, чем Венера. Математик, конечно, гуманист, он намерен провести это мероприятие незаметно и безболезненно. Правда, Стэрни получа-

ет жестокий отпор от соплатанников, для которых неповторимость любых форм жизни священна, но тем не менее из песни слова не выкинешь: такое предложение было произнесено и обсуждено, и никто не судил математика за милитаризм и не упрятал его в психиатрическую лечебницу. (Суд, или, вернее, самосуд, устраивает над ним не владеющий собой человек с Земли.)

Нелепо предполагать, что подобные черты непременно входят, по мнению автора, в коммунистический идеал. Он ведет нас не земными дорогами. В ином мире могут, конечно, быть черты странные и даже вовсе неприемлемые по нашим этическим нормативам. На молодую бурлящую Землю наиболее мыслящие марсиане смотрят с некоторой завистью. Да, Земля еще не доросла до марсианской техники и до совершенного общественного строя. Но как стремительно она развивается! То, на что марсианам понадобились сотни лет, Земля уложила в десятки, и «ножницы» все время сходятся. Разглядывая в музее скульптуру прекрасного юноши, марсианская поэтесса Энно восклицает: «Это вы, это ваш мир. Это будет чудный мир, но он еще в детстве; и посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание... Он в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!»

Кто это говорит — Энно или автор? Подлинная Красная звезда — не столько дряхлеющий

Марс, сколько юная революционная Земля.

По художественному исполнению нельзя, конечно, сравнивать «Красную звезду» ни с предшествующей «Войной миров», ни с последующей «Аэлитой», но в одном отношении А. Богданов превосходит и Г. Уэллса, и А. Толстого, и вообще большинство научно-фантастических книг. У него поразительно высокая степень научного предвидения. Американцы гордятся книгой Хьюго Гернсбека «Ральф 124 С 41 + », где действительно развернута целая программа для будущих изобретателей. Но произведение Гернсбека, которое в литературном и проблемном отношении представляет собой нулевую величину, появилось только через три года после выхода «Красной звезды» и по многим чисто техническим вопросам уступает Богданову.

Надо полагать, что А. Богданов слышал о трудах Циолковского или читал его «Исследование мировых пространств реактивными приборами», изданное в 1903 году. В противном случае остается предположить: автор «Красной звезды» самостоятельно приходит к выводу о необходимости именно ракетной техники, настолько осознанно она у него подана, и это, конечно, еще выше поднимает его акции. Ведь в тогдашней фантастике, пожалуй, и самолет-то еще не был как следует освоен.

Хотя в «Войне миров» и есть фраза о том, что марсиане стреляли ракетами, Уэллс не отдает себе отчета, для чего, собственно,

они нужны. Повторяя научно несостоятельную идею Жюль Верна, он переносит марсиан на Землю в пушечном ядре. А. Толстой в 1923 году, конечно, отправит героев «Аэлиты» путешествовать в ракете. Но это чисто условная, так сказать, литературная ракета. Его конструкция не то что до Марса не долетела бы, а и с поверхности Земли не оторвалась. Я вовсе не критикую А. Толстого за это; подобные технические неувязки не имеют ровно никакого значения для его прекрасного романа. Но отдадим должное научной прозорливости А. Богданова.

Этеронеф — марсианский межпланетный корабль — весьма совершенное и по сей день еще не осуществленное создание технического гения. Двигается он энергией ядерного распада, если применить современную терминологию, то есть практически это атомолет. В последующем мы встретим столь же четкое указание на этот тип двигателя только лет этак через пятьдесят, после изготовления и применения атомной бомбы.

Уже шла речь об описанных А. Богдановым цифровых машинах, управляющих производством, этого также еще очень долго не будет ни у кого. Да и сама идея планового управления народным хозяйством тоже немалого стоит. Мы находим в романе заводы, в которых осуществились идеи современной технической эстетики, широкое промышленное использование радиоактивных (у Богданова — радицирующих) элементов,

искусственный белок, кинематограф не только звуковой, но даже и стереоскопический, пишущие машинки, способные записывать текст под диктовку, синтетические волокна... Нет, право же, не так плохо для 1908 года! Возьмем, например, описание автоматизированного поточного производства синтетических тканей:

«Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся «материал для пряжи» в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прочные паутинные волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую «пряжу» в следующее, ткацкое, отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки.

Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезывали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин...»

Эти строки можно, не изменив в них ни единого слова, вставить в современный научно-популярный очерк. Впрочем, клеевое соединение тканей еще только начинает внедряться.

Через несколько лет А. Богданов написал «Инженера Мэнни», тоже марсианскую утопию. Это предыстория общества на Марсе, когда там была еще классовая структура. В романе описывается строительство гигантского канала и зарождение рабочего движения.

Образ великого строителя каналов Мэнни, безжалостного эксплуататора, который бросил в болота на погибель десятки тысяч рабочих, явно героизирован. Все же нельзя не отметить, что такой же героической фигурой предстает и вождь рабочих Нэтти, хотя в его борьбе за освобождение труда есть примиренческие тенденции.

Художественно самое сильное место в книге — это, быть может, излагаемая Нэтти теория вампиров. Каждый человек, говорит Нэтти, живет за счет труда других людей, своим существованием он что-то отнимает у жизни, но пока он дает ей больше того, что берет, он увеличивает сумму

жизни, он в ней плюс, положительная величина. Но бывает так, что он начинает брать у жизни больше, чем давать ей. И тогда он становится вампиром — живым мертвецом, который пьет соки жизни, и он особенно опасен, если был сильной личностью.

В. И. Ленин дал «Инженеру Мэнни» отрицательную оценку. Философские взгляды А. Богданова, которые Ленин подверг уничтожающей критике в «Материализме и эмпириокритицизме», хотя и были сформулированы до появления «Красной звезды», к счастью, не нашли в ней отражения. Зато «Инженер Мэнни» пронизан настроениями, которые владела автором, занятым созданием «всеобщей организационной науки», под которой он понимал науку о построении социалистического общества. Этой наукой, по его мнению, должен овладеть пролетариат до того, как он попытается взять власть в свои руки. Такая программа отодвигала проведение социалистической революции в неопределенное будущее. Возражая на подобные взгляды, Ленин позднее писал: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры»...), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы».

* * *

ИТАК, В «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ» более совершенный Марс противопоставляется раздираемой классовыми противоречиями Земле. Но вот на нашей планете вспыхивает мировая война, а за ней совершается социалистическая революция, и ракеты, которые продолжают курсировать к Марсу, несут последние земные известия. Одна из таких ракет улетает прямо с поля сражения, захватив в последний момент из окопа отравленного газами офицера. Ее поднял в воздух датский писатель Софус Михаэлис, роман которого «Небесный корабль» вышел в 1921 году. На этот раз перед нами бегство, откровенное и притом символическое бегство от ужасов империалистической бойни. Шарообразный корабль «Космополис» строят 13 дезертиров, по одному из каждой воюющей страны, неважно — соперники они на поле брани или союзники: итальянец, француз, немец, японец, русский...

Автор не пытается нам объяснить, как движется его корабль, но довольно щедро пользуется псевдонаучной терминологией — радиоспектр, солнечная машина и т. д.

На Марсе наши беглецы застают тихое стабилизировавшееся общество, очевидный контраст Земле, засыпаемой снарядами и заливаемой потоками ядовитых газов. Впрочем, С. Михаэлис изобразил хотя и умиротворенное, но отнюдь не такое уж привлекательное общество. Он явно хочет сказать, что

счастье не в успокоенности, не в отсутствии желаний, а отказ от борьбы — не путь, приводящий к счастью. «Они не знали ни искусства как формы выражения человеческих идеалов, ни радостей мореплавателей, ни инстинкта исследователей, ни той жажды знания, которая гонит земные поколения за поколением в опасное море, к ледяным полюсам или на недосыгаемые выси гор».

Если воспользоваться современной терминологией, то, видимо, данное общество принадлежит к биологической цивилизации. Физически марсиане очень похожи на людей, хотя развивались независимо. В книге есть одно любопытное рассуждение, право же, словно взятое у И. Ефремова: «Было, разумеется, космически логично, что на Марсе носители высшей жизненной потенции отличались в те же формы, как и на Земле. Не случайность, а естественная необходимость создала человека — с его гордо выпрямленным вертикальным хребтом, с крупным и развитым мозгом в крепком и благородно очерченном черепе, возносящемся к небу, как фонарь на башне маяка, с голой, чувствительной, богатой нервами кожей, с обостренными чувствами и такими совершенными органами тела, как пара ловких рук...»

В предыстории Марса были и машины, и разрушительные войны. Автору не хватает только термина «атомная бомба», чтобы обозначить вот такое средство массового уничтожения: «Народы и

государства восстали друг на друга с оружием, о видах и силе которого сохранились лишь старые рассказы. Действием его стирались с лица земли не только целые полчища, а даже огромные города».

Теперь же, видимо, как реакция на бурно проведенную молодость, на планете царит почти аркадская идиллия. Но за ее зеркальной поверхностью прячется, например, жестокая евгеника (опять-таки беря современные понятия), пури-танская нетерпимость. Перед нами усовершенствованная Спарта, где оставляют жить лишь все самое здоровое и полноценное. Мужчины после рождения в семье определенного количества детей стерилизуются. Брачный союз вечен и нерасторжим, брачующиеся выжигают у себя на груди портреты друг друга, дабы дорогие образы проникли в сердце. Старики расстаются с жизнью добровольно, уплывая на лодке по Каналу Смерти.

Земляне, обыкновенные грубые солдаты, не могут примириться с такой ненормальной обстановкой, они начинают отчаянно тосковать по Земле, совершать опрометчивые поступки и нарушать налаженный строй марсианской жизни. Бегство не удалось.

Этот во многом наивный роман стоит вспомнить именно как параллель к толстовской «Аэлите», появившейся в 1923 году.

«Аэлита», пожалуй, первое в русской и советской литературе произведение подлинно художественной фантастики. Как я уже го-

ворил, Алексея Толстого вовсе не заботит научная достоверность, его волнуют гораздо более важные для литературы художественно-поэтические задачи. Великолепный пример — это пролет корабля через голову кометы. Гусев стоит у окошка и командует примерно так: «Легче — глыба справа... Давай полный!..» И как ни странно, такие вещи не производят впечатления ни фальши, ни пародии. Они органичны в этой книге.

Главное в «Аэлите» — свежий ветер революции, который толкает людей на самые невероятные поступки и подвиги: нет ничего невозможного в этом взлохмаченном, голодном, прекрасном и яростном мире. На Марс так на Марс, за чем дело стало, товарищи! Прочтя объявление инженера Лося, красноармеец Гусев и вообще жители Петрограда даже не слишком удивились. Духом обновления всего: Земли, Марса, человеческих душ — веет со страниц «Аэлиты».

Для чего летит на Марс инженер Лось? В сущности, это тоже бегство: тоска по погибшей жене, душевная неустроенность, даже разочарованность в жизни. Неврастенический, нерешительный Лось резко не похож на будущих традиционных космических капитанов — с лицами и сердцами, словно вытесанными из камня. Почему у А. Толстого получился именно такой характер, нетрудно догадаться. Ведь «Аэлита» писалась в эмиграции, где находился тогда писатель, внутренне уже порвавший с нею, но находящийся еще за границей. Вероятно, этими осо-

бенностями душевного состояния автора объясняется и та поразительная лирическая сила, которой пронизана любовь Лося и Аэлиты, любовь, преобразующая этого раскисшего, размягченного человека. Вырвавшись из объятий Аэлиты, он берет маузер и уходит к Гусеву, к восставшим, к борьбе, хотя совсем недавно, поглощенный своими переживаниями, просил оставить его в покое со всякими революциями.

Преображается и Аэлита, огонь очистительной любви так же ярко вспыхивает в этой одурманенной ложной мудростью весталке, как костры, зажженные русским красноармейцем Гусевым на площадях марсианской столицы, где они не загорались тысячу лет.

В книге скрыт какой-то секрет, плохо поддающийся грубому литературоведческому препарированию. Почему образ Аэлиты так поэтичен? Ведь автор не дал нам возможности проникнуть в душу марсианки, не поделился с нами ее мыслями. Мы видим «Рожденную из света звезд» все время со стороны — глазами Лося или Гусева. Даже портрет ее дан беглым наброском — кроме постоянного подчеркивания ее хрупкости да пепельных волос и голубовато-белой кожи, мы ничего больше не узнаем. Но это не мешает нам видеть ее совершенно отчетливо, гораздо более отчетливо, чем, скажем, расплывчатого Лося. Правда, не последнее место в формировании облика этой девушки занимают ее рассказы об Атлантиде и песни, которые она поет. Аэлита умна,

она — носительница древней культуры. Но заостеневшее знание мертво, его нужно оживить потоком свежей крови, принесенной с Красной Звезды, которая на этот раз уже точно никакой не Марс, а молодая, горячая Земля. Только любовь к смелым и сильным людям — таким ей показался инженер Лось — может вырвать ее из затхлой повседневности, наполнить жизнь смыслом; такая любовь способна преодолеть все препятствия и даже перемахнуть через космические бездны:

— Где ты, где ты, где ты, Сын Неба?

На последних страницах образ Аэлиты расширяется до вселенских масштабов, до образа идеальной женщины: «...Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной...» Все те насмешки, которыми встречаешь очередную марсианскую красотку, не липнут к Аэлите, именно потому что она подлинно художественное создание. А ведь задача, которую поставил перед собой автор, очень сложна, и во всей мировой фантастике немного удач подобного рода. Требовалось создать привлекательный образ неземного существа — далекого и чуждого нам, что ясно ощущаешь в Аэлите, но в то же время близкого, понятного, реального.

А что за марсиане поселились на планете с каналами? При полном пренебрежении к научно-технической стороне дела Алексей Толстой все же счел нужным оправдать абсолютную физическую схожесть их и землян: ведь его

марсиане — это потомки магацитлов, людей, некогда улетевших с Земли во время гибели Атлантиды. В подзаголовке первого издания стояло «Закат Марса». Здесь слышится явный намек на известный в свое время и вышедший как раз в те годы труд немецкого философа О. Шпенглера «Закат Европы», в котором тот развивает пессимистическую концепцию последовательной гибели цивилизаций. На толстовском Марсе тоже гибнет великая цивилизация, Марс пересох, Марс кончается. Правящие классы, лишенные всяких творческих сил, хотели бы превратить это медленное умирание в пышный и торжественный реквием, но вовсе не желают упускать власть из своих рук. Как только дело доходит до восстания рабочих, в правителях пробуждается энергия. Именно в эту неустойчивую среду и врезается яйцеобразная ракета с Земли. Словно именно этой капли земной разгульной крови и не хватало прогрессивным силам на Марсе, чтобы подняться на проржавевшую диктатуру Тускуба.

Изобразив тоталитарное общество с резким классовым расслоением, с подавлением человеческой личности, с застывшими нелепыми обычаями, А. Толстой сделал первые попытки создания романа-предупреждения, часы «пик» которого наступят много позже. Появление именно таких картин у А. Толстого не было случайностью, в воздухе Западной Европы уже носилась угроза фашизма; в Германии, откуда и вернулся пи-

сатель на родину, уже возглавлял национал-социалистскую партию ефрейтор Адольф Гитлер.

* * *

В БОЛЬШИНСТВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ на Марс являются ученые, а сам Марс далеко перегнал Землю и уже поэтому заслуживает пристального рассмотрения. Однако Марс — настолько лакомый литературный кусочек, что было бы неестественным, если бы им не поспешила заняться беллетристика несколько другого рода.

В XIX и начале XX века пышным цветом расцвел приключенческий жанр: Хаггарт, Жаколио, Сабатини, Буссенар, капитан Мариэтт, не говоря уже о Дюма, Жюле Верне, Майн Риде, Стивенсоне, — это наиболее известные его представители. Но было и множество менее известных. Как и всякий иной вид изящной словесности, приключенческое произведение может быть хорошим и может быть плохим.

Приключенческая литература всегда стремится к исключительности, к необычности места действия, самое подходящее — полярные области, джунгли, пустыни, где бы ее плечистый, крепко сложенный, неутомимый герой мог в полную меру проявить свои незаурядные способности. На него должны нападать крокодилы и дикие слоны, он должен попадать в центры тайфунов и падать в бездонные пропасти, его должны любить самые красивые женщины на свете и преследовать самые

злые враги. Так как же было не отправить его на Марс?

Загадочность, экзотика и, так сказать, полнейшая безответственность: придумывай что угодно — вот что привлекало на Марсе или вообще вдалеке от Земли. В американской фантастике книги о невероятных приключениях в пространстве получили ироническое наименование — *спасе орега*, космическая опера. Ее духовным отцом стал Эдгард Райс Берроуз, имя которого вспоминают главным образом в связи с созданным им циклом романов о пресловутом Тарзане. Этот обезьяний выкормыш известен и нам, правда, не столько по книгам Берроуза, сколько по кинокартинам. О Берроузе придется сказать немало плохого, но в одном стоит стать на его защиту. В книгах Берроуза совершенно отсутствует тот оголтелый расизм, которым пронизана голливудская продукция. Впрочем, сейчас речь не о Тарзане.

Э. Берроуз написал десять книг, действие которых происходит на интересующей нас планете. Он произвел большое впечатление на мировую приключенческую и фантастическую литературу, хотя его влияние и трудно назвать плодотворным. Тем не менее следы Берроуза мы отыщем даже у нас в наши дни. Его имя, а также термин «космическая опера» часто встречаются в статьях по истории фантастики. Что же это, собственно, такое, почему в свое время он имел грандиозный успех и переиздается на Западе до сих пор?

Первый марсианский роман

Э. Берроуза при журнальной публикации (в 1912 г.) назывался «Под лунами Марса», при отдельном издании (в 1917 г.) «Принцесса Марса», а в одном из русских переводов (в 1924 г.) «Дочь тысячи джэддаков». Художественный, так сказать, метод, которым автор воспользовался в этом и последующих романах, можно было бы определить словами: «Бога нет, и все дозволено». Разрешается самая невероятная выдумка. Правда, Берроуз в отличие от некоторых своих последователей избегает окровенной мистики, придавая своим произведениям оттенок не реалистичности, нет, это не то слово, а, так сказать, материалистичности. Впрочем, начинает он свою серию как раз с запрещенного приема, перебросив своего героя на Марс потусторонним способом, в момент его смерти. Таким же путем герой возвращается на Землю, передает тетрадь с записями любимому племяннику, а затем умирает снова и снова возвращается на Марс. Уже в предисловии к «публикации» его записок автор профессионально хватает читателя за глотку: «Гробница, в которой лежало его тело, имела ту особенность, что ее массивная дверца запиралась одним только огромным позолоченным пружинным замком, который отпирался только изнутри».

Но пора уже познакомить вас с героем Э. Берроуза. Его зовут капитан Джон Картер, вояка из Вирджинии, который, затосковав от безделья после окончания гражданской войны в США, отправ-

ляется на поиски сокровищ, попадает в какую-то таинственную пещеру, раздвигается и оказывается неожиданно для себя на Марсе в чем мать родила. Впрочем, может ли это смутить бравого капитана, если «он был воплощением мужской красоты. Рост его достигал шести футов и двух дюймов, плечи его были широки, бедра узки... Черты его лица были чрезвычайно правильны и резко очерчены. Его коротко стриженные волосы были черны; стальные глаза были полны огня и инициативы...». Уменьшение силы тяжести на Марсе удесятряет и без того немалые силы Картера, он способен совершать стофутовые прыжки и бороться с целыми полчищами врагов. Словом, это тот же Тарзан, только что не в джунглях. В различных модификациях этот тип героя становится одним из главных в англо-американской приключенческой и детективной литературе и кино. От Тарзана и Картера идет прямой путь к Джеймсу Бонду. Хотя надо сказать, что в отличие от циничного Бонда и Тарзан и Картер были более простодушны и патриархальны, у них имелись все же кое-какие представления о том, что такое честь, верность, самоотверженность.

Джон Картер попадает в весьма странный мир, мир, в котором причудливым образом сочетаются суровость марсианских пустынь с восточной пышностью городов, а атрибутика родовой формации — дикие кочевники, мечи, дротики — с радиопистолетами, летающими

кораблями, электромагнитными лифтами. Эту пеструю картину дополняют весьма пестрые жители. Здесь можно найти кого угодно, начиная от жутких, зеленоватобелых растительноядных людей, которые, впрочем, не брезгают и человеческой кровью. (Вот образчик описания их внешности: «Каждый волос был толщиной с крупного дождевого червя, и когда существо двигало мускулами своего черепа, то эти страшные волосы извивались и ползали по лицу, как будто каждый из них был наделен самостоятельной жизнью». На самом же деле это были вовсе и не волосы, а уши.) В другом романе появляются расы живущих в симбиозе безголовых людей и людей, у которых голова составляет все туловище. Но, конечно, на Марсе есть существа и вполне земного образа и подобия, хотя они и рождаются из яиц. Что бы там было делать такому лихому парню, не встретить он красавицу Дею Торис, дочь короля, или, по-ихнему, джэдака? Естественно, она находится в плену у жестоких кочевников, которые сберегают ее для пыток на своем языческом празднестве. (Помните «пурпурных» у Гамилтона, правда, здесь они зеленые.) Естественно, принцесса и капитан влюбляются друг в друга, и он, естественно, спасает ее, но снова теряет, и содержание всех трех серий, простите, первых трех томов («Принцесса Марса», «Боги на Марсе» и «Владыка Марса») составляют его бесконечные поиски перманентно исчезающей принцессы.

Основное и любимое занятие Джона Картера — это рукопашная. Всякое там огнестрельное оружие, хотя и существует, как-то не пользуется популярностью среди воинственных обитателей Марса, уважающих себя воины должны драться на мечах. И Картер дерется почти на каждой странице. Он сильно уменьшил плотность населения планеты своим разящим клинком, он пробивает тараном ворота крепостей, объединяет одни племена и натравливает их на другие, попадает несчетное число раз в темницы и неизменно выбирается из них, разрушает храмы и возрождает королевства, всюду ведя себя как стопроцентный американец: «Я сделал то, что оставалось сделать джентльмену, попавшему в атмосферу грубости, необузданности и полнейшего отсутствия уважения прав чужестранца: я ударил его изо всей силы кулаком по челюсти, и он свалился на бок, как заколотый бык». В конце концов, заслужив славу самого отважного бойца, он становится джэдаком всего Марса.

Сначала действие обладает известной долей увлекательности, но чем дальше, тем яснее становится, что вся эта вседозволенность в общем весьма однообразна. В четвертой книге — «Тувия, марсианская дева» — за красавицей Тувией, принцессой другого королевства, гоняется по планете уже сын Джона и Деи, в следующем романе — «Марсианские игроки» — их заменяет дочь Тора, в которую, в свою очередь, влюбляется один джэд, и уже он носится за ней.

Затем обнаруживается еще и их внучка Ллана...

Некоторые из романов Берроуза даже американские исследователи его творчества называют халтурой. Было бы, конечно, ханжеством заявить, что лучшие книги Берроуза лишены всякого интереса. Нет, такие сочинения обладают громадным притягательным воздействием, и если в них проповедуются антигуманистические идеи, то вред их очень велик. Но по части идей у Берроуза вообще слабовато, хотя культ силы проведен достаточно четко; хорошо, впрочем, что его герои рискуют жизнью не из-за денег, а из-за любви.

Однако вы ошибаетесь, если думаете, что у нас не было своей, отечественной «космической оперы». Была. Взять, например, роман Н. Муханова «Космические бездны». Действие его происходит в далеком будущем, в 2423 году, ровно через 500 лет после его создания. Земля накануне войны с Марсом. Конфликт произошел из-за требования Марса очистить астероиды, на которых ведется совместная добыча необходимого для экономики небулия. Земля сама, на свою голову, научила марсиан употреблять это вещество. Возмущившиеся земляне решают не уступать. Фраза, в которой читатель информируется о реакции землян на ультиматум, в достаточной степени характеризует стиль повествования: «Старушка Земля, казалось, раскрыла миллионовоковые недра и изрыгнула из них весь запас своего огненного негодования».

И вот начинаются военные действия. Оружие, разумеется, только лучевое, а именно (в порядке возрастания разрушительной силы): сигма-лучи, тау-лучи, фита-лучи и, наконец, новейшее изобретение землян, их секретная козырная карта — омега-лучи. Впрочем, марсиане тоже не лыком шиты: У них есть зеленые икс-лучи, которые взрывают поверхность Земли за милую душу. Два флота выстраиваются в пространстве и начинают лупцевать друг друга этими самыми лучами. Надо сказать, что в рамках своего задания Н. Муханов довольно умело закрутил сюжет, в котором переплетаются судьбы истинных зачинщиков войны — касты бывших правителей Марса ларгомерогов, ныне ушедших в подполье, великих ученых с обеих планет, одному из которых удастся в конце концов прекратить войну, затормозив вращение Марса, двух марсианских красавиц (конечно же!), начальника воздушных сил Земли, любящего их, и т. д. Типичная космическая опера — занимательно и проблемно. Н. Муханов во многом предвосхитил популярный в Америке роман Э. Гамильтона «Звездные короли», того самого Гамильтона, который так остроумно высмеял создателей жукоглазых страшилищ, а вот сам не удержался; впрочем, у него уже испепеляют друг друга не планеты, а целые галактики.

Завершая разговор о космической опере, уместно привести цитату из ничем не примечательного в целом сборника Г. Арельско-

го «Повести о Марсе» (1925 г.). Описание пьесы, которую смотрят отдыхающие марсиане, и сегодня может служить прекрасной пародией на фантастико-межпланетную писанину:

«Фабула пьесы была следующая. Сын организатора Межпласо (Межпланетные сообщения. — В. Р.) влюбился в одну артистку с Юпитера. Он ее видел только в фильмах и слышал ее голос в «межпланетной радиоопере». Он решается ехать на Юпитер и объясниться ей в любви. Но в то время, когда он совершает свой перелет, происходит столкновение аэромобиля с одним из астероидов, Церерой. Все гибнут. Один только сын организатора попадает на астероид и совершает на нем оборот по его орбите вокруг Солнца. Межпланетные газеты разносят этот случай по всем планетам и печатают его портреты.

Читая газеты, артистка-юпитерианка, в свою очередь, влюбляется в сына организатора. Она собирает экспедицию и отправляется его спасать. В конце концов она его находит. Все кончается благополучно. Виножник приключения женится на артистке-юпитерианке и выпускает свою книгу впечатлений на Церере, которая делает его знаменитым писателем».

* * *

ПОЖАЛУИ, ПОРА СНОВА переходить к большой литературе. Пусть вновь марсиане послужат делу прогресса, потому что сатира верно служит именно ему. Ничего,

если для этого нашим бедным соседям придется временно превратиться в кошек. Правда, кошки встали на задние лапы и даже создали свою цивилизацию (кандальи они, например, делают из синтетических материалов), но остались в глубине души дикими зверьками — эгоистичными до кончика хвоста, злыми, жадными, похотливыми, нечистоплотными — а это, между прочим, уже прямая клевета на грациозных домашних животных. Описал кошачье общество на Марсе один из крупнейших китайских писателей нашего времени, Лао Шэ, в «Повести о Кошачьем городе».

Рассказчик летит на Марс из своего такого «великого, светлого, свободного Китая», что «ради чести быть первым китайцем на Марсе стоит и умереть» при посадке. Однако он не умер, а попал в плен к кошкам. Жители кошачьего государства кичатся своей тысячелетней историей, но совершенно равнодушны к его сегодняшней судьбе; с приходом кошек-иностранцев пришли в упадок ремесла и мораль; иностранцы принесли с собой дурманное дерево, без листьев которого люди-кошки уже не могут жить, именно эти листья служат источником конфликтов и распрей; владение плантациями дурманного дерева дает богатство и власть; охрана плантаций, чем очень любят заниматься иностранцы, стала одним из главных занятий; в стране процветают грабежи и разврат. Для того чтобы польстить врожденному тщеславию людей-кошек, при-

думана хитрая система: ученик, поступающий в школу, считается в тот же день окончившим ее, кроме того, все школы признаны высшими, так что число кошек с высоким образованием угрожающе растет, а невежество вокруг полное. Но хотя наука и в загоне, ученые имеются. Это нищие и беспринципные типы, которые распродают национальные богатства страны и пресмыкаются перед властью имущими. Историк, например, пишет верноподданническую записку императору о возрождении старинного вида казни — сдирания кожи с живых соплеменников. Политические движения стоят одно другого. В конце концов всеобщий разброд, зависимость от иностранцев, отсутствие чувства коллективизма, не говоря уже о патриотизме, приводят к тому, что кошачье государство гибнет под ударами беспощадного агрессора, под которым Лао Шэ, надо думать, имел в виду японских империалистов. Но и смертельная опасность не объединила кошек. В стране продолжают междоусобицы, генералы ожесточенно борются за право... сдать столицу врагу. Один из немногих трезво мыслящих жителей города, Маленький Скорпион, все понимающий, но ничего не делающий, кончает жизнь самоубийством, а единственный истинный патриот, Большой Ястреб, жертвует собой во имя спасения родины, но напрасно. Да, пожалуй, ни разу не было еще такого неприглядного Марса. С болью и горечью смотрит автор на эту, то есть на свою родную,

страну, которая в то время находилась под властью Гоминдана.

Картина, нарисованная им, вышла за рамки одного исторического момента. Читая, например, сцены расправы кошачьих студентов с преподавателями (повесть была опубликована в 1933 г.), трудно отделаться от впечатления, что написано это под впечатлением эксцессов «культурной революции».

«Наискосок от «института», который я только что видел, было другое учебное заведение, наполненное юнцами лет по пятнадцать-шестнадцать. Несколько юнцов прижали кого-то к земле и явно пытались оперировать. Рядом толпа учащихся связывала сразу двоих. Это, наверно, был семинар по биологии. Хотя подобные опыты показались мне слишком жестокими, я решил досмотреть до конца. Между тем связанных бросили к стене, а у оперируемого отрезали руку и подкинули в воздух!

— Посмотрим, как он теперь будет руководить нами, дохлая тварь! — кричали юнцы. — Ты хотел, чтобы мы учились? И еще не разрешал трогать девушек? Общество разложилось, а ты заставлял нас учиться? Вырвать у него язык сердцем!

В воздух взлетело что-то кроваво-красное».

Лао Шэ, к несчастью, оказался пророком — в 1966 году старый писатель сам стал жертвой дикой расправы хунвэйбинов.

Сатира чаще всего очень конкретна: мы твердо знаем из при-

мечаний, кто стоит за партией липутов, разбивающих яйца с острого конца, а кто за партией тупоконечников. Но разве это мешает нам пользоваться замечательным свифтовским образом, не думая ни о каких тори и виггах? Так же обстоит дело и с повестью Лао Шэ. За каждой ее сценой, каждым образом, более того, почти за каждой фразой таится намек на конкретную действительность.

Зачем Лао Шэ отправил своего героя в столь неожиданное место? Что вы, это так далеко, это совсем не о вас, и эти люди с кошачьими мордами совсем не смахивают на вас и ваших соседей. И то правда: разве напоминает что-либо в современном Китае представленное в повести прогрессивное на первых порах движение кошкистов? Их лидеры провозгласили прекрасные лозунги и, вдохновив ими народ, свергли императора, «хозяина всех свор». Но, придя к власти, они стали убивать несогласных. («Конечно, убийствами никого не удивишь, в Кошачьем городе убивали и раньше».) Не имея никаких понятий об экономике, кошкисты быстро довели страну до прежнего состояния, а под шумок их вождь объявил себя императором.

«Кошачий город» — одно из самых оригинальных и неожиданных произведений в марсианской фантастике. Тем лучше для нее.

* * *

КОНЕЧНО, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ кошки Лао Шэ не помышля-

ли ни о каких межпланетных перелетах, но все-таки очередь была за марсианами. До сих пор между соседями по Солнечной системе все время происходили какие-то трения. Даже марсиане-социалисты А. Богданова, озабоченные своими внутренними проблемами, и те относились к землянам вежливо, но с холодком, исключая, конечно, влюбленных женщин. (Интересно отметить, что никогда ни один марсианин не влюбился в «землянку», движение происходило только в обратном направлении.)

Но вот наконец прозвучали слова об интерпланетной дружбе, и планеты протянули руку помощи друг другу. Это произошло в 1932 году в книге известного грузинского поэта Александра Абашели «Женщина в зеркале», первом научно-фантастическом произведении в грузинской литературе.

Земле грозит столкновение с кометой, о чем мы и не подозреваем. Грядущую катастрофу высчитывает марсианский астроном, она же прекрасная женщина (ох!) Геда Нуаве, которая настаивает на экспедиции, томимая чувством духовной близости к землянам, хотя в их существовании марсиане еще не уверены.

И вот во исполнение этого плана марсианский инженер Каро прибывает тайком на Землю и, выдав себя за иностранца, становится помощником грузинского инженера Гургена Камарели, который чуть позже влюбился в Геду на телеэкране. Сначала высокораз-

витый марсианин поможет ему осуществить передачу энергии без проводов, а затем, заслужив доверие, сообщает Земле о грозящем бедствии и тут же предлагает план спасения. Движение Земли замедляется ракетными тормозами, работающими на атомном топливе, тайну которого марсиане предусмотрительно решили не раскрывать своим новым друзьям.

«Женщина в зеркале» уже принадлежит фантастике тридцатых годов, более рационалистической, более строгой и — увы! — менее увлекательной. Глобальная катастрофа, на борьбу с которой мобилизуются передовые силы Земли, станет вскоре излюбленным сюжетом. К сожалению, станут традицией и обстоятельные научно-технические объяснения, которые выдают друг другу герои целыми страницами, что сразу лишает их всякого жизнеподобия. Поскольку фантастика стала претендовать на сугубую научность, начинаешь невольно спотыкаться о всякого рода наивности и нелепости, на которые не обращаешь ни малейшего внимания в романтической фантастике двадцатых годов. Ну, можно ли, например, пройти спокойно мимо такого эпизода у А. Абашели: представители Земли, летя на Марс, захватывают с собой электроплитку и, незамедлительно разыскав розетку (очевидно, и напряжение, и форма штепселя на марсианском корабле оказались такими же, как на Земле), начинают жарить бифштекс в невесомости, придерживая крышку пальцами.

* * *

НО ИЗ ЭТОГО ВО ВСЕ НЕ следует, что точное, реалистическое описание будущего вещь невозможная или ненужная. И возможная и нужная, хотя и не всегда обязательная. Образец такого, строго научного, но не наукообразного подхода являет нам роман английского ученого, популяризатора науки и одного из самых известных фантастов нашего времени Артура Кларка «Пески Марса». Эта книга увидела свет в 1952 году. В двадцатилетнем промежутке межпланетных рейсов было маловато, и они прошли бесследно. Не до того было. Фашизм — враг более реальный, чем уэллсовские марсиане, двигался на Землю. Марсиане хотя бы пили кровь существ другого мира и другой организации; возможно, что лагеря смерти и производство абажуров из татуированной человеческой кожи даже в их глазах выглядели бы достаточно чудовищно. Но и самые лучшие марсиане ничем не могли помочь в борьбе с фашизмом. Народы Земли обошлись своими, земными силами. Когда вторая мировая война закончилась и возродился интерес к жизни во всем ее многообразии, вспомнили и о межпланетных перелетах, и о Марсе, и о его гипотетических обитателях. Но время было другим. На повестку дня все более и более вставал настоящий, невыдуманный космический полет. Уже в начале пятидесятых годов было ясно, что он не за горами. Пройдет всего

пять лет после выхода романа А. Кларка, и первый советский спутник огненной дугой взвоется в околоземное пространство.

Трудно отделаться от впечатления, что писатели примерно до 30—35-х годов считали полет на Марс вполне осуществимой технической задачей. Конечно, они понимали, что это очень трудно, но насколько трудно, все-таки не понимали. Поэтому действие подавляющего большинства произведений происходит либо в настоящем, либо в самом близком будущем, иногда даже в прошлом. В этих сроках они особой фантастики не усматривали. А новейшие авторы, которые стоят гораздо ближе к реальному полету, уже не отправят человека на Марс сегодня. Их читатели стали весьма образованными в вопросах космонавтики, они ни за что не поверят в это, никакая степень условности тут не поможет. Поэтому полеты на Марс (там, где автор хочет соблюсти хотя бы внешнее правдоподобие) отнесены минимум лет на 50—100 вперед.

Итак, А. Кларк писал свой роман в преддверии космической эры. И надо отдать ему должное: он предвосхитил важную проблему, которая будет оживленно дебатироваться несколько лет спустя.

Межпланетный корабль неизменно присутствовал почти в каждом романе и до Кларка, но вот первые человеческие поселения на Марсе — это новинка. И очень возможно, что и то и другое будет выглядеть примерно так, как описал Кларк. Звездодолет

лет «Арес» похож на гантель, обитаемая форма ему не нужна, он стартует за пределами атмосферы, в одном шаре — каюты и органы управления кораблем, в другом — ядерный реактор и двигатели. А поселились люди на Марсе под прозрачными пластиковыми куполами. И даже назовут эти города, возможно, так же, как в романе: Скиапарелли и Лоуэлл.

Главный герой романа писатель Мартин Гибсон, прилетевший на Марс в качестве репортера, настроен в общем доброжелательно, но несколько скептически, как и большинство обитателей Земли. Первый угар космических достижений спал, немедленной отдачи огромные средства, вложенные в освоение Марса, не дают и дать не могут. И все чаще на Земле раздаются голоса здравомыслящих людей: а не прикрыть ли всю эту затею?

Но тот, кто прибывает на Марс, заболевает им и уже не стремится вернуться. Пожив среди этих энтузиастов и тружеников, Мартин и сам незаметно для себя становится патриотом новой планеты, которая тоже должна стать «планетой людей». Ощувив это, руководители марсианской колонии открывают ему план, который осуществляется втайне от Земли. «Марсиане» решают покончить с зависимостью от родной планеты, для этого они взрывают Фобос, создав из него маленькое ядерное солнце. Теперь они обеспечены энергией, а следовательно, и всем необходимым.

Еще более острую форму кон-

фликта, намеченного А. Кларком, мы найдем в рассказе Айзека Азимова «Путь марсиан». Опять-таки Земля отказывается «кормить», или, точнее, «поить», ничего не дающий взамен Марс. На Марсе нет воды, а без воды дальнейшее освоение планеты невозможно. Значит, надо найти неземные источники, чего бы это ни стоило. И группа молодых межпланетчиков совершает отчаянный полет к Сатурну, кольца которого оказались состоящими из ледяных глыб; герои вмораживают двигатель своих кораблей в айсберг величиной с квадратную милю и переправляют его на Марс как раз вовремя, к приезду ликвидационной комиссии. Таков «путь марсиан» — путь смелых и отважных, которым суждено расширить горизонты человечества.

Сейчас, быть может, космос вообще и Марс в частности стали для англо-американской фантастики единственным местом, где она может отыскать героев в прямом смысле этого слова, героев, которых в окружающей действительности западная литература не находит. Именно здесь мы находим самые светлые страницы западной фантастики, в общем-то настроенной в отношении перспектив человечества более чем мрачно.

Вот еще два известных у нас примера: «Универсальный язык» Б. Пайпера и «Коровий доктор» У. Моррисона. В первом рассказе воспеается поэзия научного подвига: исследователи проникают в тайны вымершей марсианской цивилизации. А во втором воздается

дань уважения скромному немолдому врачу, который трудился на Марсе честно и незаметно, пока не пришел и его час совершить подвиг — спасти редкостное космическое животное. Сходные характеры мы могли бы отыскать, скажем, в рассказах советских писателей об Арктике. Это сходство не случайно, жизнь, заботы, психология близки у людей, которые сейчас осваивают Арктику, штурмуют Антарктиду и в недалеком будущем будут жить на Луне и Марсе.

Что ж, американцы вправе гордиться своими парнями-космопроходцами, в которых воплотились лучшие черты американской нации, сложившиеся во время великого похода в фургонах на Дальний Запад. Но раз так, то в космосе, как на настоящем Дальнем Западе, как в литературе и кинематографе о нем, кроме мужественных трудолюбивых людей, существуют совсем другие типы, и часто именно они и задают тон. Ведь завоевание Дальнего Запада было ознаменовано и истреблением индейцев, и разгулом бандитизма, и утверждением кулачного права. Американские фантасты — люди, мыслящие очень трезво, они прекрасно понимают, что если в космос будут перенесены нынешние социальные отношения — а об иных они, к сожалению, знать не знают, — то рано или поздно там возобладает тот же самый стиль вестерна, что и в «салунах» Дальнего Запада.

В лучших, прогрессивных произведениях этот «стиль» подвер-

гается уничтожающей критике. Космос слишком серьезное для человечества дело, нельзя допустить, чтобы он попал в лапы гангстеров, лавочников или монополистов. Вот рассказ Пола Андерсена «Убить марсианина». На место разумного марсианского аборигена Криги нетрудно подставить индейца или негра, а на место космического охотника Райордена никого подставлять не надо. Он сохранился в неприкосновенности с давних пор, «наследник миллионов транспортной компании, превратившейся благодаря его деятельности в настоящее чудовище, которое опутало своими щупальцами всю Солнечную...», рослый, мускулистый делец и спортсмен. Такие, как он, торговали еще рабами.

Он явился на Марс, чтобы поохотиться на «филина», так презрительно белые колонизаторы называют покрытых перьями марсиан, вполне разумных существ, хотя и не достигших высот земной цивилизации. Правда, марсиане находятся под защитой закона: после того как первые поселенцы поистребовали значительную часть коренного населения и споили остальных, правители спохватились. Ах, история повторяется! Но какие законы существуют для райорденов? Дав взятку должностному лицу, межпланетный браконьер отправляется на охоту за одним из немногих марсиан, сохранивших хоть внешне независимый образ жизни. Преследование ведется по всем правилам — кольцо радиоактивного изотопа вместо

красных флажков, «сокол» и «гончая», дрессированные марсианские хищники, и ружье 45-го калибра, приспособленное для стрельбы в разреженной атмосфере. Что с этим может сделать маленький Крига, вооруженный луком и стрелами? И все-таки побеждает в неравной схватке он, потому что на его стороне справедливость, на его стороне весь Марс, его родина-планета, ополчившаяся на безжалостного чужака-агрессора.

Так же бесславно погибают, выпустив из бутылки джинна, с которым не смогут справиться, и три бандита, пробравшиеся на Марс, чтобы завладеть древним марсианским оружием и стать властелинами Земли. О них поведал Роберт Шекли в новелле «Абсолютное оружие».

Но не только по этим обличительным произведениям, но и по всей без исключения англо-американской фантастике нетрудно ощутить, при какой общественной формации происходит дело. Ведь те конфликты, которые нащупали А. Кларк и А. Азимов, неразрешимы только в мире купли-продажи. Ну, а если бы марсианским храбрецам не удалось найти лед или взорвать Фобос? Что ж тогда? Конец всему? При коммунистических взаимоотношениях такой конфликт едва ли мог возникнуть вообще, а если бы и возник, то был бы разрешен путем совместных усилий. Не личность против общества, не общество против личности, а личность вместе с обществом, только на этой основе возможен истинный прогресс че-

ловчества, в том числе и завоевание космоса.

* * *

ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНАЯ атмосфера царит в «марсианских» рассказах советских писателей, которые тоже уверены, что вскоре на других планетах возникнут первые людские поселки.

Например, сюжетным стержнем повести Аркадия и Бориса Стругацких «Стажеры» служит рейс инспекционного звездолета по населенным пунктам Солнечной системы. Один из таких пунктов — Марс. Точнее, советская научно-исследовательская база — Теплый Сырт. Разное видит в своем полете экипаж «Техмаснба»; еще сохранились в душах людей пережитки индивидуализма и частного накопительства и не так-то легко их вытравить. Но не они теперь определяют жизнь человечества. Нормальные, то есть товарищеские, отношения установились между людьми. Примером такого содружества и служит пока еще небольшой, в несколько тысяч, коллектив наших исследователей на Марсе. Собственно, там живут не только советские специалисты, среди них немало ученых из других стран; оговорившись, здесь могут назвать господина Накамуру товарищем Накамурой, но ясно, что «господин Накамура» не обидится на это.

В повести описан эпизод из жизни базы, облава на хищных летающих пиявок, которые нападают на людей и мешают проводить научную работу. В облаве

принимает участие подоспевший экипаж звездолета. Об удивительно симпатичном народе рассказывают Стругацкие. Вот человек предельной смелости Феликс Рыбкин, Следопыт, — самая уважаемая профессия на Марсе, — тихо робеющий в присутствии ученой девушки Наташи, за которой он ухаживает, приезжая редкими свободными вечерами к ней на станцию и помогая мыть посуду. Наташины подчиненные, молодые ребята, весело и незлобно подтрунивают над зарождающейся любовью. Всего одну речь на совещании (вот уж, казалось бы, скучно!) произносит начальник ремонтных мастерских Пучко, а характер старого инженера, трудяги и энтузиаста, обозначен очень рельефно.

В ходе облавы совершается выдающееся научное открытие: обнаруживаются развалины каких-то строений нечеловеческого «происхождения». Правда, марсиане не появляются в повести, но можно быть уверенным: случись этим ребятам обнаружить разумных существ, они не будут устраивать за ними охот или поработать их. Подобные мысли просто-напросто не придут им в голову. При этом они вовсе не боги, не античные герои, мы в них верим прежде всего потому, что и сегодня знаем таких парней, таких девушек, они всегда находятся там, где трудно, где опасно. Конечно, на Марсе собрались самые лучшие, но разве может быть иначе?

Действие американских повестей происходит примерно в то же

время. Но их авторы никогда не привозят на свои Марсы одних лучших. Что ж, и они правы, у капиталистических отношений есть неприятное свойство разделять, расслаивать людей, а не сближать, сплавивать их. И уж если в космос переносятся эти отношения (другой вопрос: стоит ли их переносить?), то дальше в ход вступают законы художественной логики. И вот на Марсе возникают убийцы, гангстеры, торгаши. Появление же подобных персонажей на наших космических станциях абсолютно невероятно, и вовсе не потому, что наши писатели авансом лакируют будущее. Предпосылки иные.

* * *

А КАК СЕЙЧАС ОБСТОИТ дело с коренными марсианами? Они существуют и в наше время, они присутствуют почти в каждом произведении. В «Песках Марса» герои находят расу странных животных, похожих на кенгуру, в рассказе А. Кларка «Преступление на Марсе» упоминаются разумные раки, «раки с образованием». Кстати, разумных представителей невысших типов живых существ раньше на Марсе не было, исключая уэллсовских спрутов. Теперь появились и насекомые. У Анатолия Глебова в рассказе «Большой день на планете Чунгр» это, например, муравьи. Еще дальше пошел Р. Шекли. В повести «Встреча разумов» он предположил, что обитатели Марса составляли некогда единый сверхорганизм, но не сплошной,

как в «Солярисе» Ст. Лема, а, так сказать, дискретный, состоящий из бесчисленного множества особей. Потом они все вымерли, за исключением одного марсианского джентльмена-жука, в котором и сосредоточился весь разум.

Но есть, конечно, и марсиане-люди. В юмористической повести Никиты Разговорова «Четыре чetyрки» очень забавно рассказано, как мучаются бедные марсиане из-за того, что их недалековидные предки слишком уж прямолинейно поняли лозунг о примате естественных наук над гуманитарными и извели всех «лириков», и как не без косвенной помощи землян марсианским жителям удалось преодолеть этот духовный кризис.

Но не надо считать, что повсеместно наступила научная тишь да гладь. Глядишь, то тут, то там высунутся лихие традиции Берроуза. Я не говорю о том, что отдельное издание последней книги о похождениях капитана Картера и Деи Торис, но уже не на Марсе, а на Юпитере, вышло в 1964 году, то есть совсем недавно, правда, уже после смерти автора. Я не говорю об эпигонах Берроуза в западной фантастике.

Когда пытаешься изобрести что-нибудь невероятное, то начитанное воображение услужливо подсовывает расхожие штампы — реакционные жрецы в богатых одеяниях, варварски роскошные дворцы, мрачные подземелья, куда героя обязательно «бросают», не забудем, разумеется, и про красавиц марсианок.

Как это ни странно, книгу, где

мы встречаем весь этот набор, выпустило в 1961 году издательство «Советская Россия». Автор ее — К. Волков, название — «Марс пробуждается».

Там есть жрецы и владыки, странное племя, которое выглядит и разговаривает в самых разных книгах и у самых разных авторов совершенно одинаково, где бы оно ни находилось — в Индии, в империи инков или на Марсе:

— Пришельцы со Звезды Тот, повелитель Анта ожидает вас! Войдите без боязни, ибо его сердце открыто!

Там есть варварски роскошные дворцы. «Вдоль стен стояли... страшные изваяния таких огромных размеров, что по сравнению с ними марсианские солдаты казались ничтожными пигмеями. Многие из этих страшилищ держали в лапах массивные золоченые светильники, горевшие голубым и розовым пламенем. Разноцветное сияние разливалось по залу также из глаз и пастей чудовищ».

И уж, конечно, там есть красавица с миндалевидными глазами глубокого синего цвета, «живого и прозрачного, как небо коротких южных сумерек», и носом, «словом изваянным из черного мра-мора».

Но есть и шесть советских космонавтов во главе с академиком Яхонтовым, который, несмотря на свой преклонный возраст, по-юношески энергично руководит межпланетной экспедицией. Для разнообразия в состав экспедиции включена женщина. Появляется она там так. Когда начальник

экспедиции совсем уж было собрался отправить списки-предложения по составу, приходит письмо из Индии с просьбой включить в экипаж представителя их страны. Представитель этот приезжает в последнюю минуту и, как в лучших детских боевиках, оказывается существом слабого пола. Разумеется, она миниатюрна и прелестна, она любимица всего экипажа, не только же марсианкам быть миндалевидноглазыми красотками!

Земная экспедиция летит на Марс, чтобы откликнуться на просьбу революционных сил о помощи. Помощь им оказана, хотя для этого честным советским гражданам приходится совершать побег из темниц и вступать в рукопашные, словно они всю жизнь только этим и занимались. Ну ладно, можно еще поверить, что марсиане ничего не знали о строе ядра, но чтобы за всю тысячелетнюю цивилизацию Марса никто не догадался заглянуть под поверхность и обнаружить там замерзшую и кристаллизационную воду, и понадобилась подкачка земной девчонки, это уж увольте.

Когда читаешь такие книги, то приходит в голову, что Марс действительно требует помощи, так безжалостно эксплуатируются его фантастические богатства, и не время ли распространить на него сферу действия «Закона об охране природы».

* * *

ХОТЯ ЭТО БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА нашего путеше-

вия, но в ней снова описывается первый полет на Марс. По свидетельству Рея Брэдбери, он состоялся в первый месяц последнего года XX века. Будем надеяться, что на самом деле полет состоится раньше, хотя и до срока, указанного американским фантастом, осталось ждать не так долго, меньше тридцати лет. Но главное — пусть те полеты на Марс и на другие планеты, которые совершит человек, совсем не будут похожи на описанные Реєм Брэдбери. Пусть не самодовольство, не злоба, не ненависть, не торжествующая пошлость снаряжают в полет земные корабли. Именно для того и написал свою горькую и злую книгу «Марсианские хроники» Рей Брэдбери.

Марс в этом цикле новелл все время разный: то на нем есть марсиане, то их нет, то они вымерли давно, то недавно, то они коварные убийцы, то, наоборот, добрые и нежные души. Но ведь такие же разные и люди, которые начиная с «ракетного лета» 1999 года рвутся на Марс, невзирая ни на что. Туда летят и честные работники, которым невмогуту жить на раздираемой противоречиями Земле, летят brave американские парни, которым все равно, что Марс, что Вьетнам, было бы виски, летят негры. «...Высоко в небеса» — один из самых горьких рассказов писателя: негры, которым надоело терпеть расовый гнет в этой прекрасной Америке, они купили себе ракеты и снялись все разом, до единого человека. Какой он там, Марс, неизвестно, но хуже.

чем здесь, на Миссисипи, не будет.

И Марс полон предчувствием Земли, уже марсианские женщины и дети поют земные песни, хотя никто не знает, откуда они взялись. Но силы, которые противятся сближению людей из разных миров, еще очень велики. Кто погубил первые земные экспедиции? Может быть, древние марсиане с их утонченной культурой, закончившие в своей политике изоляционизма? Вовсе нет. Земляне погубили обыватели, которые везде и всюду одинаковы: и на Марсе и на Земле.

Первую экспедицию укокошил ревнивый супруг: что ему прилетит корабля из другого мира, мелко отомстить жене за недоступный его пониманию интерес к землянам — это куда существеннее.

Вторую экспедицию принимают за сумасшедших. И никакие доводы не могут разбить этого мнения у такого обывателя, как мистер Ыыы, который, увидев что-то не укладывающееся в его привычные представления, скорее поверит в собственное безумие, чем отступится от мысли, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Третья экспедиция... О ней стоит поговорить поподробнее, нет, не о самой экспедиции, в ней не было ничего особенного, а вот рассказ, который так и называется «Третья экспедиция», особенный. Это один из лучших рассказов цикла, всего творчества Брэдбери, да всей мировой фантастики тоже. Поразительна смелость выдумки в этом рассказе.

Прилетевших астронавтов встречают их давно умершие матери, отцы, братья, мирно живущие здесь в типичном американском городке. Задурманив головы землянам рассказами о «второй попытке», «матери» и «братья» убивают доверчивых «родственников» с Земли. Да еще и издевательски хоронят их. «Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громяхющей меди...» Это тоже свойство обывателей — глумиться над трупами... Писатель должен был убедить нас в том, что астронавты, трезвые, нерелигиозные люди, поверили в жестокий розыгрыш марсиан. И Брэдбери сумел это сделать.

Фантастика — первое производное от слова «фантазия». Кстати, слово «фантазия», как и «Марс», тоже античного происхождения. Брата бога сновидений Морфея звали Фантазом, его специальностью было вызывать иллюзии, кажущиеся образы. Фантазия в фантастике — редкое и ценное качество. Легко придумать самолет, летающий в 5 или 50 раз быстрее нынешнего. Труднее придумать, что придет на смену современному самолету, этому довольно-таки ненадежному транспортному средству. Но все-таки и это прямая экстраполяция. Много труднее придумать то, что лежит за пределами человеческого опыта, быть первооткрывателем. У таких фантастов, как Берроуз, накопление фантастических элементов чисто количественное — есть люди с шестью конечностями, можно придумать с десятью,

есть люди зеленого цвета, в следующей книжке мы найдем фиолетовых и т. д.

У Брэдбери нет никаких трагических вампиров, но ситуация, придуманная им, куда более фантастична, она насквозь фантастична, но она и насквозь реалистична. Вот это и есть самое трудное — добиться достоверности выдумки, правды условности. Нет ни малейшей натяжки в том, что космонавты приняли маски за действительные лица. Даже капитан, сверхосторожный капитан, который все время помнит, что две предыдущие экспедиции непонятным образом погибли, даже он поддался на эту удочку: насколько точен психологический расчет неземных комедиантов. Они безошибочно сыграли на сентиментальных воспоминаниях детства, на яблочном пироге, приготовленном старой американской бабушкой в чисто выстиранном чепчике. Брэдбери не научный фантаст, его совершенно не занимает вопрос, как марсиане сумели в таком совершенстве воссоздать земной образец, как они проникли в воспоминания, запрятанные в глубинах памяти членов экипажа. (Ст. Лем в «Солярисе» попытался каким-то образом это объяснить.) Не знаю, как в них проникли марсиане, но писатель в них проник не менее глубоко. Скажем, все еще сомневающегося капитана Блэка встречает его невеста откуда взявшийся, давно умерший брат.

«— Ты?.. — пролепетал Блэк.

— Конечно, я, кто же еще!..

— Эд!

— Джон, бездельник!

— Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, сколько лет — и вдруг ты здесь. Да что ж это такое?

— Мама ждет, — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

— Мама?

— И отец тоже.

— Отец? — Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг-другой негнувшимися ногами...»

Кто бы мог сохранить хладнокровие в такой ситуации? Сердце самого убежденного атеиста дрогнуло бы. Ведь все-таки это Марс, чужая планета, мало ли какие здесь могут быть чудеса.

В таких сценах фантастика достигает художественных высот отнюдь не вопреки тому, что она фантастика, а благодаря этому. Здесь есть и человечность, и психологичность, и образность — все то, за отсутствие чего фантастику третируют как литературу второго сорта, и чаще всего справедливо. Но, как мы видим, квазинаучная сухомятица и дурная очерковость вовсе не такие уж непременные признаки жанра. Дело вовсе не в жанре.

Но вернемся к идейной стороне брэдбериевского цикла. В следующей новелле, «И по-прежнему лучами серебрит простор луна...», где описана четвертая экспедиция, мы начинаем подробнее знакомиться с теми, кто прилетает

на Марс. И убеждаемся, что, может быть, марсиане не так уж были не правы, столь нелюбезно принимая гостей. Ведь это саранча, которая без разрешения прет на их родную планету и готова немедленно загадить все вокруг. Но некому встретить распоясавшихся молодцов, марсиан уже нет, они вымерли от болезней, завезенных с Земли, — автор не щадит ни тех, ни других. Однако в рассказах Брэдбери, где часто изображается торжество пошлости, всегда найдется какой-нибудь просвет — непокорный человек или непослушный ребенок, росток, улыбка. Если марсиане сами не могут встать на защиту своей древней культуры, то появится землянин Спендер, который делает это, который задохнется от ненависти к своим товарищам по кораблю, мечтающим, как бы поскорее открыть сосисочную среди этих кружевных развалин. Или того хуже: «Ведь вы слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом. Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб».

Спендер поднимает оружие на эту «саранчу» и сам гибнет от руки капитана, единственного, кто понимает мотивы его поступка. Но все-таки дело мятежника не безнадежно проиграно. Даже среди переселенцев находятся славные люди, которые поддерживают честь человеческого рода, например, герой стихотворения в прозе «Зеленое утро». С такими людьми, оказывается, и марсиане

могут завязать контакты, оказывается, у них нежная душа, они стремятся помочь всем («Марсианин»).

Впрочем, где они, эти марсиане? Дети переселенца, бежавшего на Марс от ужасов атомной войны, все время пристают к отцу, прося его показать им жителей планеты. Отец обещает им это, но все откладывает, откладывает свое обещание, пока наконец в один прекрасный вечер не ведет их на берег канала. Вот заключительные строки «Марсианских хроник»:

— Где же они, папа? Ты ведь обещал.

— Вот они, смотри, — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз.

Марсиане!.. Тимоти охватила дрожь.

Марсиане. В канале. Отражен-

ные его гладью, Тимоти, Майкл, Роберт, и мама, и папа.

Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане...»

* * *

НИКАКИХ ДРУГИХ МАРСИАН пока не было. Были только люди, правда замаскировавшиеся, вернее — нет, не так, надевшие маскарадные костюмы. Длинный маскарад, который прошел перед нами, был иногда серьезным, иногда жутковатым, часто смешным. Очень может быть, что мы были несправедливы к настоящим марсианам, буде такие окажутся, но литература всегда изучает человека, а Марс оказался неплохим испытательным стендом. Как же не быть благодарным его обитателям за то, что они так любезно представили свою родную планету в долгосрочную аренду.



1941

АДАМОВ ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ

В Арктике будущего (отрывок из романа)

1. Журн. «Наша страна» № 1.
2. Авторский сборник «Победители недр» — «Изгнание владыки». Фрунзе, Киргизучпедгиз, 1958, 764 стр.

КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Арктический мост (отрывок из романа)

1. Журн. «Вокруг света» № 4—6.
2. Многократно переиздавался.

ПЛАТОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ

Земля Савчука (повесть)

1. Журн. «Наша страна» № 5—7.
2. Авторский сборник «Повести о Ветлугине». М., «Молодая гвардия», 1958, 663 стр.

Каменный холм (рассказ)

1. Журн. «Наша страна» № 3.
2. Авторский сборник «Каменный холм». М., «Молодая гвардия», 1952, 191 стр.

СКАЛОН К.

Необыкновенное приключение Кима (рассказ)

1. Воронеж, Воронежское обл. изд-во, 1941, 24 стр.

ТАРАСОВ А.

Над лунными кратерами (рассказ)

1. Журн. «Самолет» № 5.

ШПАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Тайна профессора Бурого (сокр.)

1. Журн. «Красноармеец» № 20—23.
2. Шпанов, «Война невидимок». М., «Советская Россия», 1958, 485 стр.

БАБАТ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ

Монофон (науч.-фантаст. очерк)

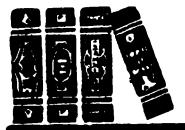
1. Журн. «Техника—молодежи» № 7—8.

Электролет (науч.-фантаст. очерк)

1. Журн. «Техника—молодежи» № 4—5.

1943

1942



* Продолжение библиографии советской фантастики. Библиография 1917—1940 годов помещена в сборниках «Фантастика 67» и «Фантастика 68». В последующих выпусках «Фантастики» библиография будет продолжена. Здесь под № 1 показана первая публикация. Под № 2 — публикация, наиболее доступная для читателя сегодня.

НЕЧАЕВ И. (ПАН ЯКОВ СОЛОМОНОВИЧ)**Белый карлик (рассказ)**

1. Журн. «Техника—молодежи» № 6.
2. Сборник «Капитан звездолета». Калининград, Книжное издательство, 1962, 268 стр.

ЧЕРНОМОРДИК Б.**Секрет эсприфора (рассказ)**

1. Журн. «Техника—молодежи» № 7—8.

ШПАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ**Происшествие на «Клариссе» (повесть)**

1. Журн. «Красноармеец» № 4—8.
2. Шпанов, «Война невидимок». М., «Советская Россия», 1958, 485 стр.

Пленники острова Туманов (повесть)

1. Журн. «Краснофлотец» № 13—15.
2. Шпанов, «Война невидимок». М., «Советская Россия», 1958, 485 стр.

ЯШУНСКАЯ Ф.**На резиновом комбинате (науч.-фантаст. очерк)**

1. Журн. «Техника—молодежи» № 9.

ЕФРЕМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ**Аллегорхой-хорхой (рассказ)**

1. Авторский сборник «5 румбов». М., «Молодая гвардия», 1944, 136 стр.
2. Авторский сборник «Сердце Змеи». М., «Детская литература», 1964, 366 стр. (под назв. «Олгой-хорхой»).

Бухта радужных струй (рассказ)

1. Авторский сборник «Встреча над Тускаророй». М.—Л., Военмориздат, 1944, 182 стр.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр.

Встреча над Тускаророй (рассказ)

1. Журн. «Краснофлотец» № 2.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр.

Голец Подлунный (рассказ)

1. Журн. «Новый мир» № 4—5.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр.

Катти Сарк (рассказ)

1. Журн. «Краснофлотец» № 5.
2. Авторский сборник «Юрта Ворона». М., «Молодая гвардия», 1960, 287 стр.

Обсерватория Нур и Дешт (рассказ)

1. Журн. «Новый мир» № 11—12.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр.

Последний марсель (рассказ)

1. Журн. «Краснофлотец» № 20.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр.

Тайна горного озера (рассказ)

1. Журн. «Техника—молодежи» № 1.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр. (под назв. «Озеро горных духов»).

Телевизор капитана Ганешина (рассказ)

1. Журн. «Техника—молодежи» № 7—8.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр. (под назв. «Атолл Факаофо»).

ПОКРОВСКИЙ Г.**Новый спутник Земли (науч.-фантаст. очерк)**

1. Журн. «Техника—молодежи» № 2—3.

ШПАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ**Война невидимок (повесть)**

1. Журн. «Огонек» № 1—18 (публикация прервана).
2. Шпанов, «Война невидимок». М., «Советская Россия», 1958, 485 стр.

БАБАТ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ**Дорога (повесть)**

1. Журн. «Техника—молодежи» № 1—2.
2. Журн. «Звезда» № 5—6.

БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**Приключения Сэмюэля Пингля (роман)**

1. М.—Л., Детгиз, 1945, 247 стр.
2. М., «Молодая гвардия», 1959, 295 стр.

БОБЫРЬ ЗИНАИДА АНАТОЛЬЕВНА**Опыты профессора Бороздина (рассказ)**

1. Журн. «Техника—молодежи» № 12.

ЕФРЕМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ**Ак-Мюнгуз (рассказ)**

1. Журн. «Краснофлотец» № 7—8 и журн. «Новый мир» № 4.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр. (под назв. «Белый Рог»).

Алмазная труба (рассказ)

1. Журн. «Новый мир» № 4.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр.

Тени минувшего (повесть)

1. Журн. «Красноармеец» № 2—5.
2. Авторский сборник «Великая Дуга». М., «Молодая гвардия», 1956 и 1957, 741 стр. (под назв. «Тень минувшего»).

НЕМЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Сто градусов (рассказ)

1. Журн. «Техника—молодежи» № 6.
2. Авторский сборник «Альтаир». М., Детгиз, 1963, 510 стр.

Шестое чувство (рассказ)

1. Журн. «Пионер» № 7.
2. Авторский сборник «Альтаир». М., Детгиз, 1963, 510 стр.

ПЛАВИЛЬЩИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Недостающее звено (повесть)

1. М.—Л., Детгиз, 1945, 55 стр.

ЯЗВИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ИОИЛЕВИЧ

Хранитель жизни (рассказ)

1. Авторский сборник «Аппарат Джона Инглиса». М.—Л., Детгиз, 1945, 32 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКОМЫЕ ИМЕНА

Владимир Михайлов. Пилот экстра-класса	7
Валентина Журавлева. Приключение	27
Владимир Григорьев. Образца 1919-го	48
Кирилл Булычев. Поделись со мной...	69
Поломка на линии	78
Павел Амнуэль. Летающий Орел	90
Владимир Фирсов. Патруль	109
Дмитрий Биленкин. Давление жизни	122
Игорь Росоховатский, Обратная связь	130

НОВЫЕ ИМЕНА

Андрей Дмитрук. Наследники	137
Вячеслав Морочко. Там, где вечно дремлет тайна...	141
Лев Эджубов. Срок жизни	162
Дмитрий Шашурин. Зачем вспоминать сосны?	191
Александр Силецкий. Твое право	196
Виктор Колупаев. Волевое усилие	203
Билет в детство	222
Владимир Осинский. Космический корабль	229
Юрий Тупицын. 1. Фантомия	236
2. Красный мир	241
Мариэтта Чудакова. Пространство жизни	247

КЛУБ ФАНТАСТОВ

Великое кольцо будущего. ИНТЕРВЬЮ С И. А. ЕФРЕМОВЫМ. Записал Ю. Медведев	257
Всеволод Ревич. Полигон воображения	274
Александр Евдокимов. Библиография фантастики 1941—1954 гг.	315

**ФАНТАСТИКА 1969—1970. Сборник. Сост.
Р. Подольный. М., «Молодая гвардия», 1970.
320 с. с илл. (Фантастика. Приключения.
Путешествия)**

Р2

**Редактор Б. Клюева и Г. Еремин.
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор А. Захарова**

**Сдано в набор 29/V 1970 г. Подписано
к печати 9/X 1970 г. А02753. Формат
60×84¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 20 (усл. 18,6).
Уч.-изд. л. 20,8. Тираж 100 000 экз. Це-
на 76 коп. Т. П. 1970 г., № 231. Заказ 1097.**

**Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Суцеская, 21.**

76 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ